М.Ю. Лермонтов





М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Сочинения



М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Сочинения

ТОМ

1

Москва
Издательство „Правда"
1988

84 Р 1
Л 49

Тексты и научный аппарат тома подготовлены издательством «Художественная литература» при участии Института русской литературы (Пушкинский Дом).

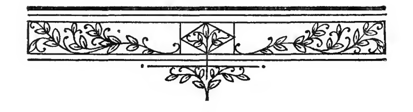
Составление и комментарии И. С. Чистовой

Вступительная статья И. Л. Андроникова

Фронтиспис художника Е. В. Терехова

Иллюстрации художника В. А. Носкова

$Л \frac{4702010100 - 1815}{080(02) - 88} 1815 - 88$ **(Подписное)**



ОБРАЗ ЛЕРМОНТОВА

I

Когда, по окончании юнкерской школы, Лермонтов вышел корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк и впервые надел офицерский мундир, бабка поэта заказала художнику Ф. О. Будкину его парадный портрет. С полотна пристально смотрит на нас спокойный, благообразный гвардеец с правильными чертами лица: удлиненный овал, высокий лоб, строгие карие глаза, прямой, правильной формы нос, щегольские усики над пухлым ртом. В руке — шляпа с плюмажем. «Можем... засвидетельствовать,— писал об этом портрете родственник поэта М. Н. Лонгинов,— что он (хотя несколько польщенный, как обыкновенно бывает) очень похож и один может дать истинное понятие о лице Лермонтова». Но как согласовать это изображение с другими портретами, на которых Лермонтов представлен с неправильными чертами, узеньким подбородком, с коротким, чуть вздернутым носом?

Всматриваясь в изображения Лермонтова, мы понимаем, что художники старательно пытались передать выражение глаз. И чувствуем, что взгляд не уловлен. При этом — портреты все разные. Если пушкинские как бы дополняют друг друга, то лермонтовские один другому противоречат. Правда, А. С. Пушкина писали великолепные портретисты — О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, П. Ф. Соколов. Пушкина лепил И. П. Витали. Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь знаменитым — П. Е. Заболотскому, А. И. Клюндеру, К. А. Горбунову, способным, однако, передать характерные черты, а тем более сходство. Но, несмотря на все их старания, они не сумели схватить жизнь лица, оказались бессильны в передаче духовного облика Лермонтова, ибо в этих изображениях нет главного — нет поэта! И, пожалуй, наиболее убедительны из бесспорных портретов Лермонтова — беглый рисунок Д. П. Палена (Лермонтов в профиль, в смятой фуражке) и акварельный автопортрет: Лермонтов на фоне Кавказских гор, в бурке, с кинжалом на поясе, с огромными печально-взволнованными глазами. Два эти

портрета представляются нам похожими более других потому, что они внутренне чем-то сходны между собой и при этом гармонируют с поэзией Лермонтова.

Дело, видимо, не в портретистах, а в неуловимых чертах поэта. Они ускользали не только от кисти художников, но и от описаний мемуаристов. И если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу же обнаружим, что люди, знавшие его лично, в представлении о его внешности совершенно расходятся между собой. Одних поражали большие глаза поэта, другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно быстрыми маленькими глазами. Глаза маленькие и быстрые? Нет! Ивану Сергеевичу Тургеневу они кажутся большими и неподвижными: «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших неподвижно-темных глаз». Но один из юных почитателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражен: «То были скорее длинные щели, а не глаза,— пишет он,— щели, полные злости и ума». На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким подбородком, желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики, коротко остриженные волосы. И — сардоническая улыбка... А один из приятелей Лермонтова пишет о милом выражении лица. Один говорит: «широкий, но не высокий лоб», другой: «необыкновенно высокий лоб». И снова: «большие глаза». И опять возражение: нет, «глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные». И решительно все стремятся передать непостижимую силу взгляда: «огненные глаза», «черные, как уголь», «с двумя углями вместо глаз». По одним воспоминаниям, глаза Лермонтова «сверкали мрачным огнем», другой мемуарист запомнил его с «пламенными, но грустными по выражению глазами», смотревшими на него «приветливо, с душевной теплотой».

Последние строки взяты из воспоминаний художника М. Е. Меликова, который особое внимание уделил в своем описании взгляду Лермонтова. «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом,— пишет Меликов,— он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, умные, с черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и по-моему, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз)». Однако на этот счет Карл Брюллов держался иного мнения. «Я как

художник,— сказал он однажды, вспомнив лермонтовские стихи,— всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел».

Впрочем, и сам Лермонтов смеялся над собой, говоря, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*.

Не только внешность, но и характер его современники изображают между собой так несхоже, что временами кажется, словно речь идет о двух Лермонтовых. Одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и веселостью. Одному вся фигура поэта внушает безотчетное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид»,— читаем мы в записках светской красавицы. «Скучен и угрюм»,— вторит другая. «Высокомерен», «едок», «заносчив» — это из отзывов лиц, принадлежавших к великосветскому обществу. А человек из другого круга — кавказский офицер А. Есаков, бывший еще безусым в пору, когда познакомился с Лермонтовым,— вспоминает: «Он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

И совсем другой Лермонтов в изображении *поэта* — переводчика Лермонтова на немецкий язык: «В его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение». И снова — портрет, открывающий новые грани характера,— воспоминания князя М. Б. Лобанова-Ростовского, с которым Лермонтов встречался в Петербурге, в компании своих сверстников: «С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки...»

Очевидно, Лермонтова можно было представить себе только в динамике — в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мысли, в постоянной игре лица. А кроме того, он, конечно, и держался по-разному — в петербургских салонах, где подчеркивал свою внутреннюю свободу, независимость, презрение к светской толпе, и в компании дружеской, среди людей простых и достойных. «Когда бывал задумчив,— пишет узнавший его на войне артиллерийский поручик К. Х. Мамацев,— что случалось нередко, лицо его делалось необыкновенно выразительным, серьезно-грустным; но как только являлся в компании своих гвардейских товарищей, он предавался тому же банальному разгулу, как и все другие; в это время делался более разговорчив, остер и насмешлив, и часто доставалось от его острот дюжинным его товарищам».

Лермонтов терпеть не мог рисоваться и, как пишет один из его современников, имевший случай беседовать с людьми, хорошо его знавшими, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними полон женской деликатности и юношеской горячности. «Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более, чем драгоценность». Эти строки взяты из журнальной статьи писателя А. В. Дружинина, высоко ценившего поэзию Лермонтова. Побывав на Кавказе, когда там еще была свежа память о нем, Дружинин близко узнал одного из друзей и сослуживцев поэта — Руфина Дорохова. Тот много рассказывал о Лермонтове. И кроме беглых впечатлений, изложенных на страницах журнала, Дружинин написал в 1860 году на основе этих рассказов большую статью о поэзии Лермонтова, о его характере и судьбе.

В свое время эта статья осталась ненапечатанной и обнаружена только теперь, столетие спустя. Она хотя и опубликована ныне (Литературное наследство, т. 67, 1959, с. 630—643, публикация Э. Г. Герштейн), но мало кому известна. А между тем мы находим в ней разъяснение многих черт личности Лермонтова и загадок его судьбы. Статья эта проливает некоторый свет на непостижимый творческий подвиг Лермонтова, за четыре с небольшим года после гибели Пушкина создавшего величайшие творения романтической поэзии — «Демона», «Мцыри», эпическую «Песню про царя Ивана Васильевича...»; полную тонкой иронии по отношению к себе и к романтическому направлению в литературе поэму, названную им «Сказкою для детей», и гениальный роман «Герой нашего времени», знаменовавший начало русской психологической прозы, сборник стихов, означивший целый период в истории русской лирики, и другой поэтический сборник, которого в печати увидеть Лермонтову не довелось. Не только гениальный поэтический дар, но и великая устремленность, могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему наполнить творчеством каждый миг его краткой жизни.

Дорохова, человека безудержной отваги и пылкого темперамента, удивляла в Лермонтове эта сила характера. «По натуре своей предназначенный властвовать над людьми»,— начинает и вычеркивает Дружинин, стремясь наиболее точно передать впечатления Дорохова. «По натуре своей горделивый, сосредоточенный и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера,— продолжает он начатую характеристику,— наш поэт был честолюбив и <горд> скрытен». И снова — о железном характере Лермонтова, который впервые проявился в дни опалы за стихи на смерть Пушкина: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так,

как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество».

С какой ясностью свидетельствуют эти строки о том, что Лермонтов, более чем кто-либо другой при его жизни, исключая разве В. Г. Белинского, понимал собственное значение и роль, каковую ему было предназначено сыграть в русской литературе и—больше того—в жизни русского общества! Впервые с такой очевидностью мы узнаем из этой статьи, что на Кавказе, среди людей непривилегированных, у Лермонтова были истинные друзья, что он был знаменит не только в литературных салонах и в широком кругу своих почитателей в обеих столицах, но и на «всем Кавказе». «Большая часть из современников Лермонтова,— продолжает Дружинин,— даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью,— говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам,— но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу».

При этом статья Дружинина раскрывает черты личности Лермонтова, о которых прежде мы могли только догадываться и которые объясняют нам его сложный и внешне противоречивый характер. Со слов Дорохова автор ее говорит о сохранившейся с детства привычке Лермонтова к сосредоточенной мечтательности и о другой особенности, старательно им скрывавшейся. «Лермонтов долго был нескладным мальчиком,— пишет Дружинин,— и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов». Мир искусства, замечает Дружинин, был для него святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. «Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы»,— говорится в этой статье, удивительной по обилию тонких и верных мыслей о поэзии Лермонтова и живых впечатлений, полученных от друга и очевидца, разделявшего с поэтом опасности в кровопролитных боях и лишения в долгих походах.

Чем усерднее вчитываемся мы в дошедшие до нас строки воспоминаний, тем более убеждаемся, что Лермонтов действительно был разным и непохожим — среди беспощадного к нему света и в кругу задушевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке. Это можно сказать про каждого, но у Лермонтова грани характера были очерчены особенно резко, и мало кто возбуждал о себе столько разноречивых толков. Одни воспоминания о нем

иадобно читать, понимая буквально, другие — угадывая в описаниях, казалось бы, объективиых, бессильную злобу и стремление дискредитировать если не поззию, то хотя бы поэта — человека иного образа мыслей и нравственных представлений, разрушавшего общепринятую условность и весь этикет лицемерного великосветского общества и поставившего себе целью говорить одну только беспощадную правду. Такие мемуары приходится читать, угадывая под личииой беспристрастных свидетелей непримиримых врагов.

Н. П. Раевский, офицер, встречавший Лермонтова в кругу пятигорской молодежи летом 1841 года, рассказывал: «Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; энать только нужно было, с какой стороны подойти... Пошлости, к которой ои был необыкновеино чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искреииими и сам был прост и ласков».

«Он был вообще не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах». Это прямо противоположиое утверждение принадлежит князю Васильчикову, секуиданту на последией — роковой — дуэли с Мартыиовым.

«Все плакали, как малые дети»,— рассказывал тот же Раевский, вспоминая час, когда тело поэта было доставлеио в Пятигорск.

«Вы думаете, все тогда плакали? — с раздражением говорил много лет спустя свящеииик Эрастов, отказавшийся хоронить Лермонтова.— ...Все радовались».

И сколько ни будете читать воспоминаний о Лермоитове, более, чем о поэте, оии будут говорить вам об отношении к нему мемуаристов. Кому иэ них верить, если даже и декабрист Н. И. Лорер оставил недоброжелательную эапись о нем?

2

Впрочем, есть книги, которые содержат самый достоверный лермонтовский портрет, самую глубокую и самую верную лермонтовскую характеристику. Это — его сочинения, в которых он отразился весь, каким был в действительности и каким хотел быть! Читая лирические стихи и бурные ромаитические поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во всей мировой литературе — «Герой нашего времени», мы иевольно вспоминаем, что скаэал Пушкин о Байроне: «Ои исповедался в своих стихах иевольио, увлеченный восторгом поэзии».

Как всякий настоящий, а тем более великий поэт, Лермонтов исповедался в своей поззии, и, перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека.

Страницы его юношеских тетрадей напоминают стихотворный дневник, полный размышлений о жизни и смерти, о вечности, о добре и зле, о смысле бытия, о любви, о будущем и о прошлом:

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны...

Историю протекших веков и все лучшее, накопленное русской и европейской культурой,— поэзию, прозу, драматическую литературу, музыку, живопись, труды исторические и философские,— Лермонтов усваивал начиная с первого дня пребывания в Пансионе при Московском университете, а затем в годы студенчества.

Приятелям запомнилась его любимая поза: облокотившись на одну руку, Лермонтов читает принесенную из дома книгу, и ничто не может ему помешать — ни разговоры, ни шум.

Он владеет французским, немецким, английским, читает по-латыни, впоследствии, на Кавказе, примется изучать «татарский», то есть азербайджанский язык, в Грузии будет записывать слова грузинские и одной из своих поэм даст грузинское название — «Мцыри». Он помнит тысячи строк из произведений поэтов великих и малых, иностранных и русских, но из обширного круга его чтения нужно выделить двух авторов: Байрона и — особенно — Пушкина. Еще ребенком Лермонтов постигал законы поэзии, переписывая в свой альбом их стихи. Перед Пушкиным он благоговел всю жизнь. И больше всего любил «Евгения Онегина». Об этом он сам говорил Белинскому.

Он не просто читал — каждая книга была для него ступенью к самостоятельному пониманию назначения поэзии, каждая воспринималась критически. «Я читаю Новую Элоизу,— записывает семнадцатилетний Лермонтов впечатление от знаменитого романа Жан Жака Руссо.— Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины... Вертер лучше: там человек — более человек»,— дописывает он, отдавая предпочтение роману Гёте.

Воображение уносит его на Кавказ, где он побывал в детстве, и в страны, где он никогда не бывал,— в Литву, Финляндию, Испанию, Италию, Шотландию, Грецию, в будущее и в прошлое и даже в мировое пространство:

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной.
И о земле позабывал...

Его мысль в непрестанном горении. Недаром Белинский сразу же отметил у Лермонтова «резко ощутительное присутствие мысли»,

н не одни пластические изображения, заключающие в себе мыслн поэта, ио самая мысль, обретшая художественную форму, составляет силу множества его лучших вещей — «Не верь себе», «Сказки для детей», «Демона», «Думы»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Прнрода иаделила его страстями. Трех лет он плакал на коленях у матери от песни, которую она певала ему. И в память о рано угасшей матери и о песне он написал потом своего «Ангела»:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

Он полюбил впервые в десятилетнем возрасте иа Кавказе. Вспоминая через пять лет златокудрую девочку н Кавказские горы, он записал в тетрадку свою: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Он утверждал это на основании своего опыта. Он был одарен удивительной музыкальностью — играл на скрипке, на фортепиано, пел, сочинял музыку на собственные стихи. В последний год жизни он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню». Были даже и ноты, но пропали и до нас ие дошли. Однако если бы мы даже не знали об этом, мы догадались бы о его музыкальности, читая стихи и прозу его. Не много было в мире поэтов, умевших передавать тончайшие душевные состояния, пластические образы и живой разговор посредством стиха н прозаической фразы, звучание которых составляет неизъяснимую прелесть, заключенную в музыкальиости каждого слова и в самой поэтической интонации. Не много рождалось поэтов, которые бы так «слышали» мир и виделн его так — динамично, объемно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с натуры, но и на память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней. Если бы он профессиоиально занимался живописью, он мог бы стать иастоящим художником.

Изображая в «Герое нашего времени» иочной Пятнгорск, он сперва описывает то, что замечает в темноте глаз, а затем — слышит ухо:

«Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом».

Эти описания Лермонтова так пластичны, что понятным становится, почему современники называли его русским Гёте: в изображении природы великий немецкий поэт считался непревзойденным. «На воздушном океане» — строки, не уступающие пантеистической лирике Гёте, Лермонтов написал в 24 года. При всем том он умел одухотворять, оживлять природу: утес, тучи, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями — им ведомы радости встреч, горечь разлук, и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть.

«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче»,— вписал шестнадцатилетний Лермонтов в одну из своих тетрадок. Суровая жизнь с малых лет расстраивала ему эту «музыку сердца».

После того, как из университетских аудиторий он перешел в Петербург, в кавалерийскую школу, его старший и верный друг Мария Лопухина писала ему из Москвы: «Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель. Остерегайтесь сходиться слишком близко с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь».

Добрый характер, любящее сердце, способность увлекаться — вот каким он был и каким навсегда остался в отношениях с друзьями. Он не изменял им, не забывал их. И, обращаясь к умершему декабристу — поэту Александру Одоевскому, с которым встретился на Кавказе, писал:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!

И, посвящая «Демона» женщине, которая не дождалась его, он обращался к ней с горьким упреком:

Я кончил, и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Другом поэта был и тот, кто помог ему распространить стихи иа смерть Пушкииа, н та, что одною нз первых угадала в нем велнкий талаит. И кавказский киижал — символ вольности — он считал своим другом, и сражающнйся Кавказ, что олицетворял в представлении Лермонтова отвагу, честь, благородство, стремление к свободе.

Лермонтов не умел и не хотел скрывать свои мысли, маскировать чувства. Урокн Марии Лопухиной впрок не пошлн. Он оставался доверчивым н неосторожным. И больше, чем открытая злоба врагов, его раннла ядовитая клевета друзей, в которых он ошнбался. И чувство одииочества в царстве пронзвола и мглы, как назвал николаевскую нмперию А. И. Герцен, было для него нензбежным и сообщало его поэзни характер трагический. Его жизнь омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей. Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдалн от отца, которого ему запрещено было видеть, мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, политические преследовання и жизнь изгнанника в последние годы... Все это свершалось словно затем, чтобы усилнть трагический характер его поэзии.

И при всем том он не стал мрачным отрицателем жизнн. Он любнл ее страстно, вдохновленный мыслью о родине, мечтой о свободе, стремлением к действию, к подвигу.

Чем старше он становился, тем все чаще соотиосил субъективные переживання и ощущения с опытом н судьбой целого поколения, все чаще «объективировал» современную ему жизнь. Мир романтнческой мечты уступал постепенно изображению реальной действительиости. Все чаще в поэзию Лермонтова вторгалась повседневная жнзнь и конкретное время — эпоха 30—40-х годов с ее противоречиямн: глубокими идейными интересами и мертвящим застоем общественной жизни.

И все, что им создано за триналцать лет творчества,— это подвиг во имя свободы н роднны. И заключается он не только в прославленнн бородинской победы, в строках «Люблю отчизну я...» нлн в стихотворном рассказе «Мцыри», но н в тех сочинениях, где не говорится прямо ии о роднне, нн о свободе, но — о судьбе поколення, о назначенни поэта, об однноком узнnке, о бессмысленном кровопролитии, об изгнанин, о пустоте жизнн...

Скорбная н суровая мысль о поколении, которое, как казалось ему, обречено пройти по жизни, ие оставнв следа в истории, вытеснила юношескую мечту о романтическом подвиге. Лермонтов жил теперь для того, чтобы сказать современному человеку правду о «плачевном состоянин» его духа и совести,— поколению малодушному, безвольному, смирнвшемуся, живущему без надежды на будущее. И это был подвиг труднейший, нежели готовиость во имя родииы

и свободы погибнуть на эшафоте. Ибо не только враги, но даже и те, ради которых он говорил эту правду, обвиняли его в клевете на современное общество. И надо было обладать прозорливостью Белинского, чтобы увидеть в «охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь» веру Лермонтова в достоинства жизни и человека.

И все же не только внутреннее возмужание было причиной стремительного развития Лермонтова. С того дня, когда он, подхватив знамя русской поэзии, выпадавшее из рук убитого Пушкина, встал на его место, он уже обращался к своему современнику, поднимал перед ним «вопрос о судьбе и правах человеческой личности» и отвечал на него всем своим творчеством.

С юных лет светское общество, с которым Лермонтов был связан рождением и воспитанием, олицетворяло в его глазах все лживое, бесчувственное, жестокое, лицемерное. И заглавие трагедии «Маскарад» заключает в себе смысл иронический, ибо у этих людей лицо было маской, а в маскараде, неузнанные, они выступали без масок, в обнажении низменных страстей и пороков. И Лермонтов имел смелость высказать все, что думал о них. В день гибели Пушкина он впервые заявил о себе. И первое, что он сказал им:

Свободы, Гения и Славы палачи!

Он грозил им народной расправой и указывал на их связь с императорским троном. «Люди лицемерные, слабые никогда не прощают такой смелости»,— писал о нем Герцен. И на последних вдохновениях Лермонтова уже лежит печать обреченности. Но неуклонно следовал он по избранному пути. И ненависть к «стране господ», отрицание купленной кровью славы только обостряли его любовь к «печальным деревням» и к «холодному молчанию» русских степей.

Десять лет писал он стихи, поэмы, драмы, прозу, прежде чем решился стать литератором. Еще три года понадобилось, чтобы из лучшего, что он создал, составить небольшой сборник. Взыскательность, строгость его по отношению к себе удивительны. Только две поэмы и два с половиной десятка стихотворений отобрал он из сотен стихов и трех десятков поэм. Зато никто еще не выступал в первый раз с таким сборником.

Все совместилось в этой маленькой книжке — старинный сказ «Песни про царя Ивана Васильевича...» и простая речь бородинского ветерана; тихая молитва о безмятежном счастье любимой женщины, которая принадлежит другому, и горечь разлуки с родиной; холодное отчаяние, продиктовавшее строки «И скучно и грустно...», и нежный разговор с ребенком; беспощадная ирония в обращении к богу и ласка матери, напевающей песню над младенческой колыбелью; трагическая мысль «Думы» и страстный разговор Терека с Каспием; горестная память о погибшем изгнаннике и гневная угроза велико-

светской чернн; сокрушительная страсть Мцырн — прнзыв к борьбе, к нзбавленню от рабской неволн, н сладостная песня влюбленной рыбкн; пустынн Востока, скалы Кавказа, желтеющне нивы Россни, прнзрачный корабль, несущнй по волнам океана французского нмператора, слезы заточенного н страстный спор о направленнн поэзин — все было в этом первом н последнем сборнике, который вышел прн жнзни поэта.

Вот такой н был Лермонтов, только натура его и личность его былн еще богаче, потому что в эту книжку не вошлн ни «Демон», ни «Маскарад», нн «Герой нашего времени», ни стнхотворення последнего года, в которых он подннмается еще выше, потому что «Валерик», «Завещание», «Любовь мертвеца», «Спор», «Сон», «Выхожу однн я на дорогу...» раскрывают новые стороны этой велнкой души. А между этнмн стнхамн мелькают острые эпиграммы н любезные, нли добрые, нлн колкие стнхотворные шуткн...

Эти контрасты, эти смены душевных состояннй в сочетании с верностью Лермонтова нзлюбленным ндеям н образам сообщают его поэзин уднвнтельное своеобразне, выраженне неповторнмое. И любимым поэтнческнм средством являются в ней антитезы — столкновение протнвоположных понятнй: «день первый» — «день последний», «позор» — «торжество», «паденье» — «победа», «свиданье» — «разлука», «демоны» — «ангелы», «небо» — «ад», «блаженство» — «страданье»... И другой, нзлюбленный, поэтнческий прием — анафора, настойчивое повторенне в начале строки одного и того же слова:

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последннм днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свнданием с тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянуся сонмнщем духов,
Судьбою братий, мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Монх недремлющих врагов;
Клянуся небом я н адом,
Земной святыней н тобой;
Клянусь твоим последннм взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твонх дыханьем,
Волною шелковых кудрей;
Клянусь блаженством н страданьем,
Клянусь любовию моей...

Как много говорнт самый стнх о личностн его творца, о его характере, о его страстн!

В юности, сочиняя романтические поэмы и драмы, он рисовал в своем воображении свободных и гордых героев, людей пылкого сердца, могучей воли, верных клятве, гибнущих за волю, за родину, за идею, за верность самим себе. В окружающей жизни их не было. Но Лермонтов сообщал им собственные черты, наделял своими мыслями, своим характером, своей волей. Таковы Фернандо, Юрий Волин, Владимир Арбенин в юношеских трагедиях, Измаил-бей, Арсений... И Демон мыслит и клянется, как Лермонтов. Таков и герой «Маскарада» — Евгений Арбенин.

В мнре, где нет ни чести, ни любви, ни дружбы, нн мыслей, ни страстей, где царят зло и обман,— ум и сильный характер уже отлнчают человека от светской толпы. И даже если над ним тяготеет преступное прошлое, как над Арбениным, он все равно возвышается над толпой, и толпа не смеет судить его. «Да, в этом человеке есть снла духа и могущество воли, которых в вас нет,— пнсал Белинский, обращаясь к критикам лермонтовского Печорина.— В самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него: ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа...»

Таков Арбенин, таков Печорин. Но в отличие от прежних своих творений Лермонтов, создавая «Героя нашего времени», уже не воображал жизнь, а рисовал такой, какой она являлась в действнтельности. И он нашел новые художественные средства, какнх еще не знали ни русская, ни западная литература и которые восхищают нас по сей день соединением свободного и широкого изображения лиц и характеров с умением показывать их объективно, «выстраивая» их, раскрывая одного героя сквозь восприятне другого. Так, автор путевых записок, в котором мы без труда угадываем черты самого Лермонтова, сообщает нам историю Бэлы со слов Максима Максимыча, а тот, в свою очередь, передает монологи Печорина. И, скажем, снять «Бэлу» в кино невозможно, не изменнв при этом ее структуру н смысл. Печорина никак не сыграешь, ибо в «Бэле» перед нами не сам Печорин, а Печорин в представлеиии Максима Макснмыча, человека совсем другого круга и другого образа мыслей. И еслн не будет Максима Максимыча, Печорнн станет похож на героев Марлинского. А в «Журнале Печорина» мы видим героя опять в новом ракурсе — такого, какнм он был наедине сам с собой, каким мог предстать в своем дневнике, но никогда бы не открылся на людях.

Лншь один раз мы видим Печорина, как его видит автор. И через всю жизнь проносим в душе и в сознании геннальные эти страннцы — повесть «Максим Макснмыч», одно из самых гуманных со-

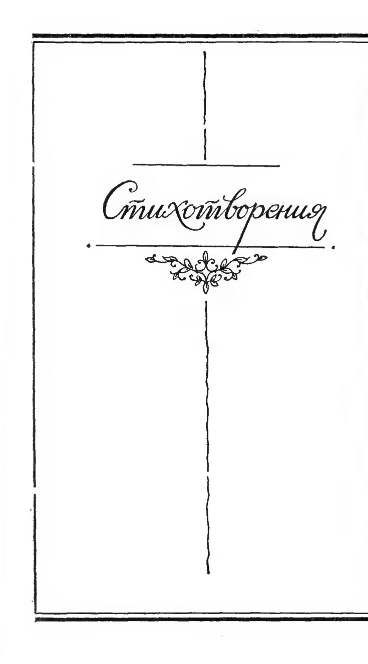
зданий во всей мировой литературе. Она поражает нас, эта повесть, как поражает личное горе, как оскорбление, нанесенное нам самим. И вызывает глубокое сочувствие и бесконечную нежность по отношению к обманутому штабс-капитану. И в то же время—негодование по адресу блистательного Печорина. Но вот мы читаем «Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталиста» и наконец постигаем характер Печорина в его неизбежной раздвоенности. И, узнавая причины этой «болезни», вникаем в «историю души человеческой» и задумываемся над судьбой «героя» и над характером «времени».

При этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, емкость, блеск описаний, сравнений, метафор; фразы, доведенные до краткости и остроты афоризмов,— то, что прежде называлось «слогом» писателя и составляет неповторимые черты его личности, его стиля и вкуса,—доведено в «Герое нашего времени» до высочайшей степени совершенства.

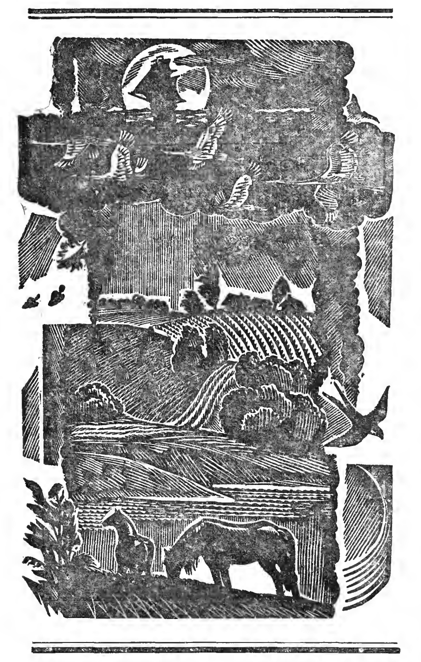
Еще при жизни Лермонтова консервативная критика объявила его талант «протеистическим» собирательным, заключающим в себе отголоски различных влияний, отказывала ему в оригинальности. В противовес этому прогрессивная критика и широкая публика вслед за В. Г. Белинским и Н. Г. Чернышевским восприняли поэзию Лермонтова как явление глубоко самобытное.

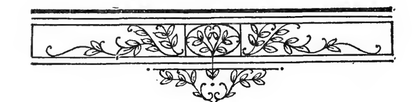
Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность «перевоплощаться» — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека—грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

И. Андроников



Стихотворения





Стихотворения 1828—1836 г.

ПОЭТ

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал,
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Все тише, и призра́к бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

К ГЕНИЮ

Когда во тьме ночей мой, не смыкаясь, взор
Без цели бродит вкруг, прошедших дней укор
Когда зовет меня, невольно, к вспоминанью:
Какому тяжкому я предаюсь мечтанью!..
О сколько вдруг толпой теснится в грудь мою
И теней и любви свидетелей!.. Люблю!

Твержу забывшись им. Но полный весь тоскою,
Неверной девы лик мелькает предо мною...
Так, счастье ведал я, и сладкий миг исчез,
Как гаснет блеск звезды падучей средь небес!
Но я тебя молю, мой неизменный *Гений:*
Дай раз еще любить! дай жаром вдохновений
Согреться миг один, последний, и тогда
Пускай остынет пыл сердечный навсегда.
Но прежде там, где вы, души моей царицы,
Промчится звук моей задумчивой цевницы!
Молю тебя, молю, хранитель мой святой,
Над яблоней мой тирс и с лирой золотой
Повесь и начерти: здесь жили вдохновенья!
Певец знавал любви живые упоенья..
...И я приду сюда, и не узнаю вас,
О струны звонкие! . . . .

. . . .

. . . .

Но ты забыла, друг! когда порой ночной
Мы на балконе там сидели. Как немой,
Смотрел я на тебя с обычною печалью.
Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью
Сокрывши, голову на грудь твою склонял —
И был ответом вздох, твою я руку жал —
И был ответом взгляд и страстный и стыдливый!
И месяц был один свидетель молчаливый
Последних и невинных радостей моих!..
Их пламень на груди моей давно затих!..
Но, милая, зачем, как год прошел разлуки,
Как я почти забыл и радости и муки,
Желаешь ты опять привлечь меня к себе?..
Забудь любовь мою! покорна будь судьбе!
Кляни мой взор, кляни моих восторгов сладость!..
Забудь!.. пускай другой твою украсит младость!..
Ты ж, чистый житель тех неизмеримых стран,
Где стелется эфир, как вечный океан,
И совесть чистая с беспечностью драгою,
Хранители души, останьтесь ввек со мною!
И будет мне луны любезен томный свет,
Как смутный памятник прошедших, милых лет!..

ПОКАЯНИЕ

Дева

— Я пришла, святой отец,
Исповедать грех сердечный,
Горесть, роковой конец
Счастья жизни скоротечной!..

Поп

— Если дух твой изнемог
И в сердечном покаянье
Излиешь свои страданья:
Грех простит великий бог!..

Дева

— Нет, не в той я здесь надежде,
Чтобы сбросить тягость бед:
Все прошло, что было прежде,—
Где ж найти уплывших лет?
Не хочу я пред небесным
О спасенье слезы лить
Иль спокойствием чудесным
Душу грешную омыть;
Я спешу перед тобою
Исповедать жизнь мою,
Чтоб не умертвить с собою
Все, что в жизни я люблю!
Слушай, тверже будь... скрепися,
Знай, что есть удар судьбы;
Но над мною не молися:
Не достойна я мольбы.
Я не знала, что такое
Счастье юных, нежных дней;
Я не знала о покое,
О невинности детей:
Пылкой страсти вожделенью
Я была посвящена,
И геенскому мученью
Предала меня она!..
Но любови тайна сладость
Укрывалася от глаз;
Вслед за ней бежала младость,
Как бежит за часом час.

Вскоре бедствие узнала
И ничтожество свое:
Я любовью торговала;
И не ведала ее.
Исповедать грех сердечный
Я пришла, святой отец!
Счастья жизни скоротечной
Вечный роковой конец.

Поп

— Если таешь ты в страданье,
Если дух твой изнемог,
Но не молишь в покаянье:
Не простит великий бог!..

РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

1

В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья;
Вдруг зимних бурь раздался грозный вой,—
И рушилось неверное созданье!..

2

Так перед праздною толпой
И с балалайкою народной
Сидит в тени певец простой
И бескорыстный, и свободный!..

3

Он громкий звук внезапно раздает,
В честь девы, милой сердцу и прекрасной,—
И звук внезапно струны оборвет,
И слышится начало песни! — но напрасно! —
Никто конца ее не допоет!..

ПЕСНЯ

Светлый призрак дней минувших,
Для чего ты
Пробудил страстей уснувших
И заботы?
Ты питаешь сладострастья
Скоротечность!
Но где взять былое счастье
И беспечность?..
Где вы, дружески обеты
И отвага?
Поглотились бездной Леты
Эти блага!..
Щеки бледностью, хоть молод,
Уж покрылись;
В сердце ненависть и холод
Водворились!

К.....

Не привлекай меня красой!
Мой дух погас и состарелся.
Ах! много лет, как взгляд другой
В уме моем напечатлелся!..
Я для него забыл весь мир,
Для сей минуты незабвенной;
Но я теперь, как нищий, сир,
Брожу один, как отчужденный!
Так путник в темноте ночной,
Когда узрит огонь блудящий,
Бежит за ним... схватил рукой...
И — пропасть под ногой скользящей!..

ТРИ ВЕДЬМЫ

(Из «Макбета» Ф. Шиллера)

Первая

Попался мне один рыбак:
Чинил он весел сети!
Как будто в рубище, бедняк,
Имел златые горы!

И с песнью день и ночи мрак
Встречал беспечный мой рыбак.
Я ж поклялась ему давно,
Что все сердит меня одно...
Однажды рыбу он ловил,
  И клад ему попался;
Клад блеском очи ослепил,
  Яд черный в нем скрывался.
Он взял его к себе на двор:
И песен не было с тех пор!

Другие две

Он взял врага к себе на двор:
И песен не было с тех пор!

Первая

И вот где он: там пир горой,
  Толпа увеселений;
И прочь, как с крыльями, покой
  Быстрей умчался тени.
Не знал безумец молодой,
Что деньги ведьмы — прах пустой!

Вторая и третья

Не знал, глупец, средь тех минут,
Что наши деньги в ад ведут!..

Первая

Но бедность скоро вновь бежит,
  Друзья исчезли ложны;
Он прибегал, чтоб скрыть свой стыд,
  К врагу людей, безбожный!
И на дороге уж большой
Творил убийство и разбой...
Я ныне близ реки иду
  Свободною минутой:
Там он сидел на берегу,
  Терзаясь мукой лютой!..
Он говорил: «Мне жизнь пуста!
  Вы отвращений полны,
Блаженства, злата!.. вы мечта!..»
  И забелели волны.

НАПОЛЕОН

Где бьет волна о брег высокой,
Где дикий памятник небрежно положен,
В сырой земле и в яме неглубокой —
Там спит герой, друзья!—Наполеон!..
Вещают так: и камень одинокой,
И дуб возвышенный, и волн прибрежных стон!..

Но вот полночь свинцовый свой покров
По сводам неба распустила,
И влагу дремлющих валов
С могилой тихою Диана осребрила.
Над ней сюда пришел мечтать
Певец возвышенный, но юный;
Воспоминания стараясь пробуждать,
Он арфу взял, запел, ударил в струны...

«Не ты ли, островок уединенный,
Свидетелем был чистых дней
Героя дивного? Не здесь ли звук мечей
Гремел, носился глас его священный?
Нет! рок хотел отсюда удалить
И честолюбие, и кровь, и гул военный;
А твой удел благословенный:
Принять изгнанника и прах его хранить!

Зачем он так за славою гонялся?
Для чести счастье презирал?
С невинными народами сражался?
И скипетром стальным короны разбивал?
Зачем шутил граждан спокойных кровью,
Презрел и дружбой и любовью
И пред творцом не трепетал?..

Ему, погибельно войною принужденный,
Почти весь свет кричал: ура!
При визге бурного ядра
Уже он был готов — но... воин дерзновенный!..
Творец смешал неколебимый ум,
Ты побежден московскими стенами...
Бежал!.. и скрыл за дальними морями
Следы печальные твоих высоких дум

. . . .

Огнем снедаем угрызений,
Ты здесь безвременно погас:
Покоен ты; и в тихий утра час,
Как над тобой порхнет зефир весенний,
Безвестный гость, дубравный соловей,
Порою издает томительные звуки,
В них слышны: слава прежних дней,
И голос нег, и голос муки!..
Когда уже едва свет дневный отражен
Кристальною играющей волною
И гаснет день: усталою стопою
Идет рыбак брегов на тихий склон,
Несведущий, безмолвно попирает,
Таща изорванную сеть,
Ту землю, где твой прах забытый истлевает,
Не перестав простую песню петь...»

. . . .

Вдруг!.. ветерок... луна за тучи забежала...
Умолк певец. Струится в жилах хлад;
Он тайным ужасом объят...
И струны лопнули... и тень ему предстала.
«Умолкни, о певец! спеши отсюда прочь,
С хвалой иль язвою упрека:
Мне все равно; в могиле вечно ночь,
Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки:
Я презрю песнопенья громки;
Я выше и похвал, и славы, и людей!..»

ЖАЛОБЫ ТУРКА

(Письмо. К другу, иностранцу)

Ты знал ли дикий край, под знойными лучами,
Где рощи и луга поблекшие цветут?
Где хитрость и беспечность злобе дань несут?
Где сердце жителей волнуемо страстями?
И где являются порой
Умы и хладные и твердые как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень.

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! этот край... моя отчизна!

P. S.

Ах! если ты меня поймешь,
Прости свободные намеки;
Пусть истину скрывает ложь:
Что ж делать? — Все мы человеки!..

ЧЕРКЕШЕНКА

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый
И нравы тихой простоты!

Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал,—
Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальных скал...

Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид;
Так стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.

МОЙ ДЕМОН

Собранье зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.

Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.

ЖЕНА СЕВЕРА

Покрыта таинств легкой сеткой,
Меж скал полуночной страны,
Она являлася нередко
В года волшебной старины,
И Финна дикие сыны
Ей храмины сооружали,
Как грозной дочери богов;
И скальды северных лесов
Ей вдохновенье посвящали.
Кто зрел ее, тот умирал.
И слух в угрюмой полуночи
Бродил, что будто как металл
Язвили голубые очи.
И только скальды лишь могли
Смотреть на деву издали.
Они платили песнопеньем
За пламенный восторга час;
И пробужден немым виденьем
Был строен их невнятный глас!..

К ДРУГУ

Взлелеянный на лоне вдохновенья,
С деятельной и пылкою душой,
Я не пленен небесной красотой,
Но я ищу земного упоенья.
Любовь пройдет, как тень пустого сна.
Не буду я счастливым близ прекрасной;
Но ты меня не спрашивай напрасно:
Ты, друг, узнать не должен, кто она.

Навек мы с ней разлучены судьбою,
Я победить жестокость не умел.
Но я ношу отказ и месть с собою;
Но я в любви моей закоренел.
Так вор седой заглохшия дубравы
Не кается еще в своих грехах;
Еще он путников, соседей страх,
И мил ему товарищ, нож кровавый!..
Стремится медленно толпа людей,
До гроба самого от самой колыбели,
Игралищем и рока и страстей,
К одной, святой, неизъяснимой цели.
И я к высокому, в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их...

К***

Мы снова встретились с тобой...
Но как мы оба изменились!..
Года унылой чередой
От нас невидимо сокрылись.
Ищу в глазах твоих огня,
Ищу в душе своей волненья.
Ах! как тебя, так и меня
Убило жизни тяготенье!..

МОНОЛОГ

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

БАЛЛАДА

Над морем красавица-дева сидит;
И, к другу ласкаяся, так говорит:

«Достань ожерелье, спустися на дно;
Сегодня в пучину упало оно!

Ты этим докажешь свою мне любовь!»
Вскипела лихая у юноши кровь,

И ум его обнял невольный недуг,
Он в пенную бездну кидается вдруг.

Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся, и мчатся назад,

И снова приходят и о берег бьют,
Вот милого друга они принесут.

О счастье! он жив, он скалу ухватил,
В руке ожерелье, но мрачен как был.

Он верить боится усталым ногам,
И влажные кудри бегут по плечам...

«Скажи, не люблю иль люблю я тебя,
Для перлов прекрасной и жизнь не щадя,

По слову спустился на черное дно,
В коралловом гроте лежало оно.—

Возьми!» — и печальный он взор устремил
На то, что дороже он жизни любил.

Ответ был: «О милый, о юноша мой!
Достань, если любишь, коралл дорогой».

С душой безнадежной младой удалец
Прыгнул, чтоб найти иль коралл, или конец.

Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся, и мчатся назад,

И снова приходят и о берег бьют,
Но милого друга они не несут.

ПЕРЧАТКА

(Из Шиллера)

Вельможи толпою стояли
И молча зрелища ждали;
Меж них сидел
Король величаво на троне;
Кругом на высоком балконе
Хор дам прекрасный блестел.

Вот царскому знаку внимают,
Скрыпучую дверь отворяют,
И лев выходит степной
Тяжелой стопой.
И молча вдруг
Глядит вокруг.
Зевая лениво,
Трясет желтой гривой
И, всех обозрев,
Ложится лев.

И царь махнул снова,
И тигр суровый
С диким прыжком
Взлетел опасный
И, встретясь с львом,
Завыл ужасно;
Он бьет хвостом,
Потом
Тихо владельца обходит,
Глаз кровавых не сводит...

Но раб пред владыкой своим
Тщетно ворчит и злится:
И невольно ложится
Он рядом с ним.

Сверху тогда упади
Перчатка с прекрасной руки
Судьбы случайной игрою
Между враждебной четою.

И к рыцарю вдруг своему обратясь,
Кунигунда сказала, лукаво смеясь:
«Рыцарь, пытать я сердца люблю.
Если сильна так любовь у вас,
Как вы твердите мне каждый час,
То подымите перчатку мою!»

И рыцарь с балкона в минуту бежит,
И дерзко в круг он вступает,
На перчатку меж диких зверей он глядит
И смелой рукой подымает.

*

И зрители в робком вокруг ожиданье,
Трепеща, на юношу смотрят в молчанье.
Но вот он перчатку приносит назад.
Отвсюду хвала вылетает,
И нежный, пылающий взгляд —
Недального счастья заклад —
С рукой девицы героя встречает.
Но, досады жестокой пылая в огне,
Перчатку в лицо он ей кинул:
«Благодарности вашей не надобно мне!»
И гордую тотчас покинул.

ДИТЯ В ЛЮЛЬКЕ

(Из Шиллера)

Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему: но дай время
Сделаться мужем, и тесен покажется мир.

К*

(Из Шиллера)

Делись со мною тем, что знаешь,
И благодарен буду я.
Но ты мне душу предлагаешь:
На кой мне черт душа твоя!..

МОЛИТВА

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

* * *

Один среди людского шума,
Возрос под сенью чуждой я,
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня.

И вот прошли мои мученья,
Нашлися пылкие друзья,
Но я, лишенный вдохновенья,
Скучал судьбою бытия.
И снова муки посетили
Мою воскреснувшую грудь,
Изменой душу заразили
И не давали отдохнуть.
Я вспомнил прежние несчастья,
Но не найду в душе моей
Ни честолюбья, ни участья,
Ни слез, ни пламенных страстей.

КАВКАЗ

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..

К***

Не говори: одним высоким
Я на земле воспламенен,
К нему лишь с чувством я глубоким
Бужу забытой лиры звон;
Поверь: великое земное
Различно с мыслями людей.
Сверши с успехом дело злое —
Велик; не удалось — злодей;

Среди дружин необозримых
Был чуть не бог Наполеон;
Разбитый же в снегах родимых
Безумцем порицаем он;
Внимая шум воды прибрежной,
В изгнанье дальном он погас —
И что ж? — Конец его мятежный
Не отуманил наших глаз!..

ОПАСЕНИЕ

Страшись любви: она пройдет,
Она мечтой твой ум встревожит,
Тоска по ней тебя убьет,
Ничто воскреснуть не поможет.

Краса, любимая тобой,
Тебе отдаст, положим, руку...
Года мелькнут... летун седой
Укажет вечную разлуку...

И беден, жалок будешь ты,
Глядящий с кресел иль подушки
На безобразные черты
Твоей докучливой старушки,

Коль мысли о былых летах
В твой ум закрадутся порою
И вспомнишь, как на сих щеках
Играло жизнью молодою...

Без друга лучше дни влачить
И к смерти радостней клониться,
Чем два удара выносить
И сердцем о двоих крушиться!..

СТАНСЫ

Люблю, когда, борясь с душою,
Краснеет девица моя:
Так перед вихрем и грозою
Красна вечерняя заря.

Люблю и вздох, что ночью лунной
В лесу из уст ее скользит:
Звук тихий арфы златострунной
Так с хладным ветром говорит.

Но слаще встретить средь моленья
Ее слезу очам моим:
Так, зря Спасителя мученья,
Невинный плакал херувим.

Н. Ф. И....ВОЙ

Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;

Счастливцы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;

Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.

Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,

К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели...
И, в жизни зло лишь испытав,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум печальной цели.

* * *

Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались позднею порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...
Тогда лучи уж догорали
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.

Окончив труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.
И между тем, как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской,
Я умереть желаю с ними...

НОЧЬ. I

Я зрел во сне, что будто умер я;
Душа, не слыша на себе оков
Телесных, рассмотреть могла б яснее
Весь мир — но было ей не до того;
Боязненное чувство занимало
Ее; я мчался без дорог; пред мною
Не серое, не голубое небо
(И мнилося, не небо было то,

А тусклое, бездушное пространство)
Виднелось; и ничто вокруг меня
Различных теней кинуть не могло,
Которые по нем мелькали;
И два противных диких звуков,
Два отголоска целыя природы,
Боролися — и ни один из них
Не мог назваться побежденным. Страх
Припомнить жизни гнусные деянья
Иль о добре свершенном возгордиться
Мешал мне мыслить; и летел, летел я
Далёко без желания и цели —
И встретился мне светозарный ангел;
И так, сверкнувши взором, мне сказал:
«Сын праха, ты грешил — и наказанье
Должно тебя постигнуть, как других;
Спустись на землю — где твой труп
Зарыт; ступай и там живи, и жди,
Пока придет Спаситель,— и молись...
Моли́сь — страдай... и выстрадай прощеньс...»
И снова я увидел край земной;
Досадой вид его меня наполнил,
И боль душевных ран, на краткий миг
Лишь заглушенная боязнью, с новой силой
Огнем отчаянья возобновилась;
И (странно мне), когда увидел ту,
Которую любил так сильно прежде,
Я чувствовал один холодный трепет
Досады горькой — и толпа друзей
Ликующих меня не удержала,
С презрением на кубки я взглянул,
Где грех с вином кипел,— воспоминанье
В меня впилось когтями,— я вздохнул,
Так глубоко, как только может мертвый,—
И полетел к своей могиле. Ах!
Как беден тот, кто видит наконец
Свое ничтожество и в чьих глазах
Все для чего трудился долго он,
На воздух разлетелось...
И я сошел в темницу, узкий гроб,
Где гнил мой труп,— и там остался я;
Здесь кость была уже видна — здесь мясо
Кусками синее висело — жилы там
Я примечал с засохшею в них кровью...

С отчаяньем сидел я и взирал,
Как быстро насекомые роились
И поедали жадно свою пищу;
Червяк то выползал из впадин глаз,
То вновь скрывался в безобразный череп,
И каждое его движенье
Меня терзало судорожной болью.
Я должен был смотреть на гибель друга,
Так долго жившего с моей душою,
Последнего, единственного друга,
Делившего ее земные муки,—
И я помочь ему желал — но тщетно —
Уничтоженья быстрые следы
Текли по нем — и черви умножались;
Они дрались за пищу остальную
И смрадную сырую кожу грызли,
Остались кости — и они исчезли;
В гробу был прах... и больше ничего...
Одною полон мрачною заботой,
Я припадал на бренные останки,
Стараясь их дыханием согреть...
О сколько б я тогда отдал земных
Блаженств, чтоб хоть одну — одну минуту
Почувствовать в них теплоту.— Напрасно,
Они остались хладны — хладны, как презренье!..
Тогда я бросил дикие проклятья
На моего отца и мать, на всех людей,—
И мне блеснула мысль (творенье ада):
Что если время совершит свой круг
И погрузится в вечность невозвратно,
И ничего меня не успокоит.
И не придут сюда просить меня?..
— И я хотел изречь хулы на небо —
Хотел сказать: ...
Но голос замер мой — и я проснулся.

РАЗЛУКА

Я виноват перед тобою,
Цены услуг твоих не знал.
Слезами горькими, тоскою
Я о прощенье умолял,

Готов был, ставши на колени,
Проступком называть мечты:
Мои мучительные пени
Бессмысленно отвергнул ты.
Зачем так рано, так ужасно
Я должен был узнать людей
И счастьем жертвовать напрасно
Холодной гордости твоей?..
Свершилось! вечную разлуку
Трепеща вижу пред собой...
Ледяную встречаю руку
Моей пылающей рукой.
Желаю, чтоб воспоминанье
В чужих людях, в чужой стране
Не принесло тебе страданье
При сожаленье обо мне...

НОЧЬ. II

Погаснул день! — и тьма ночная своды
Небесные, как саваном, покрыла.
Кой-где во тьме вертелись и мелькали
Светящиеся точки,
И между них земля вертелась наша;
На ней, спокойствием объятой тихим,
Уснуло все — и я один лишь не спал.
Один я не спал... страшным полусветом,
Меж радостью и горестью срединой,
Мое теснилось сердце — и желал я
Веселие или печаль умножить
Воспоминаньем о убитой жизни:
Последнее, однако, было легче!..
Вот с запада *Скелет* неизмеримый
По мрачным сводам начал подниматься
И звезды заслонил собою...
И целые миры пред ним уничтожались,
И все трещало под его шагами,—
Ничтожество за ними оставалось!
И вот приблизился к земному шару
Гигант всесильный — все на ней уснуло,
Ничто встревожиться не мыслило — единый,
Единый смертный видел, что не дай бог
Созданию живому видеть...

И вот *он* поднял костяные руки —
И в каждой *он* держал по человеку,
Дрожащему — и мне они знакомы были —
И кинул взор на них я — и заплакал!..
И странный голос вдруг раздался:
«Малодушный!
Сын праха и забвения, не ты ли,
Изнемогая в муках нестерпимых,
Ко мне взывал — я здесь: я смерть!..
Мое владычество безбрежно!..
Вот двое.— Ты их знаешь — ты любил их...
Один из них погибнет.— Позволяю
Определить неизбежимый жребий...
И ты умрешь, и в вечности погибнешь —
И их нигде, нигде вторично не увидишь —
Знай, как исчезнет время, так и люди,
Его рожденье,— только бог лишь вечен...
— Решись, несчастный!..»

Тут невольный трепет
По мне мгновенно начал разливаться,
И зубы, крепко застучав, мешали
Словам жестоким вырваться из груди;
И наконец, преодолев свой ужас,
К скелету я воскликнул: «Оба, оба!..
Я верю: нет свиданья — нет разлуки!..
Они довольно жили, чтобы вечно
Продлилося их наказанье.
Ах! — и меня возьми, земного червя,—
И землю раздроби, гнездо разврата,
Безумства и печали!..
Все, все берет она у нас обманом
И не дарит нам ничего — кроме рожденья!..
Проклятье этому подарку!..
Мы без него тебя бы не знавали,
Поэтому и тщетной, бедной жизни,
Где нет надежд — и всюду опасенья.
Да гибнут же друзья мои, да гибнут!..
Лишь об одном я буду плакать:
Зачем они не дети!..»
И видел я, как руки костяные
Моих друзей сдавили,— их не стало —
Не стало даже призраков и теней...

Туманом облачился образ смерти,
И — так пошел на север. Долго, долго,
Ломая руки и глотая слезы,
Я на творца роптал, страшась молиться!

НЕЗАБУДКА

(Сказка)

В старинны годы люди были
Совсем не то, что в наши дни;
(Коль в мире есть любовь) любили
Чистосердечнее они.
О древней верности, конечно,
Слыхали как-нибудь и вы,
Но как сказания молвы
Все дело перепортят вечно,
То я вам точный образец
Хочу представить наконец.
У влаги ручейка холодной,
Под тенью липовых ветвей,
Не опасаясь злых очей,
Однажды рыцарь благородный
Сидел с любезною своей...
Тихонько ручкой молодою
Она красавца обняла.
Полна невинной простотою,
Беседа мирная текла.

«Друг, не клянися мне напрасно,—
Сказала дева: верю я,
Ясна, чиста любовь твоя,
Как эта звонкая струя,
Как этот свод над нами ясный;
Но как она в тебе сильна,
Еще не знаю.— Посмотри-ка,
Там рдеет пышная гвоздика,
Но нет: гвоздика не нужна;
Подалее, как ты унылый,
Чуть виден голубой цветок...
Сорви же мне его, мой милый:
Он для любви не так далек!»
Вскочил мой рыцарь, восхищенный
Ее душевной простотой;

Через ручей прыгнув, стрелой
Летит он цветик драгоценный
Сорвать поспешною рукой...
Уж близко цель его стремленья,
Как вдруг под ним (ужасный вид)
Земля неверная дрожит,
Он вязнет, нет ему спасенья!..
Взор кинув полный весь огня
Своей красавице безгласной,
«Прости, не позабудь меня!» —
Воскликнул юноша несчастный;
И мигом пагубный цветок
Схватил рукою безнадежной;
И сердца пылкого в залог
Его он кинул деве нежной.

Цветок печальный с этих пор
Любови дорог; сердце бьется,
Когда его приметит взор,
Он незабудкою зовется;
В местах сырых, вблизи болот,
Как бы страшась прикосновенья,
Он ищет там уединенья,
И цветом *неба* он цветет,
Где смерти нет и нет забвенья...

Вот повести конец моей;
Судите: быль иль небылица.
А виновата ли девица —
Сказала, верно, совесть ей!

ОДИНОЧЕСТВО

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы —
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;

И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над землей?

Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем...

В АЛЬБОМ

1

Нет! — я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнишних дней.
Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след.

2

Быть может, некогда случится,
Что, все страницы пробежав,
На эту взор ваш устремится,
И вы промолвите: он прав;
Быть может, долго стих унылый
Тот взгляд удержит над собой,
Как близ дороги столбовой
Пришельца — памятник могилы!..

ГРОЗА

Ревет гроза, дымятся тучи
Над темной бездною морской,
И хлещут пеною кипучей,
Толпяся, волны меж собой.

Вкруг скал огнистой лентой вьется
Печальной молнии змея,
Стихий тревожный рой мятется —
И здесь стою недвижим я.

Стою — ужель тому ужасно
Стремленье всех надземных сил,
Кто в жизни чувствовал напрасно
И жизнию обманут был?
Вокруг кого, сей яд сердечный,
Вились сужденья клеветы,
Как вкруг скалы остроконечной,
Губитель-пламень, вьешься ты?

О нет! — летай, огонь воздушный,
Свистите, ветры, над главой;
Я здесь, холодный, равнодушный,
И трепет не знаком со мной.

ЗВЕЗДА

Светись, светись, далекая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда;
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,
Несет мечты душе моей больной;
Она к тебе летает высоко;
И груди сей свободно и легко...
Я видел взгляд, исполненный огня
(Уж он давно закрылся для меня),
Но, как к тебе, к нему еще лечу;
И хоть нельзя — смотреть его хочу...

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Я видал иногда, как ночная звезда
   В зеркальном заливе блестит;
Как трепещет в струях, и серебряный прах
   От нее, рассыпаясь, бежит.

Но поймать ты не льстись и ловить не берись:
   Обманчивы луч и волна.
Мрак тени твоей только ляжет на ней,
   Отойди ж — и заблещет она.

Светлой радости так беспокойный призрак
Нас манит под хладною мглой;
Ты схватить — он шутя убежит от тебя!
Ты обманут — он вновь пред тобой.

ВЕЧЕР ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон,
Прощальный луч на вышине колонн,
На куполах, на трубах и крестах
Блестит, горит в обманутых очах;
И мрачных туч огнистые края
Рисуются на небе, как змея,
И ветерок, по саду пробежав,
Волнует стебли омоченных трав...
Один меж них приметил я цветок,
Как будто перл, покинувший восток.
На нем вода блистаючи дрожит,
Главу свою склонивши, он стоит,
Как девушка в печали роковой:
Душа убита, радость над душой;
Хоть слезы льет из пламенных очей,
Но помнит все о красоте своей.

НАПОЛЕОН

(Дума)

В неверный час, меж днем и темнотой,
Когда туман синеет над водой,
В час грешных дум, видений, тайн и дел,
Которых луч узреть бы не хотел,
А тьма укрыть, чья тень, чей образ там,
На берегу, склонивши взор к волнам,
Стоит вблизи нагбенного креста?
Он не живой. Но также не мечта:
Сей острый взгляд с возвышенным челом
И две руки, сложенные крестом.

Пред ним лепечут волны и бегут,
И вновь приходят, и о скалы бьют;
Как легкие ветрилы, облака
Над морем носятся издалека.

И вот глядит неведомая тень
На тот восток, где новый брезжит день;
Там Франция! — там край ее родной
И славы след, быть может скрытый мглой;
Там, средь войны, ее неслися дни...
О! для чего так кончились они!..

Прости, о слава! обманувший друг.
Опасный ты, но чудный, мощный звук;
И скиптр... о вас забыл Наполеон;
Хотя давно умерший, любит он
Сей малый остров, брошенный в морях,
Где сгнил его и червем съеден прах,
Где он страдал, покинут от друзей,
Презрев судьбу с гордыней прежних дней,
Где стаивал он на брегу морском,
Как ныне грустен, руки сжав крестом.

О! как в лице его еще видны
Следы забот и внутренней войны,
И быстрый взор, дивящий слабый ум,
Хоть чужд страстей, все полон прежних дум;
Сей взор как трепет в сердце проникал,
И тайные желанья узнавал,
Он тот же все; и той же шляпой он,
Сопутницею жизни, осенен.
Но — посмотри — уж день блеснул в струях...
Призрака нет, все пусто на скалах.

Нередко внемлет житель сих брегов
Чудесные рассказы рыбаков.
Когда гроза бунтует и шумит,
И блещет молния, и гром гремит,
Мгновенный луч нередко озарял
Печальну тень, стоящую меж скал.
Один пловец, как не был страх велик,
Мог различить недвижный смуглый лик,
Под шляпою, с нахмуренным челом,
И две руки, сложенные крестом.

К ГЛУПОЙ КРАСАВИЦЕ

Тобой пленяться издали
Мое все зрение готово,
Но слышать, боже сохрани,
Мне от тебя одно хоть слово.
Иль смех, иль страх в душе моей
Заменит сладкое мечтанье,
И глупый смысл твоих речей
Оледенит очарованье...

Так смерть красна издалека;
Пускай она летит стрелою.
За ней я следую пока;
Лишь только б не она за мною...
За ней я всюду полечу
И наслажуся в созерцанье.
Но сам привлечь ее вниманье
Ни за полмира не хочу.

ОТРЫВОК

На жизнь надеяться страшась,
Живу, как камень меж камней,
Излить страдания скупясь:
Пускай сгниют в груди моей.
Рассказ моих сердечных мук
Не возмутит ушей людских.
Ужель при сшибке камней звук
Проникнет в середину их?

Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне.
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине.
Я твердо ждал его плодов,
С собой беседовать любя.
Утихнет звук сердечных слов:
Один, один останусь я.

Для тайных дум я пренебрег
И путь любви и славы путь,
Все, чем хоть мало в свете мог
Иль отличиться, иль блеснуть;

Беднейший средь существ земных,
Останусь я в кругу людей,
Навек лишась достоинств их
И добродетели своей!

Две жизни в нас до гроба есть,
Есть грозный дух: он чужд уму;
Любовь, надежда, скорбь и месть:
Все, все подвержено ему.
Он основал жилище там,
Где можем память сохранять,
И предвещает гибель нам,
Когда уж поздно избегать.

Терзать и мучить любит он;
В его речах нередко ложь;
Он точит жизнь, как скорпион.
Ему поверил я — и что ж!
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.

И скоро старость приведет
Меня к могиле — я взгляну
На жизнь, на весь ничтожный плод —
И о прошедшем вспомяну:
Придет сей верный друг могил,
С своей холодной красотой:
Об чем страдал, что я любил,
Тогда лишь будет мне мечтой.

Ужель единый гроб для всех
Уничтожением грозит?
Как знать: тогда, быть может, смех
Полмертвого воспламенит!
Придет веселость, звук чужой
Поныне в словаре моем:
И я об юности златой
Не погорюю пред концом.

Теперь я вижу: пышный свет
Не для людей был сотворен.
Мы сгибнем, наш сотрется след.

Таков наш рок, таков закон;
Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам.
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.

Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..

К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы.— А мы
Увидим этот рай земли,
Окованы над бездной тьмы.
Укоры зависти, тоска
И вечность с целию одной;
Вот казнь за целые века
Злодейств, кипевших под луной.

СТАНСЫ

Я не крушуся о былом,
Оно меня не усладило.
Мне нечего запомнить в нем,
Чего б тоской не отравило!

Как настоящее, оно
Страстями чудными облито
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый!

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою.
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Я к одиночеству привык,
Я б не умел ужиться с другом;
Я б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом.

Мне кручно в день, мне скучно в ночь.
Надежды нету в утешенье;
Она навек умчалась прочь,
Как жизни каждое мгновенье.

На светлый запад удалюсь,
Вид моря грусть мою рассеет.
Ни с кем в отчизне не прощусь —
Никто о мне не пожалеет!..

Быть может, будет мне о ком
Тогда вздохнуть,— и провиденье
Заплатит мне спокойным днем
За долгое мое мученье.

* * *

1

Оставленная пустынь предо мной
Белеется вечернею порой.
Последний луч на ней еще горит;
Но колокол растреснувший молчит.
Его (бывало) заунывный глас
Звал братий к всенощне в сей мирный час!
Зеленый мох, растущий над окном,
Заржавленные ставни — и кругом
Высокая полынь — все, все без слов
Нам говорит о таинствах гробов.

. . . .

Таков старик, под грузом тяжких лет
Еще хранящий жизни первый цвет;
Хотя он свеж, на нем печать могил
Тех юношей, которых пережил.

2

Пред мной готическое зданье
Стоит, как тень былых годов;
При нем теснится чувствованье
К нам в грудь того, чему нет слов,
Что выше теплого участья,
Святей любви, спокойней счастья.

Быть может, через много лет
Сия священная обитель
Оставит только мрачный след,
И любопытный посетитель
В развалинах людей искать
Напрасно станет, чтоб узнать,

Где образ божеской могилы
Между златых колонн стоял,
Где теплились паникадилы,
Где лик отшельников звучал
И где пред богом изливали
Свои грехи, свои печали.

И там (как знать) найдет прошлец
Пергамент пыльный. Он увидит,
Как сердце любит по конец
И бесконечно ненавидит,
Как ни вериги, ни клобук
Не облегчают наших мук.

Он тех людей узрит гробницы,
Их эпитафии пройдет,
Времен тогдашних небылицы
За речи истинны почтет,
Не мысля, что в сем месте сгнили
Сердца, которые любили!..

НОЧЬ. III

Темно. Все спит. Лишь только жук ночной,
Жужжа, в долине пролетит порой;
Из-под травы блистает червячок,
От наших дум, от наших бурь далек.

Высоких лип стал пасмурней навес,
Когда луна взошла среди небес...
Нет, в первый раз прелестна так она!
Он здесь. Стоит. Как мрамор, у окна.
Тень от него чернеет по стене.
Недвижный взор поднят, но не к луне;
Он полон всем, чем только яд страстей
Ужасен был и мил сердцам людей.
Свеча горит, забыта на столе,
И блеск ее с лучом луны в стекле
Мешается, играет, как любви
Огонь живой с презрением в крови!
Кто ж *он?* кто ж он, сей нарушитель сна?
Чем эта грудь мятежная полна?
О, если б вы умели угадать
В его очах, что хочет он скрывать!
О если б мог единый бедный друг
Хотя смягчить души его недуг!

ЭПИТАФИЯ

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.

Он верил темным предсказаньям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои.

И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.

ГРОБ ОССИАНА

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.

Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!..

КЛАДБИЩЕ

Вчера до самой ночи просидел
Я на кладбище, все смотрел, смотрел
Вокруг себя; — полстертые слова
Я разбирал. Невольно голова
Наполнилась мечтами; — вновь очей
Я не был в силах оторвать с камней.
Один ушел уж в землю, и на нем
Все стерлося; там крест к кресту челом
Нагнулся, будто любит, будто сон
Земных страстей узнал в сем месте он...
Вкруг тихо, сладко все, как мысль о *ней;*
Краснеючи, волнуется пырей
На солнце вечера. Над головой
Жужжа, со днем прощаются игрой
Толпящиеся мошки, как народ
Существ с душой, уставших от работ!..
Стократ велик, кто создал мир! велик!..
Сих мелких тварей надмогильный крик
Творца не больше ль славит иногда,
Чем в пепел обращенные стада?
Чем человек, сей царь над общим злом,
С коварным сердцем, с ложным языком?..

К СУ<ШКОВОЙ>

Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор —
Не билось сердце у меня.

И что ж? — разлуки первый звук
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю — зачем скрывать!

Однако же хоть день, хоть час
Еще желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз
Души тревоги усмирить.

1830. МАЙЯ. 16 ЧИСЛО

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет;
Хочу — и снова затрудненье!
Зачем? что пользы будет мне?
Мое свершится разрушенье
В чужой, неведомой стране.
Я не хочу бродить меж *вами*
По разрушении! — Творец,
На то ли я звучал струнами,
На то ли создан был певец?
На то ли вдохновенье, страсти
Меня к могиле привели?
И нет в душе довольно власти —
Люблю мучения земли.
И этот образ, он за мною
В могилу силится бежать,
Туда, где обещал мне дать
Ты место к вечному покою.
Но чувствую: покоя нет
И там, и там его не будет;
Тех длинных, тех жестоких лет
Страдалец вечно не забудет!..

К ***

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,
Хотя теперь слова мои печальны; — нет;
Нет! все мои жестокие мученья —
Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки;
О, если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой.
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад — прошедшее ужасно;
Гляжу вперед — там нет души родной!

ДЕРЕВУ

Давно ли с зеленью радушной
Передо мной стояло ты,
И я коре твоей послушной
Вверял любимые мечты;
Лишь год назад два талисмана
Светилися в тени твоей,
И ниже замысла обмана
Не скрылося в душе детей!..

Детей! — о! да, я был ребенок! —
Промчался легкой страсти сон;
Дремоты флёр был слишком тонок —
В единый миг прорвался он.
И деревцо с моей любовью
Погибло, чтобы вновь не цвесть;
Я жизнь его купил бы кровью,—
Но как переменить, что *есть*?

Ужели также вдохновенье
Умрет невозвратимо с ним?
Иль шуму светского волненья
Бороться с сердцем молодым?
Нет, нет,— мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит;
И эти ветви над могилой
Певца-страдальца осветит.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

1830 ГОД. ИЮЛЯ 15-го

(Москва)

Зачем семьи родной безвестный круг
Я покидал? Все сердце грело там,
Все было мне наставник или друг,
Все верило младенческим мечтам.
Как ужасы пленяли юный дух,
Как я рвался на волю к облакам!
Готов лобзать уста друзей был я,
Не посмотрев, не скрыта ль в них змея.

Но в общество иное я вступил,
Узнал людей и дружеский обман,
Стал подозрителен и погубил
Беспечности душевный талисман.
Чтобы никто теперь не говорил:
Он будет друг мне! — боль старинных ран
Из груди извлечет не речь, но стон;
И не привет, упрек услышит он.

Ах! я любил, когда я был счастлив,
Когда лишь от любви мог слезы лить.
Но эту грудь, страданьем напоив,
Скажите мне, возможно ли любить?
Страшусь, в объятья деву заключив,
Живую душу ядом отравить
И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня.

Но лучше я, чем для людей кажусь,
Они в лице не могут чувств прочесть;
И что молва кричит о мне... боюсь! —
Когда б я знал, не мог бы перенесть.
Противу них во мне горит, клянусь,
Не злоба, не презрение, не месть.
Но... для чего старалися они
Так отравить ребяческие дни?

Согбенный лук, порвавши тетиву,
Гремит — но вновь не будет прям, как был.
Чтоб цепь их сбросить, я, подняв главу,
Последнее усилие свершил;
Что ж.— Ныне жалкий, грустный я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

БУЛЕВАР

С минуту лишь с бульвара прибежав,
Я взял перо — и, право, очень рад,
Что плод над ним моих привычных прав
Узнает вновь бульварный маскерад;
Сатиров я, для помощи призвав —
Подговорю,— и все пойдет на лад.
Ругай людей, но лишь ругай остро;
Не то — ...ко всем чертям твое перо!..

Приди же из подземного огня,
Чертенок мой, взъерошенный остряк,
И попугаем сядь вблизи меня.
«Дурак» скажу — и ты кричи «дурак».
Не устоит бульварная семья —

Хоть морщи лоб, хотя сожми кулак,
Невинная красотка в сорок лет —
Пятнадцати тебе все нет как нет!

И ты, мой старец с рыжим париком,
Ты, депутат столетий и могил,
Дрожащий весь и схожий с жеребцом,
Как кровь ему из всех пускают жил,
Ты здесь бредешь и смотришь сентябрем,
Хоть там княжна лепечет: как он мил!
А для того и силится хвалить,
Чтоб свой порок в Ч**** извинить!..

Подалее на креслах там другой;
Едва сидит согбенный сын земли;
Он как знаток глядит в лорнет двойной;
Власы его в серебряной пыли.
Он одарен восточною душой,
Коль душу в нем в сто лет найти могли.
Но я клянусь (пусть кончив — буду прах),
Она тонка, когда в его ногах.

И что ж? — он прав, он прав, друзья мои.
Глупец, кто жил, чтоб на диете быть;
Умен, кто отдал дни свои любви;
И этот муж копил: чтобы любить.
Замен души он находил в крови.
Но тот блажен, кто может говорить,
Что он вкушал до капли мед земной,
Что он любил и телом и душой!..

И я любил! — опять к своим страстям!
Брось, брось свои безумные мечты!
Пора склонить внимание на дам,
На этих кандидатов красоты,
На их наряд — как описать все вам?
В наряде их нет милой простоты,
Все так высоко, так взгромождено,
Как бурею на них нанесено.

Приметна спесь в их пошлой болтовне,
Уста всегда сказать готовы: *нет*.
И холодны они, как при луне
Нам кажется прабабушки портрет;

Когда гляжу, то, право, жалко мне,
Что вкус такой имеет модный свет.
Ведь думают тенетом лент, кисей,
Как зайчиков, поймать моих друзей.

Сидел я раз случайно под окном,
И вдруг головка вышла из окна,
Незавита и в чепчике простом —
Но как божественна была она.
Уста и взор — стыжусь! в уме моем
Головка та ничем не изгнана;
Как некий сон младенческих ночей
Или как песня матери моей.

И сколько лет уже прошло с тех пор!..
О, верьте мне, красавицы Москвы,
Блистательный ваш головной убор
Вскружить не в силах нашей головы.
Все платья, шляпы, букли ваши вздор
Такой же вздор, какой твердите вы,
Когда идете здесь толпой комет,
А маменьки бегут за вами вслед.

Но для чего кометами я вас
Назвал, глупец тупейший то поймет
И сам Башуцкий объяснит тотчас.
Комета за собою хвост влечет;
И это всеми признано у нас,
Хотя — что в нем, никто не разберет:
За вами ж хвост оставленных мужьев,
Вздыхателей и бедных женихов!

О женихи! о бедный Мосолов;
Как не вздохнуть, когда тебя найду,
Педантика, из рода петушков,
Средь юных дев как будто бы в чаду;
Хотя и держишься размеру слов,
Но ты согласен на свою беду,
Что лучше все не думав говорить,
Чем глупо думать и глупей судить.

Он чванится, что точно русский он;
Но если бы таков был весь народ;
То я бы из Руси пустился вон.

И то сказать, чудесный патриот;
Лишь своему языку обучен,
Он этим край родной не выдает:
А то б узнали всей земли концы,
Что есть у нас подобные глупцы.

ПЕСНЬ БАРДА

I

Я долго был в чужой стране,
  Дружин Днепра седой певец,
И вдруг пришло на мысли мне
  К ним возвратиться наконец.
Пришел — с гуслями за спиной —
  Былую песню заиграл...
Напрасно! — князь земли родной
  Приказу ханскому внимал...

II

В пустыни, где являлся враг,
  Понес я старую главу,
И попирал мой каждый шаг
  Окровавленную траву.
Сходились к брошенным костям
  Толпы зверей и птиц лесных,
Затем что больше было там
  Число убитых, чем живых.

III

Кто мог бы песню спеть одну?
  Отчаянным движеньем рук
Задев дрожащую струну,
  Случалось, исторгал я звук;
Но умирал так скоро он!
  И если б слышал сын цепей,
То гибнущей свободы стон
  Не тронул бы его ушей.

IV

Вдруг кто-то у меня спросил:
«Зачем я часто слезы лью,
Где человек так вольно жил?
О ком бренчу, о ком пою?»
Пронзила эта речь меня —
Надежд пропал последний рой;
На землю гусли бросил я
И молча раздавил ногой.

10 ИЮЛЯ. (1830)

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны,
И снова знамя вольности кровавой
Явилося, победы мрачный знак,
Оно любимо было прежде славой:
Суворов был его сильнейший враг.

БЛАГОДАРЮ!

Благодарю!.. вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!

В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!

Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!

О, пусть холодность мне твой взор укажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!

НИЩИЙ

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

К...

Не говори: я трус, глупец!..
О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?..

30 ИЮЛЯ.— (ПАРИЖ). 1830 ГОДА

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел.— Ты полагал
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.

И загорелся страшный бой,
И знамя вольности, как дух,
Идет пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан.

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроются гроба
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы
И их подымет судия...
Не встанут у тебя власы?
Не задрожит рука твоя?..

Глупец! что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой?
Предмет насмешек ада, тень,
Призрак, обманутый судьбой!
Бессмертной раною убит,
Ты обернешь молящий взгляд,
И строй кровавый закричит:
Он виноват! он виноват!

СТАНСЫ

I

Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор
И с нею думы светлых дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет, как этот час,
На смех подосланный судьбой.

II

Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал —
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой...
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.

III

Я жертвовал другим страстям,
Но если первые мечты
Служить не могут снова нам,—
То чем же их заменишь ты?..
Чем успокоишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю,
А может быть, и в небесах?..

НОЧЬ

Один я в тишине ночной;
Свеча сгоревшая трещит,
Перо в тетрадке записной
Головку женскую чертит;
Воспоминанье о былом,
Как тень, в кровавой пелене,
Спешит указывать перстом
На то, что было мило мне.

Слова, которые могли
Меня тревожить в те года,
Пылают предо мной вдали,
Хоть мной забыты навсегда.
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет —
Он обладал моей душой.

Как мог я не любить тот взор?
Презренья женского кинжал
Меня пронзил... но нет — с тех пор
Я все любил — я все страдал.
Сей взор невыносимый, он
Бежит за мною, как призрáк;
И я до гроба осужден
Другого не любить никак.

О! я завидую другим!
В кругу семейственном, в тиши,
Смеяться просто можно им
И веселиться от души.
Мой смех тяжел мне как свинец:
Он плод сердечной пустоты...
О боже! вот что, наконец,
Я вижу, мне готовил ты.

Возможно ль! первую любовь
Такою горечью облить;
Притворством взволновав мне кровь,
Хотеть насмешкой остудить?
Желал я на другой предмет
Излить огонь страстей своих.
Но память, слезы первых лет!
Кто устоит противу них?

К ***

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей будет кровь
И стану жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей;

Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при разлуке я сказал.
Увы! то были не мечты!

И если, если наконец
Моя лишь грудь поражена,
То, верно, прежде знал творец,
Что ты терпеть не рождена.

НОВГОРОД

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит.

МОГИЛА БОЙЦА

(Дума)

I

Он спит последним сном давно,
   Он спит последним сном,
Над ним бугор насыпан был,
   Зеленый дерн кругом.

II

Седые кудри старика
   Смешалися с землей;
Они взвевались по плечам,
   За чашей пировой,

III

Они белы, как пена волн,
   Биющихся у скал;
Уста, любимицы бесед,
   Впервые хлад сковал.

IV

И бледны щеки мертвеца,
Как лик его врагов
Бледнел, когда являлся он
Один средь их рядов.

V

Сырой землей покрыта грудь,
Но ей не тяжело,
И червь, движенья не боясь,
Ползет через чело.

VI

На то ль он жил и меч носил,
Чтоб в час вечерней мглы
Слетались на курган его
Пустынные орлы?

VII

Хотя певец земли родной
Не раз уж пел об нем,
Но песнь—все песнь; а жизнь—все жизнь!
Он спит последним сном.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

1

Клоками белый снег валится,
Что ж дева красная боится
С крыльца сойти,
Воды снести?
Как поп, когда он гроб несет,
Так песнь метелица поет,
Играет,
И у тесовых у ворот
Дворовый пес все цепь грызет
И лает...

2

Но не собаки лай печальный,
Не вой метели погребальный
Рождают страх
В ее глазах:
Недавно милый схоронен,
Бледней снегов предстанет он
И скажет:
«Ты изменила»,— ей в лицо,
И ей заветное кольцо
Покажет!..

1831-го ЯНВАРЯ

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой.
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют — и я пою за ними
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад,—
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки;
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

* * *

Послушай! вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный.

И будешь ты когда-нибудь
Один, в бессонный час полночи,
Сидеть с свечой... и тайно грудь
Вздохнет — и вдруг заплачут очи;

И молвишь ты: когда-то он,
Здесь, в это самое мгновенье,
Сидел тоскою удручен
И ждал судьбы своей решенье!

1831-го ИЮНЯ 11 ДНЯ

1

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями. Но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен.

2

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! все было ад иль небо в них.

3

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу, и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь
Хоть тень их перелить в другую грудь.

4

Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву все принесть,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал все, что дар земной.

5

Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?

6

К погибшим люди справедливы; сын
Боготворит, что проклинал отец.
Чтоб в этом убедиться, до седин
Дожить не нужно. Есть всему конец;
Не много долголетней человек
Цветка; в сравненье с вечностью их век
Равно ничтожен. Пережить одна
Душа лишь колыбель свою должна.

7

Так и ее созданья. Иногда,
На берегу реки, один, забыт,
Я наблюдал, как быстрая вода,
Синея, гнется в волны, как шипит
Над ними пена белой полосой;
И я глядел, и мыслию иной
Я не был занят, и пустынный шум
Рассеивал толпу глубоких дум.

8

Тут был я счастлив... О, когда б я мог
Забыть, что незабвенно! женский взор!
Причину стольких слез, безумств, тревог!
Другой владеет ею с давних пор,
И я другую с нежностью люблю,
Хочу любить,— и небеса молю
О новых муках: но в груди моей
Все жив печальный призрак прежних дней.

9

Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе,
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там — ей все равно.

10

Темна проходит туча в небесах,
И в ней таится пламень роковой;
Он вырываясь обращает в прах
Все, что ни встретит. С дивной быстротой
Блеснет и снова в облаке укрыт;
И кто его источник объяснит,
И кто заглянет в недра облаков?
Зачем? Они исчезнут без следов.

11

Грядущее тревожит грудь мою.
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я, порок,
И вижу, я слабей любить не мог.

12

Не верят в мире многие любви
И тем счастливы; для иных она
Желанье, порожденное в крови,
Расстройство мозга иль виденье сна.
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! — любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.

13

И отучить не мог меня обман;
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней;
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.

14

И о судьбе ее чужой пришлец
Жалеет. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконец
Увянет преждевременно она;
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.

15

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты бог или злодей...

16

Как нравились всегда пустыни мне.
Люблю я ветер меж нагих холмов,
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун
Под синевой и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей.

17

И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг,
Когда степей безбрежный океан
Синее пред глазами; каждый звук
Гармонии вселенной, каждый час
Страданья или радости для нас
Становится понятен, и себе
Отчет мы можем дать в своей судьбе.

18

Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом всё горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят,
И странные верхи в лучах горят.

19

И сердце полно, полно прежних лет
И сильно бьется; пылкая мечта
Приводит в жизнь минувшего скелет,
И в нем почти все та же красота.
Так любим мы глядеть на свой портрет,
Хоть с нами в нем уж сходства больше нет,
Хоть на холсте хранится блеск очей,
Погаснувших от время и страстей.

20

Что на земле прекрасней пирамид
Природы, этих гордых снежных гор?
Не переменит их надменный вид
Ничто: ни слава царств, ни их позор;
О ребра их дробятся темных туч
Толпы, и молний обвивает луч
Вершины скал; ничто не вредно им.
Кто близ небес, тот не сражен земным.

21

Печален степи вид, где без препон,
Волнуя лишь серебряный ковыль,
Скитается летучий аквилон
И пред собой свободно гонит пыль;
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречает взгляд березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой.

22

Так жизнь скучна, когда боренья нет.
В минувшее проникнув, различить
В ней мало дел мы можем, в цвете лет
Она души не будет веселить.
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что́ значит отдыхать.

23

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! — жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

24

Есть время — леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

25

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.

26

Никто не получал чего хотел
И что любил, и если даже тот,
Кому счастливый небом дан удел,
В уме своем минувшее пройдет,
Увидит он, что мог счастливей быть,
Когда бы не умела отравить
Судьба его надежды. Но волна
Ко брегу возвратиться не сильна.

27

Когда, гонима бурей роковой,
Шипит и мчится с пеною своей,
Она все помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей,
И, может быть, она опять придет
В другой залив, но там уж не найдет
Себе покоя: кто в морях блуждал,
Тот не заснет в тени прибрежных скал.

28

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет: чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.

29

Все. Нет, не все: созданье есть одно,
Способное любить — хоть не меня;
До этих пор не верит мне оно,
Однако сердце, полное огня,
Не увлечется мненьем, и мое
Пророчество припомнит ум ее,
И взор, теперь веселый и живой,
Напрасной отуманится слезой.

30

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,
Невольным сожаленьем, и молвой,
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда.

31

И скажет: отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. И печаль
Его встревожит, он посмотрит вдаль,
Увидит облака с лазурью волн,
И белый парус, и бегучий челн.

32

И мой курган! — любимые мечты
Мои подобны этим. Сладость есть
Во всем, что не сбылось,— есть красоты
В таких картинах; только перенесть
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена,
Когда свободна, как игра детей,
Как арфы звук в молчании ночей!

РОМАНС К И...

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны
Мою жестокую кручину,
Мои обманчивые сны
И люди с злобой ядовитой
Осудят жизнь мою порой,
Ты будешь ли моей защитой
Перед бесчувственной толпой?

О, будь!.. о, вспомни нашу младость,
Злословья жертву пощади,
Клянися в том! чтоб вовсе радость
Не умерла в моей груди,
Чтоб я сказал в земле изгнанья:
Есть сердце, лучших дней залог,
Где почтены мои страданья,
Где мир их очернить не мог.

ЗАВЕЩАНИЕ

1

Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг! ты знаешь ту поляну;
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану!

2

Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону;
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи;
Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет;
И добрый человек, быть может,
На диком камне отдохнет.

К ***

Всевышний произнес свой приговор,
Его ничто не переменит;
Меж нами руку мести он простер
И беспристрастно все оценит.
Он знает, и ему лишь можно знать,
Как нежно, пламенно любил я,
Как безответно все, что мог отдать,
Тебе на жертву приносил я.
Во зло употребила ты права,
Приобретенные над мною,
И мне, польстив любовию сперва,
Ты изменила — бог с тобою!
О нет! я б не решился проклянуть!
Все для меня в тебе святое:
Волшебные глаза и эта грудь,
Где бьется сердце молодое.
Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья,—
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье;
Я знал: то не любовь — и перенес;
Но отгадать не мог я тоже,
Что всех моих надежд, и мук, и слез
Веселый миг тебе дороже!
Будь счастлива несчастием моим
И, услыхав, что я страдаю,
Ты не томись раскаяньем пустым.
Прости! — вот все, что я желаю...

Чем заслужил я, чтоб твоих очей
Затмился свежий блеск слезами?
Ко смеху приучать себя нужней:
Ведь жизнь смеется же над нами!

ЖЕЛАНИЕ

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! Зачем я не ворон степной?..

СВ. ЕЛЕНА

Почтим приветом остров одинокой,
Где часто, в думу погружен,
На берегу о Франции далекой
Воспоминал Наполеон!

Сын моря, средь морей твоя могила!
Вот мщение за мукн стольких дней!
Порочная страна не заслужила,
Чтобы великий жизнь окончил в ней.

Изгнанник мрачный, жертва вероломства
И рока прихоти слепой,
Погиб, как жил — без предков и потомства
Хоть побежденный, но герой!
Родился он игрой судьбы случайной
И пролетел, как буря, мимо нас;
Он миру чужд был. Все в нем было тайной,
День возвышенья — и паденья час!

* * *

Блистая пробегают облака
По голубому небу. Холм крутой
Осенним солнцем озарен. Река
Бежит внизу по камням с быстротой.
И на холме пришелец молодой,
Завернут в плащ, недвижимо сидит
Под старою березой. Он молчит,
Но грудь его подъемлется порой;
Но бледный лик меняет часто цвет;
Чего он ищет здесь? — спокойствия? — о нет!

Он смотрит вдаль: тут лес пестреет, там
Поля и степи, там встречает взгляд
Опять дубраву или по кустам
Рассеянные сосны. Мир, как сад,
Цветет, надев могильный свой наряд:
Поблекнувшие листья; жалок мир!
В нем каждый средь толпы забыт и сир;
И люди все к ничтожеству спешат,—
Но, хоть природа презирает их,
Любимцы есть у ней, как у царей других.

И тот, на ком лежит ее печать,
Пускай не ропщет на судьбу свою,
Чтобы никто, никто не смел сказать,

Что у груди своей она змею
Согрела.— «О! когда б одно люблю
Из уст прекрасной мог подслушать я,
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю,
Все б в новый блеск оделось!» — так мечтал
Беспечный... но просить он неба не желал!

АТАМАН

1

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Собирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут;
И веслами дружными плещут,
И песни поют.

2

Горе тебе, русская земля,
Атаман между ними сидит;
Хоть его лихая семья,
Как волны, шумна — он молчит;
И краса молодая,
Как саван бледна,
Перед ним стоит на коленах.
И молвит она:

3

«Горе мне, бедной девице!
Чем виновна я пред тобой?
Ты поверил злой клеветнице;
Любим мною не был другой.
Мне жребий неволи
Судьбинушкой дан;
Не губи, не губи мою душу,
Лихой атаман».

4

«Горе девице лукавой,—
Атаман ей, нахмурясь, в ответ,—
У меня оправдается правый,
Но пощады виновному нет;
От глаз моих трудно
Проступок укрыть,
Все знаю!.. и вновь не могу я,
Девица, любить!..

5

Но лекарство чудесное есть
У меня для сердечных ран...
Прости же! — лекарство то: месть!
На что же я здесь атаман?
И заплачу ль, как плачет
Любовник другой?..
И смягчишь ли меня ты, девица,
Своею слезой?»

6

Горе тебе, гроза-атаман,
Ты свой произнес приговор.
Средь пожаров ограбленных стран
Ты забудешь ли пламенный взор!..
Остался ль ты хладен
И тверд, как в бою,
Когда бросили в пенные волны
Красотку твою?

7

Горе тебе, удалой!
Как совесть совсем удалить?..
Отныне он чистой водой
Боится руки умыть.
Умывать он их любит
С дружиной своей
Слезами вдовиц беззащитных
И кровью детей!

ИСПОВЕДЬ

Я верю, обещаю верить,
Хоть сам того не испытал,
Что мог монах не лицемерить
И жить, как клятвой обещал;
Что поцелуи и улыбки
Людей коварны не всегда,
Что ближних малые ошибки
Они прощают иногда,
Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворен,
Что добродетель не названье
И жизнь поболее, чем сон!..

Но вере теплой опыт хладный
Противуречит каждый миг,
И ум, как прежде безотрадный,
Желанной цели не достиг;
И сердце, полно сожалений,
Хранит в себе глубокий след
Умерших, но святых видений—
И тени чувств, каких уж нет;
Его ничто не испугает,
И то, что было б яд другим,
Его живит, его питает
Огнем язвительным своим.

ВИДЕНИЕ

Я видел юношу: он был верхом
На серой борзой лошади — и мчался
Вдоль берега крутого Клязьмы. Вечер
Погас уж на багряном небосклоне,
И месяц в облаках блистал и в волнах;
Но юный всадник не боялся, видно,
Ни ночи, ни росы холодной; жарко
Пылали смуглые его ланиты,
И черный взор искал чего-то все
В туманном отдаленье — темно, смутно
Являлося минувшее ему —
Призрак остерегающий, который
Пугает сердце страшным предсказаньем,

Но верил он — одной своей любви.
Он мчится. Звучный топот по полям
Разносит ветер; вот идет прохожий;
Он путника остановил, и этот
Ему дорогу молча указал
И скрылся, удаляся в дубраве.
И всадник примечает огонек,
Трепещущий на берегу противном,
И различил окно и дом, но мост
Изломан... и несется быстро Клязьма.
Как воротиться, не прижав к устам
Пленительную руку, не слыхав
Волшебный голос тот, хотя б укор
Произнесли ее уста? о! нет! —
Он вздрогнул, натянул бразды, толкнул
Коня — и шумные плеснули воды
И с пеною раздвинулись они;
Плывет могучий конь — и ближе — ближе...
И вот уж он на берегу другом
И на гору летит.— И на крыльцо
Соскакивает юноша — и входит
В старинные покои... нет ее!
Он проникает в длинный коридор,
Трепещет... нет нигде... Ее сестра
Идет к нему навстречу. О! когда б
Я мог изобразить его страданье!
Как мрамор бледный и безгласный, он
Стоял... Века ужасных мук равны
Такой минуте.— Долго он стоял,
Вдруг стон тяжелый вырвался из груди,
Как будто сердца лучшая струна
Оборвалась... Он вышел мрачно, твердо,
Прыгнул в седло и поскакал стремглав,
Как будто бы гналося вслед за ним
Раскаянье... И долго он скакал,
До самого рассвета, без дороги,
Без всяких опасений — наконец
Он был терпеть не в силах... и заплакал!
Есть вредная роса, которой капли
На листьях оставляют пятна,— так
Отчаянья свинцовая слеза,
Из сердца вырвавшись насильно, может
Скатиться,— но очей не освежит!
К чему мне приписать виденье это?

Ужели сон так близок может быть
К существенности хладной? Нет!
Не может сон оставить след в душе,
И как ни силится воображенье,
Его орудья пытки ничего
Против того, что есть и что имеет
Влияние на сердце и судьбу.

*

Мой сон переменился невзначай:
Я видел комнату; в окно светил
Весенний, теплый день; и у окна
Сидела дева, нежная лицом,
С очами, полными душой и жизнью;
И рядом с ней сидел в молчанье мне
Знакомый юноша; и оба, оба
Старалися довольными казаться,
Однако же на их устах улыбка,
Едва родившись, томно умирала;
И юноша спокойней, *мнилось*, был,
Затем что лучше он умел таить
И побеждать страданье. Взоры девы
Блуждали по листам открытой книги,
Но буквы все сливалися под ними...
И сердце сильно билось — без причины, —
И юноша смотрел не на нее,
Хотя об ней лишь мыслил он в разлуке,
Хотя лишь ею дорожил он больше
Своей непобедимой гордой чести;
На голубое небо он смотрел,
Следил сребристых облаков отрывки
И, с сжатою душой, не смел вздохнуть,
Не смел пошевелиться, чтобы этим
Не прекратить молчанья; так боялся
Он услыхать ответ холодный или
Не получить ответа на моленья.
Безумный! ты не знал, что был любим,
И ты о том проведал лишь тогда,
Как потерял ее любовь навеки;
И удалось привлечь другому лестью
Все, все желанья девы легковерной!

ЧАША ЖИЗНИ

1

Мы пьем из чаши бытия
   С закрытыми очами,
Златые омочив края
   Своими же слезами;

2

Когда же перед смертью с глаз
   Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
   С завязкой исчезает;

3

Тогда мы видим, что пуста
   Была златая чаша,
Что в ней напиток был — мечта,
   И что она — не наша!

К Л.—

(Подражание Байрону)

1

У ног других не забывал
   Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
   Любовью прежних дней;
Так память, демон-властелин,
   Все будит старину,
И я твержу один, один:
   Люблю, люблю одну!

2

Принадлежишь другому ты,
   Забыт певец тобой;
С тех пор влекут меня мечты
   Прочь от земли родной,

Корабль умчит меня от ней
  В безвестную страну,
И повторит волна морей:
  Люблю, люблю одну!

3

И не узнает шумный свет,
  Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
  Я памятью томим;
И где бы я ни стал искать
  Былую тишину,
Все сердце будет мне шептать:
  Люблю, люблю одну!

К Н И.......

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит!

Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состр515аданье
Вновь обвиняемой не быть!

ВОЛЯ

Моя мать — злая кручина,
Отцом же была мне — судьбина,
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться;
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться.

Но мне богом дана
Молодая жена,
Воля-волюшка,
Вольность милая,
Несравненная;
С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья;
А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое;
Они меня воспитали,
Кормили, поили, ласкали;
Мои братья в лесах —
Березы да сосны.
Несусь ли я на коне, —
Степь отвечает мне;
Брожу ли поздней порой, —
Небо светит мне луной;
Мои братья в летний день,
Призывая под тень,
Машут издали руками,
Кивают мне головами;
И вольность мне гнездо свила,
Как мир — необъятное!

* * *

Зови надежду — сновиденьем,
Неправду — истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!

Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего:
С тобою грех мне лицемерить,
Ты слишком ангел для того.

* * *

Прекрасны вы, поля земли родной,
Еще прекрасней ваши непогоды;
Зима сходна в ней с первою зимой,
Как с первыми людьми ее народы!..
Туман здесь одевает неба своды!
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа, и так родня с душой,
Как будто создана лишь для свободы...

Но эта степь любви моей чужда;
Но этот снег летучий, серебристый
И для страны порочной — слишком чистый,
Не веселит мне сердца никогда.
Его одеждой хладной, неизменной
Сокрыта от очей могильная гряда
И позабытый прах, но мне, но мне бесценный.

НЕБО И ЗВЕЗДЫ

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны, как счастье ребенка;
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

Чем ты несчастлив? —
Скажут мне люди.
Тем я несчастлив,

Добрые люди, что звезды и небо —
Звезды и небо! — а я человек!..

Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы хотел.

* * *

1

Когда б в покорности незнанья
Нас жить создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать.

2

Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней,—
Она в душе, где все земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

* * *

Я видел тень блаже́нства; но вполне,
Свободно от людей и от земли,
Не суждено им насладиться мне.

Быть может, манит только издали
Оно надежду; получив,— как знать? —
Быть может, я б его стал презирать;
И увидал бы, что ни слез, ни мук
Не стоит счастье, ложное, как звук.

Кто скажет мне, что звук ее речей
Не отголосок рая? что душа
Не смотрит из живых очей,
Когда на них смотрю я, чуть дыша?
Что для мученья моего она,
Как ангел казни, богом создана?
Нет! чистый ангел не виновен в том,
Что есть пятно тоски в уме моем;

И с каждым годом шире то пятно;
И скоро все поглотит, и тогда
Узнаю я спокойствие, оно,
Наверно, много причинит вреда
Моим мечтам и пламень чувств убьет,
Зато без бурь напрасных приведет
К уничтоженью; — но до этих дней
Я волен — даже — если раб страстей!

Печалью вдохновенный, я пою
О ней одной — и все, что чуждо ей,
То чуждо мне; я родину люблю
И больше многих: средь ее полей
Есть место, где я горесть начал знать;
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшися с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.

О мой отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах?
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.
Есть рай небесный! — звезды говорят;
Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

* * *

Кто в утро зимнее, когда валит
Пушистый снег и красная заря
На степь седую с трепетом глядит,
Внимал колоколам монастыря?
В борьбе с порывным ветром этот звон
Далеко им по небу унесен,—
И путникам он нравился не раз,
Как весть кончины иль бессмертья глас.

И этот звон люблю я! — он цветок
Могильного кургана, мавзолей,
Который не изменится; ни рок,
Ни мелкие несчастия людей
Его не заглушат; всегда один,
Высокой башни мрачный властелин,
Он возвещает миру все, но сам —
Сам чужд всему, земле и небесам.

АНГЕЛ

По небу полуночи ангел летел
 И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
 Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
 Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
 Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
 Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
 Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
 Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
 Ей скучные песни земли.

СТАНСЫ. К Д***

1

Я не могу ни произнесть,
Ни написать твое названье:
Для сердца тайное страданье
В его знакомых звуках есть;
Суди ж, как тяжко это слово
Мне услыхать в устах другого.

2

Какое право им дано
Шутить святынею моею?
Когда коснуться я не смею,
Ужели им позволено?
Как я, ужель они искали
Свой рай в тебе одной? — едва ли!

3

Ни перед кем я не склонял
Еще послушного колена;
То гордости была б измена:
А ей лишь робкий изменял;
И не поникну я главою,
Хотя б то было пред судьбою!

4

Но если ты перед людьми
Прикажешь мне унизить душу,
Я клятвы юности нарушу,
Все клятвы, кроме клятв любви;
Пускай им скажут, дорогая,
Что это сделал для тебя я!

5

Улыбку я твою видал,
Она мне сердце восхищала,
И ей, так думал я сначала,

Подобной нет — но я не знал,
Что очи, полные слезами,
Равны красою с небесами.

6

Я видел их! и был вполне
Счастлив — пока слеза катилась;
В ней искра божества хранилась,
Она принадлежала мне;
Так! все прекрасное, святое,
В тебе — мне больше чем родное.

7

Когда б миры у наших ног
Благословляли нашу волю,
Я эту царственную долю
Назвать бы счастием не мог,
Ему страшны молвы сужденья,
Оно цветок уединенья.

8

Ты помнишь вечер и луну,
Когда в беседке одинокой
Сидел я с думою глубокой,
Взирая на тебя одну...
Как мне мила тех дней беспечность!
За вечер тот я б не взял вечность.

9

Так за ничтожный талисман,
От гроба Магомета взятый,
Факиру дайте жемчуг, злато
И все богатства чуждых стран —
Закону строгому послушный,
Он их отвергнет равнодушно!

* * *

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет,—
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И стольких же насмешливых клевет.
Далеко от него, дух ада или рая,
Ты о земле забыл, как был забыт землей;
Ты счастливей меня; перед тобой
Как море жизни — вечность роковая
Неизмеримою открылась глубиной.
Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне
О днях, потерянных в тревоге и слезах?
О сумрачных, но вместе милых днях,
Когда в душе искал ты, как в пустыне,
Остатки прежних чувств и прежние мечты?
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
О, если так, то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере я люблю!

* * *

Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою.
Она, как чумное пятно
На сердце, жжет, хотя темно;

Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу — как неба властелин —
В прекрасном мире — но один.

ИЗ ПАТКУЛЯ

Напрасна врагов ядовитая злоба,
Рассудят нас бог и преданья людей;
Хоть розны судьбою, мы боремся оба
За счастье и славу отчизны своей.
Пускай я погибну... близ сумрака гроба
Не ведая страха, не зная цепей.
Мой дух возлетает все выше и выше
И вьется, как дым над железною крышей!

ПОРТРЕТ

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой;
Холодный взор не видит, но глядит
И всякого, не нравясь, удивит;
В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло
От полотна,— и бледное чело
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей
Ему дала болезненный тот цвет,
И что в груди сей чувств и сердца нет.
О боже, сколько я видал людей,
Ничтожных — пред картиною моей,
Душа которых менее жила,
Чем обещает вид сего чела.

* * *

Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою;

Виновный пред людьми, не пред тобою,
Я твердо жду тот час;
Что смерть? — лишь ты не изменись душою —
Смерть не разрознит нас.
Иная есть страна, где предрассудки
Любви не охладят,
Где не отнимет счастия из шутки,
Как здесь, у брата брат.
Когда же весть кровавая примчится
О гибели моей
И как победе станут веселиться
Толпы других людей;
Тогда... молю! — единою слезою
Почти холодный прах
Того, кто часто с скрытною тоскою
Искал в твоих очах
Блаженства юных лет и сожаленья;
Кто пред тобой открыл
Таинственную душу и мученья,
Которых жертвой был.
Но если, если над моим позором
Смеяться станешь ты
И возмутишь неправедным укором
И речью клеветы
Обиженную тень,— не жди пощады;
Как червь, к душе твоей
Я прилеплюсь, и каждый миг отрады
Несносен будет ей,
И будешь помнить прежнюю беспечность,
Не зная воскресить,
И будет жизнь тебе долга, как вечность,
А все не будешь жить.

К Д.

Будь со мною, как прежде бывала;
О, скажи мне хоть слово одно,
Чтоб душа в этом слове сыскала,
Что хотелось ей слышать давно;

Если искра надежды хранится
В моем сердце — она оживет;
Если может слеза появиться
В очах — то она упадет.

Есть слова — объяснить не могу я,
  Отчего у них власть надо мной;
Их услышав, опять оживу я,
  Но от них не воскреснет другой;

О, поверь мне, холодное слово
  Уста оскверняет твои,
Как листки у цветка молодого
  Ядовитое жало змеи!

ПЕСНЯ

Желтый лист о стебель бьется
  Перед бурей;
Сердце бедное трепещет
  Пред несчастьем.

Что за важность, если ветер
Мой листок одинокой
Унесет далеко, далеко;
  Пожалеет ли об нем
    Ветка сирая;

Зачем грустить мóлодцу,
Если рок судил ему
Угаснуть в краю чужом?
  Пожалеет ли об нем
    Красна девица?

ОТРЫВОК

  Три ночи я провел без сна — в тоске,
В молитве, на коленях — степь и небо
Мне были храмом, алтарем курган;
И если б кости, скрытые под ним,
Пробуждены могли быть человеком,
То обожженные моей слезой,
Проникнувшей сквозь землю, мертвецы
Вскочили б, загремев одеждой бранной!
О боже! как? — одна, одна слеза
Была плодом ужасных трех ночей?

Нет, эта адская слеза, конечно,
Последняя, не то три ночи б я
Ее не дожидался. Кровь собратий,
Кровь стариков, растоптанных детей
Отяготела на душе моей,
И приступила к сердцу, и насильно
Заставила его расторгнуть узы
Свои, и в мщенье обратила все,
Что в нем похоже было на любовь;
Свой замысел пускай я не свершу,
Но он велик — и этого довольно;
Мой час настал — час славы, иль стыда;
Бессмертен, иль забыт я навсегда.

Я вопрошал природу, и она
Меня в свои объятья приняла,
В лесу холодном в грозный час метели
Я сладость пил с ее волшебных уст,
Но для моих желаний мир был пуст,
Они себе предмета в нем не зрели;
На звезды устремлял я часто взор
И на луну, небес ночных убор,
Но чувствовал, что не для них родился;
Я небо не любил, хотя дивился
Пространству без начала и конца,
Завидуя судьбе его творца;
Но, потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу;
И утонул деятельным умом
В единой мысли, может быть, напрасной
И бесполезной для страны родной,
Но, как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой.

БАЛЛАДА

В избушке позднею порою
Славянка юная сидит.
Вдали багровой полосою
На небе зарево горит...
И, люльку детскую качая,
Поет славянка молодая...

«Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь,
Дитя, ты близкую беду!..
О, полно, рано ты тоскуешь:
Я от тебя не отойду.
Скорее мужа я утрачу.
Дитя, не плачь! и я заплачу!

Отец твой стал за честь и бога
В ряду бойцов против татар,
Кровавый след ему дорога,
Его булат блестит, как жар.
Взгляни, там зарево краснеет:
То битва семя смерти сеет.

Как рада я, что ты не в силах
Понять опасности своей,
Не плачут дети на могилах;
Им чужд и стыд и страх цепей;
Их жребий зависти достоин...»
Вдруг шум,— и в двери входит воин.

Брада в крови, избиты латы.
«Свершилось! — восклицает он,—
Свершилось! торжествуй, проклятый!..
Наш милый край порабощен,
Татар мечи не удержали —
Орда взяла, и наши пали».

И он упал — и умирает
Кровавой смертию бойца.
Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца:
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди!..»

* * *

Как дух отчаянья и зла,
Мою ты душу обняла;
О! для чего тебе нельзя
Ее совсем взять у меня?

Моя душа твой вечный храм;
Как божество твой образ там;
Не от небес, лишь от него
Я жду спасенья своего.

ЗВЕЗДА

Вверху одна
Горит звезда;
Мой взор она
Манит всегда;
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Меня зовет!
Таков же был
Тот нежный взор,
Что я любил
Судьбе в укор.
Мук никогда
Он зреть не мог,
Как та звезда,
Он был далек.
Усталых вежд
Я не смыкал,
И без надежд
К нему взирал!

* * *

Я видел раз ее в веселом вихре бала;
Казалось, мне она понравиться желала;
Очей приветливость, движений быстрота,
Природный блеск ланит и груди полнота —
Все, все наполнило б мне ум очарованьем,
Когда б совсем иным, бессмысленным желаньем
Я не был угнетен; когда бы предо мной
Не пролетала тень с насмешкою пустой,
Когда б я только мог забыть черты другие,
Лицо бесцветное и взоры ледяные!..

АРФА

I

Когда зеленый дерн мой скроет прах,
Когда, простясь с недолгим бытием,
Я буду только звук в твоих устах,
Лишь тень в воображении твоем;
Когда друзья младые на пирах
Меня не станут поминать вином,
Тогда возьми простую арфу ты,
Она была мой друг и друг мечты.

II

Повесь ее в дому против окна,
Чтоб ветер осени играл над ней
И чтоб ему ответила она
Хоть отголоском песен прошлых дней;
Но не проснется звонкая струна
Под белоснежною рукой твоей,
Затем что тот, кто пел твою любовь,
Уж будет спать, чтоб не проснуться вновь.

ПИР АСМОДЕЯ

(Сатира)

У беса праздник. Скачет представляться
Чертей и душ усопших мелкий сброд,
Кухмейстеры за кушаньем трудятся,
Прозябнувши, придворный в зале ждет.
И вот за стол все по чинам садятся,
И вот лакей картофель подает,
Затем что самодержец Мефистофель
Был родом немец и любил картофель.

По правую сидел приезжий <Павел>,
По левую начальник докторов,
Великий Фауст, муж отличных правил
(Распространять сужденья дураков
Он средство нам превечное доставил).

Сидят. Вдруг настежь дверь и звук шагов:
Три демона, войдя с большим поклоном,
Кладут свои подарки перед троном.

1-ый демон
(говорит)

Вот сердце женщины: она искала
От неба даже скрыть свои дела
И многим это сердце обещала
И никому его не отдала.
Она себе беды лишь не желала,
Лишь злобе до конца верна была.
Не откажись от скромного даянья,
Хоть эта вещь не стоила названья.

«C'est trop commun!»[1] — воскликнул бес
державный
С презрительной улыбкою своей.
«Подарок твой подарок был бы славный,
Но новизна царица наших дней;
И мало ли случалося недавно,
И как не быть приятных мне вестей;
Я думаю, слыхали даже стены
Про эти бесконечные измены».

2-ой демон

На стол твой я принес вино свободы;
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опились народы
И начали в куски короны бить;
Но как помочь? кто против общей моды?
И нам ли разрушенье усыпить?
Прими ж напиток сей, земли властитель,
Единственный мой царь и повелитель.

Тут все цари невольно взбеленились,
С тарелками вскочили с мест своих,
Боясь, чтобы черти не напились,
Чтоб и отсюда не прогнали их.
Придворные в молчании косились,
Смекнув, что лучше прочь в подобный миг;

[1] Это слишком банально! *(фр.)*

Но главный бес с геройскою ухваткой
На землю выплеснул напиток сладкой.

3-ий демон

В Москву болезнь холеру притащили.
Врачи вступились за нее тотчас,
Они морили и они лечили
И больше уморили во сто раз.
Один из них, которому служили
Мы некогда, вовремя вспомнил нас,
И он кого-то хлору пить заставил
И к прадедам здорового отправил.

Сказал и подает стакан фатальный
Властителю поспешною рукой.
«Так вот сосуд любезный и печальный,
Драгой залог науки докторской.
Благодарю. Хотя с полночи дальной,
Но мне милее всех подарок твой».
Так молвил Асмодей и все смеялся,
Покуда пир вечерний продолжался.

СОН

Я видел сон: прохладный гаснул день,
От дома длинная ложилась тень,
Луна, взойдя на небе голубом,
Играла в стеклах радужным огнем;
Все было тихо, как луна и ночь,
И ветр не мог дремоты превозмочь.
И на большом крыльце меж двух колонн
Я видел деву; как последний сон
Души, на небо призванной, она
Сидела тут пленительна, грустна;
Хоть, может быть, притворная печаль
Блестела в этом взоре, но едва ль.
Ее рука так трепетна была,
И грудь ее младая так тепла;
У ног ее (ребенок, может быть)
Сидел... ах! рано начал он любить,
Во цвете лет, с привязчивой душой,
Зачем ты здесь, страдалец молодой?

И он сидел и с страхом руку жал,
И глаз ее движенья провожал.
И не прочел он в них судьбы завет,
Мучение, заботы многих лет,
Болезнь души, потоки горьких слез,
Все, что оставил, все, что перенес;
И дорожил он взглядом тех очей,
Причиною погибели своей...

НА КАРТИНУ РЕМБРАНДТА

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон.
Я вижу лик полуоткрытый
Означен резкою чертой;
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступленьем
Высокий ум его убит;
Все темно вкруг: тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?
Но никогда великой тайны
Холодный не проникнет взор,
И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор.

К ***

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец — не твой венец.

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

СМЕРТЬ

Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час, пора домой,
Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слез, ни славы, ни честей;
Где вспоминанье спит глубоким сном,
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызет.
Пора. Устал я от земных забот.
Ужель бездушных удовольствий шум,
Ужели пытки бесполезных дум,
Ужель самолюбивая толпа,
Которая от мудрости глупа,
Ужели дев коварная любовь
Прельстят меня перед кончиной вновь?
Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой по-прежнему страдать
И столько же любить? Всесильный бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей.

ВОЛНЫ И ЛЮДИ

Волны катятся одна за другою
С плеском и шумом глухим;
Люди проходят ничтожной толпою
Также один за другим.

Волнам их неволя и холод дороже
Знойных полудня лучей;
Люди хотят иметь душу... и что же? —
Души в них волн холодней!

ПОЛЕ БОРОДИНА

1

Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды!
Она дика, как песнь свободы».
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слыхал.

2

Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.

3

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я, вспомня, леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.
Безмолвно мы ряды сомкнули,
Гром грянул, завизжали пули,
  Перекрестился я.
Мой пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася
  Из моего ружья.

4

Марш, марш! пошли вперед, и боле
Уж я не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
  В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
  Гора кровавых тел.

5

Живые с мертвыми сравнялись;
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
  Противник отступил:
Но день достался нам дороже!
В душе сказав: помилуй боже!
На труп застывший, как на ложе,
  Я голову склонил.

6

И крепко, крепко наши спали
Отчизны в роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали!
Но этим не могли помочь.
Однако же в преданьях славы
Все громче Рымника, Полтавы
Гремит *Бородино.*
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно.

СМЕРТЬ

Ласкаемый цветущими мечтами,
Я тихо спал, и вдруг я пробудился,
Но пробужденье тоже было сон;
И, думая, что цепь обманчивых
Видений мной разрушена, я вдвое
Обманут был воображеньем, если
Одно воображение *творит*
Тот новый мир, который заставляет
Нас презирать бесчувственную землю.
Казалось мне, что смерть дыханьем хладным
Уж начинала кровь мою студить;
Не часто сердце билося, но крепко,
С болезненным каким-то содроганьем,
И тело, видя свой конец, старалось
Вновь удержать души нетерпеливой
Порывы, но товарищу былому
С досадою душа внимала, и укоры
Их расставанье сделали печальным.
Между двух жизней в страшном промежутке
Надежд и сожалений, ни об той,
Ни об другой не мыслил я, одно
Сомненье волновало грудь мою,
Последнее сомненье! я не мог
Понять, как можно чувствовать блаженство
Иль горькие страдания далеко
От той земли, где в первый раз я понял,
Что я живу, что жизнь моя безбрежна,

Где жадно я искал самопознанья,
Где столько я любил и потерял,
Любил согласно с этим бренным телом,
Без коего любви не понимал я.
Так думал я и вдруг душой забылся,
И чрез мгновенье снова жил я,
Но не видал вокруг себя предметов
Земных и более не помнил я
Ни боли, ни тяжелых беспокойств
О будущей судьбе моей и смерти:
Все было мне так ясно и понятно,
И ни о чем себя не вопрошал я,
Как будто бы вернулся я туда,
Где долго жил, где все известно мне,
И лишь едва чувствительная тягость
В моем полете мне напоминала
Мое земное краткое изгнанье.

Вдруг предо мной в пространстве бесконечном
С великим шумом развернулась книга
Под неизвестною рукой. И много
Написано в ней было. Но лишь мой
Ужасный жребий ясно для меня
Начертан был кровавыми словами:
Бесплотный дух, иди и возвратись
На землю. Вдруг пред мной исчезла книга,
И опустело небо голубое;
Ни ангел, ни печальный демон ада
Не рассекал крылом полей воздушных,
Лишь тусклые планеты, пробегая,
Едва кидали искру на пути.

Я вздрогнул, прочитав свой жребий.
Как? Мне лететь опять на эту землю,
Чтоб увидать ряды тех зол, которым
Причиной были детские ошибки?
Увижу я страдания людей,
И тайных мук ничтожные причины,
И к счастию людей увижу средства,
И невозможно будет научить их.
Но так и быть, лечу на землю. Первый
Предмет — могила с пышным мавзолеем,
Под коим труп мой люди схоронили.

И захотелося мне в гроб проникнуть,
И я сошел в темницу, длинный гроб,
Где гнил мой труп, и там остался я.
Здесь кость была уже видна, здесь мясо
Кусками синее висело, жилы там
Я примечал с засохшею в них кровью.
С отчаяньем сидел я и взирал,
Как быстро насекомые роились
И жадно поедали пищу смерти.
Червяк то выползал из впадин глаз,
То вновь скрывался в безобразный череп.
И что же? каждое его движенье
Меня терзало судорожной болью.
Я должен был смотреть на гибель друга,
Так долго жившего с моей душою,
Последнего, единственного друга,
Делившего ее печаль и радость,
И я помочь желал, но тщетно, тщетно.
Уничтоженья быстрые следы
Текли по нем, и черви умножались,
И спорили за пищу остальную,
И смрадную, сырую кожу грызли.
Остались кости, и они исчезли,
И прах один лежал наместо тела.

Одной исполнен мрачною надеждой,
Я припадал на бренные остатки,
Стараясь их дыханием согреть
Иль оживить моей бессмертной жизнью;
О, сколько б отдал я тогда земных
Блаженств, чтоб хоть одну, одну минуту
Почувствовать в них теплоту. Напрасно,
Закону лишь послушные, они
Остались хладны, хладны, как презренье.
Тогда изрек я дикие проклятья
На моего отца и мать, на всех людей.
С отчаяньем бессмертья долго, долго,
Жестокого свидетель разрушенья,
Я на творца роптал, страшась молиться,
И я хотел изречь хулы на небо,
Хотел сказать...
Но замер голос мой, и я *проснулся.*

СТАНСЫ

Мне любить до могилы творцом суждено,
Но по воле того же творца
Все, что любит меня, то погибнуть должно
Иль, как я же, страдать до конца.
Моя воля надеждам противна моим,
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.

На пустынной скале незабудка весной
Одна без подруг расцвела,
И ударила буря и дождь проливной,
И как прежде недвижна скала;
Но красивый цветок уж на ней не блестит,
Он ветром надломлен и градом убит.

Так точно и я под ударом судьбы,
Как утес, неподвижен стою,
Но не мысли никто перенесть сей борьбы,
Если руку пожмет он мою;
Я не чувств, но поступков своих властелин,
Я несчастлив пусть буду — несчастлив один.

ПОТОК

Источник страсти есть во мне
Великий и чудесный;
Песок серебряный на дне,
Поверхность лик небесный;
Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
И небо над водами
Одето облаками.

Родится с жизнью этот ключ
И с жизнью исчезает;
В ином он слаб, в другом могуч,
Но всех он увлекает;
И первый счастлив, но такой
Я праздный отдал бы покой
За несколько мгновений
Блаженства иль мучений.

К ***

Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила,
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.

Как в море широком следы челнока,
Мгновенье его впечатленья,
Любовь для него, как веселье, легка,
А горе не стоит мгновенья.

Но в час свой урочный узнает оно
Цепей неизбежное бремя.
Прости, нам расстаться теперь суждено,
Расстаться до этого время.

Тогда я опять появлюсь пред тобой,
И речь моя ум твой встревожит,
И пусть я услышу ответ роковой,
Тогда ничего не поможет.

Нет, нет! милый голос и пламенный взор
Тогда своей власти лишатся;
Вослед за тобой побежит мой укор,
И в душу он будет впиваться.

И мщенье, напомнив, что я перенес,
Уста мои к смеху принудит,
Хоть эта улыбка всех, всех твоих слез
Гораздо мучительней будет.

К СЕБЕ

Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел.

Мгновенное пренебреженье
Ее могущества опять
Мне доказало, что влеченье
Душн нельзя нам побеждать;

Что цепь моя несокрушнма,
Что мой теперешннй покой
Лншь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.

* * *

Душа моя должна прожнть в земной неволе
Не долго. Может быть, я не увижу боле
Твой взор, твой мнлый взор, столь нежный для
других,
Звезду приветную сопернннков моих;
Желаю счастья нм. Тебя винить безбожно
За то, что мне нельзя все, все, что им возможно;
Но еслн ты ко мне любовь хотела скрыть,
Казаться хладною н в тншине любнть,
Но если ты прн мне смеялась надо мною,
Тогда как внутренно полна была тоскою,
То мрачный мой тебе пускай покажет взгляд,
Кто более страдал, кто боле виноват!

ПЕСНЯ

Колокол стонет,
Девушка плачет,
И слезы по четкам бегут.
Насильно,
Насильно
От мнра в обнтелн скрыта она,
Где жизнь без надежды н ночи без сна.

Так мое сердце
Грудь беспоконт
И бьется, бьется, бьется.
Велела,
Велела
Судьба мне любовь от него оторвать
И деву забыть, хоть тому не бывать.

Смерть и бессмертье,
Жизнь и погибель
И деве и сердцу ничто;
У сердца
И девы
Одно лишь страданье, один лишь предмет:
Ему счастья надо, ей надобен свет.

* * *

Унылый колокола звон
В вечерний час мой слух невольно потрясает,
Обманутой душе моей напоминает
И вечность и надежду он.
И если ветер, путник одинокой,
Вдруг по траве кладбища пробежит,
Он сердца моего не холодит:
Что в нем живет, то в нем глубоко.
Я чувствую — судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных
И от желаний, непонятных
Умам посредственных людей?
Без пищи должен яркий пламень
Погаснуть на скале сырой:
Холодный слушатель есть камень,
Попробуй раз, попробуй и открой
Ему источники сердечного блаженства,
Он станет толковать, что должно ощутить;
В простом не видя совершенства,
Он не привык прекрасное ценить,
Как тот, кто в грудь втеснить желал бы всю природу,
Кто силится купить страданием своим
И гордою победой над земным
Божественной души безбрежную свободу.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Как землю нам больше небес не любить?
  Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
  Но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать
  В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
  А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
  Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
  Но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам,
  Хоть мы ищем другого порой,
Но в час расставанья мы видим ясней,
  Как оно породнилось с душой.

ИЗ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ

За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец;
Но ты не обвиняй страдальца молодого,
Молю, не говори насмешливого слова.
Ужасный жребий мой твоих достоин слез,
Я много сделал зла, но больше перенес.
Пускай виновен я пред гордыми врагами,
Пускай отмстят; в душе, клянуся небесами,
Я не злодей, о нет, судьба губитель мой;
Я грудью шел вперед, я жертвовал собой;
Наскучив суетой обманчивого света,
Торжественно не мог я не сдержать обета;
Хоть много причинил я обществу вреда,
Но верен был тебе всегда, мой друг, всегда;
В уединении, среди толпы мятежной,
Я все тебя любил и все любил так нежно.

СТАНСЫ

Не могу на родине томиться,
Прочь отсель, туда, в кровавый бой.
Там, быть может, перестанет биться
Это сердце, полное тобой.

Нет, я не прошу твоей любови,
Нет, не знай губительных страстей;
Видеть смерть мне надо, надо крови,
Чтоб залить огонь в груди моей.

Пусть паду, как ратник, в бранном поле.
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя.

Юных лет святые обещанья
Прекратит судьба на месте том,
Где без дум, без вопля, без роптанья
Я усну давно желанным сном.

Так, но если я не позабуду
В этом сне любви печальный сон,
Если образ твой всегда повсюду
Я носить с собою осужден;

Если там в пределах отдаленных,
Где душа должна блаженство пить,
Тяжких язв, на ней напечатленных,
Невозможно будет излечить;

О, взгляни приветно в час разлуки
На того, кто с гордою душой
Не боится ни людей, ни муки,
Кто умрет за честь страны родной;

Кто, бывало, в тайном упоенье,
На тебя вперив свой влажный взгляд,
Возбуждал людское сожаленье
И твоей улыбке был так рад.

МОЙ ДЕМОН

1

Собранье зол его стихия;
Носясь меж темных облаков,
Он любит бури роковые
И пену рек, и шум дубров;
Он любит пасмурные ночи,
Туманы, бледную луну,
Улыбки горькие и очи,
Безвестные слезам и сну.

2

К ничтожным хладным толкам света
Привык прислушиваться он,
Ему смешны слова привета
И всякий верящий смешон;
Он чужд любви и сожаленья,
Живет он пищею земной,
Глотает жадно дым сраженья
И пар от крови пролитой.

3

Родится ли страдалец новый,
Он беспокоит дух отца,
Он тут с насмешкою суровой
И с дикой важностью лица;
Когда же кто-нибудь нисходит
В могилу с трепетной душой,
Он час последний с ним проводит,
Но не утешен им больной.

4

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

* * *

Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч
И уступить все медлит он
Луне — угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари...
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружат
Его сейчас... вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено.
Кто не знавал таких ночей
В ущельях гор или средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел...
И вкруг себя я поглядел:
Все та же степь, все та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспоривать у ней!

* * *

Я счастлив! — тайный яд течет в моей крови,
Жестокая болезнь мне смертью угрожает!..
Дай бог, чтоб так случилось!.. ни любви,
Ни мук умерший уж не знает;
Шести досок жилец уединенный,
Не зная ничего, оставленный, забвенный,
Ни славы зов, ни голос твой
Не возмутит надежный мой покой!..

ПРОЩАНЬЕ

— Не уезжай, лезгинец молодой;
Зачем спешить на родину свою?
Твой конь устал, в горах туман сырой;
А здесь тебе и кровля и покой —
И я тебя люблю!..

Ужели унесла заря одна
Воспоминанье райских двух ночей;
Нет у меня подарков; я бедна,
Но мне душа создателем дана,
Подобная твоей.

В ненастный день заехал ты сюда;
Под мокрой буркой, с горестным лицом...
Ужели для меня сей день, когда
Так ярко солнце, хочешь навсегда
Ты мрачным сделать днем?

Взгляни: вокруг синеют цепи гор,
Как великаны, грозною толпой;
Лучи зари с кустами — их убор:
Мы вольны и добры;— зачем твой взор
Летит к стране другой?

Поверь, отчизна там, где любят нас;
Тебя не встретит средь родных долин,
Ты сам сказал, улыбка милых глаз:
Побудь еще со мной хоть день, хоть час.
Послушай! час один!

— Нет у меня отчизны и друзей,
Кроме булатной шашки и коня;
Я счастлив был любовию твоей,
Но все-таки слезам твоих очей
Не удержать меня.

Кровавой клятвой душу я свою
Отяготив, блуждаю много лет:
Покуда кровь врага я не пролью,
Уста не скажут никому: люблю.
Прости: вот мой ответ.

* * *

Время сердцу быть в покое
От волненья своего
С той минуты, как другое
Уж не бьется для него;
Но пускай оно трепещет —
То безумной страсти след:
Так все бурно море плещет,
Хоть над ним уж бури нет!..

Неужли ты не видала
В час разлуки роковой,
Как слеза моя блистала,
Чтоб упасть перед тобой?
Ты отвергнула с презреньем
Жертву лучшую мою,
Ты боялась сожаленьем
Воскресить любовь свою.

Но сердечного недуга
Не могла ты утаить;
Слишком знаем мы друг друга,
Чтоб друг друга позабыть.
Так расселись под громами,
Видел я, в единый миг
Пощаженные веками
Два утеса бреговых;
Но приметно сохранила
Знаки каждая скала,
Что природа съединила,
А судьба их развела.

* * *

Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело как камень,
Но все под ним змея.

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.

Молю о счастии, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало,
Как для царя венец.

И все мечты отвергнув, снова
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.

К*

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?

Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд!.. прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил;
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

<В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ>

Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести?
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости.

И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.

<В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ>

Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет.

* * *

Как луч зари, как розы Леля,
Прекрасен цвет ее ланит;
Как у мадоны Рафаэля
Ее молчанье говорит.
С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна,
Нарочно, мнилося, она
Была для счастья создана.
Но свет чего не уничтожит?
Что благородное снесет,
Какую душу не сожмет,
Чье самолюбье не умножит?
И чьих не обольстит очей
Нарядной маскою своей?

* * *

Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..

*

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый

цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безымянная речка, и выстрел нежданый, и страх после выстрела: враг ли коварный, иль просто охотник... все, все в этом крае прекрасно.

*

Воздух там чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит; в дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье, и шьют серебром — в тишине увядая душою — желающей, южной, с цепями судьбы не знакомой.

РОМАНС

Стояла серая скала на берегу морском;
Однажды на чело ее слетел небесный гром.
И раздвоил ее удар,— и новою тропой
Между разрозненных камней течет поток седой.
Вновь двум утесам не сойтись— но всё они хранят
Союза прежнего следы, глубоких трещин ряд.
Так мы с тобой разлучены злословием людским,
Но для тебя я никогда не сделаюсь чужим.
И мы не встретимся опять, и если пред тобой
Меня случайно назовут, ты спросишь: кто такой?
И, проклиная жизнь мою, на память приведешь
Былое... и одну себя невольно проклянешь.
И не изгладишь ты никак из памяти своей
Не только чувств и слов моих — минуты прежних дней!..

ПРЕЛЕСТНИЦЕ

Пускай ханжа глядит с презреньем
На беззаконный наш союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз,
Но перед идолами света
Не гну колена я мои,
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.
Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не чту владыкой никого,
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего;
Живу без цели, беззаботно,
Для счастья глух, для горя нем,
И людям руки жму охотно,
Хоть презираю их меж тем!..
Мы смехом брань их уничтожим,
Нас клеветы не разлучат:
Мы будем счастливы, как можем,
Они пусть будут, как хотят!

ЭПИТАФИЯ

Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! итак, прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним.
И тот один, когда рыдая
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него.
Но что ему их восклицанья?

Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.

* * *

Измученный тоскою и недугом
И угасая в полном цвете лет,
Проститься я с тобой желал как с другом,
Но хладен был прощальный твой привет;
Но ты не веришь мне, ты притворилась,
Что в шутку приняла слова мои;
Моим слезам смеяться ты решилась,
Чтоб с сожаленьем не явить любви;
Скажи мне, для чего такое мщенье?
Я виноват, другую мог хвалить,
Но разве я не требовал прощенья
У ног твоих? но разве я любить
Тебя переставал, когда, толпою
Безумцев молодых окружена,
Горда одной своею красотою,
Ты привлекала взоры их одна?
Я издали смотрел, почти желая,
Чтоб для других очей твой блеск исчез;
Ты для меня была, как счастье рая
Для демона, изгнанника небес.

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

РОМАНС

1

Ты идешь на поле битвы,
Но услышь мои молитвы,
Вспомни обо мне.
Если друг тебя обманет,
Если сердце жить устанет
И душа твоя увянет,
В дальней стороне
Вспомни обо мне.

2

Если кто тебе укажет
На могилу и расскажет
При ночном огне
О девице обольщенной,
Позабытой и презренной,
О, тогда, мой друг бесценный,
Ты в чужой стране
Вспомни обо мне.

3

Время прежнее, быть может,
Посетит тебя, встревожит
В мрачном, тяжком сне;
Ты услышишь плач разлуки,
Песнь любви и вопли муки
Иль подобные им звуки...
О, хотя во сне
Вспомни обо мне!

СОНЕТ

Я памятью живу с увядшими мечтами,
Виденья прежних лет толпятся предо мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твое владычество порой;
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощен мой дух и скован, как цепями,
Что ж пользы для меня,— я не любим тобой.

Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно ее молениям внимаешь;
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит,— у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.

* * *

Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья,
  Я увядаю в полном цвете!
Пускай! — я не был раб земного наслажденья,
  Не для людей я жил на свете.
Одно лишь существо душой моей владело,
  Но в разный путь пошли мы оба,
И мы расстались, и небо захотело,
  Чтоб не сошлись опять у гроба.
Гляжу в безмолвии на запад: догорает,
  Краснея, гордое светило;
Мне хочется за ним: оно, быть может, знает,
  Как воскрешать все то, что мило.
Быть может, ослеплен огнем его сиянья,
  Я хоть на время позабуду
Волшебные глаза и поцелуй прощанья,
  За мной бегущие повсюду.

* * *

Поцелуями прежде считал
  Я счастливую жизнь свою,
Но теперь я от счастья устал,
  Но теперь никого не люблю.

И слезами когда-то считал
  Я мятежную жизнь мою,
Но тогда я любил и желал,
  А теперь никого не люблю!

И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю:
Как я сердце унесть бы им дал!
Как бы вечность им бросил мою!

К*

Мы случайно сведены судьбою,
Мы себя нашли один в другом,
И душа сдружилася с душою,
Хоть пути не кончить им вдвоем!

Так поток весенний отражает
Свод небес далекий голубой,
И в волне спокойной он сияет
И трепещет с бурною волной.

Будь, о будь моими небесами,
Будь товарищ грозных бурь моих;
Пусть тогда гремят они меж нами,
Я рожден, чтобы не жить без них.

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей,
Но с тобой, мой луч-путеводитель,
Что хвала иль гордый смех людей!

Души их певца не постигали,
Не могли души его любить,
Не могли понять его печали,
Не могли восторгов разделить.

* * *

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану!
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне — вселенной!

К *

Оставь напрасные заботы,
Не обнажай минувших дней:
В них не откроешь ничего ты,
За что б меня любить сильней!
Ты любишь — верю — и довольно;
Кого,— ты ведать не должна;
Тебе открыть мне было б больно,
Как жизнь моя пуста, черна.
Не погублю святое счастье
Такой души и не скажу,
Что недостоин я участья,
Что сам ничем не дорожу;
Что все, чем сердце дорожило,
Теперь для сердца стало яд,
Что для него страданье мило,
Как спутник, собственность иль брат.
Промолвив ласковое слово,
В награду требуй жизнь мою;
Но, друг мой, не проси былого,
Я мук своих не продаю.

БОЙ

Сыны небес однажды надо мною
Слетелися, воздушных два бойца;
Один — серебряной обвешан бахромою,
Другой — в одежде чернеца.
И, видя злость противника второго,
Я пожалел о воине младом;
Вдруг поднял он концы сребристого покрова,
И я под ним заметил — гром.
И кони их ударились крылами,
И ярко брызнул из ноздрей огонь;
Но вихорь отступил перед громами,
И пал на землю черный конь.

* * *

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.

Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

* * *

Смело верь тому, что вечно,
Безначально, бесконечно,
Что прошло и что настанет,
Обмануло иль обманет.

Если сердце молодое
Встретит пылкое другое,
При разлуке, при свиданье
Закажи ему молчанье.

Все на свете редко стало:
Есть надежды — счастья мало;
Не забвение разлука:
То — блаженство, это — мука.

Если счастьем дорожил ты,
То зачем его делил ты?
Для чего не жил в пустыне?
Иль об этом вспомнил ныне?

* * *

Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! пришлец из чуждых стран,
С восторгом я взирал на сумрачные стены,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,

Который отзвонил ее уничтоженье
И столько гордых душ увлек в свое паденье!..
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?
. . . .

ЖЕЛАНЬЕ

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок дощатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая
В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал...

К *

Мой друг, напрасное старанье!
Скрывал ли я свои мечты?
Обыкновенный звук, названье,
Вот все, чего не знаешь ты.

Пусть в этом имени хранится,
Быть может, целый мир любви...
Но мне ль надеждами делиться?
Надежды... о! они мои,
Мои — они святое царство
Души задумчивой моей...
Ни страх, ни ласки, ни коварство,
Ни горький смех, ни плач людей,
Дай мне сокровища вселенной,
Уж никогда не долетят
В тот угол сердца отдаленный,
Куда запрятал я мой клад.
Как помню, счастье прежде жило
И слезы крылись в месте том:
Но счастье скоро изменило,
А слезы вытекли потом.
Беречь сокровища святые
Теперь я выучен судьбой;
Не встретят их глаза чужие,
Они умрут во мне, со мной!..

К *

Печаль в моих песнях, но что за нужда?
Тебе не внимать им, мой друг, никогда.
Они не прогонят улыбку святую
С тех уст, для которых живу и тоскую.

К тебе не домчится ни слово, ни звук,
Отзыв беспокойный неведомых мук.
Певца твоя ласка утешить не может,
Зачем же он сердце твое потревожит?

О нет! одна мысль, что слеза омрачит
Тот взор несравненный, где счастье горит,
Безумные б звуки в груди подавила,
Хоть прежде за них лишь певца ты любила.

ДВА ВЕЛИКАНА

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

К *

1

Прости! — мы не встретимся боле,
Друг другу руки не пожмем;
Прости! — твое сердце на воле...
Но счастья не сыщет в другом.
Я знаю: с порывом страданья
Опять затрепещет оно,
Когда ты услышишь названье
Того, кто погиб так давно!

2

Есть звуки — значенье ничтожно
И презрено гордой толпой —
Но их позабыть невозможно:
Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе, зарыто былое
На дне этих звуков святых;
И в мире поймут их лишь двое,
И двое лишь вздрогнут от них!

3

Мгновение вместе мы были,
Но вечность — ничто перед ним;
Все чувства мы вдруг истощили,
Сожгли поцелуем одним;
Прости! — не жалей безрассудно,
О краткой любви не жалей:
Расстаться казалось нам трудно,
Но встретиться было б трудней!

* * *

Слова разлуки повторяя,
Полна надежд душа твоя;
Ты говоришь: есть жизнь другая,
И смело веришь ей... но я?..

Оставь страдальца! — будь покойна:
Где б ни был этот мир святой,
Двух жизней сердцем ты достойна!
А мне довольно и одной.

Тому ль пускаться в бесконечность,
Кого измучил краткий путь?
Меня раздавит эта вечность,
И страшно мне не отдохнуть!

Я схоронил навек былое,
И нет о будущем забот,
Земля взяла свое земное,
Она назад не отдает!..

* * *

Безумец я! вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли?
Как мог я цепь предубеждений
Умом свободным потрясать

И пламень тайных угрызений
За жар поэзии принять?
Нет, не похож я на *поэта!*
Я обманулся, вижу сам;
Пускай, как он, я чужд для света,
Но чужд зато и небесам!
Мои слова печальны: знаю;
Но смысла их вам не понять.
Я их от сердца отрываю,
Чтоб муки с ними оторвать!
Нет... мне ли властвовать умами,
Всю жизнь на то употребя?
Пускай возвышусь я над вами,
Но удалюсь ли от себя?
И позабуду ль самовластно
Мою погибшую любовь,
Все то, чему я верил страстно,
Чему не смею верить вновь?

* * *

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее — не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает.
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.

* * *

Примите дивное *посланье*
Из края дальнего сего;
Оно не *Павлово* писанье —
Но Павел вам отдаст его.

Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот,
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново —
А нет не пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..

И, наконец, я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул;
Нет! как оно, я не был волен;
Болезнью жизни, скукой болен
(Назло былым и новым дням),
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам.

ЧЕЛНОК

По произволу дивной власти
Я выкинут из царства страсти,
Как после бури на песок
Волной расшибенный челнок.
Пускай прилив его ласкает,—
В обман не вдастся инвалид;
Свое бессилие он знает
И притворяется, что спит;
Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится — и на воле!
Погиб — и дан ему покой!

* * *

Что толку жить!.. Без приключений
И с приключеньями — тоска
Везде, как беспокойный гений,
Как верная жена, близка;

Прекрасно с шумной быть толпою,
Сидеть за каменной стеною,
Любовь и ненависть сознать,
Чтоб раз об этом поболтать;
Невольно узнавать повсюду
Под гордой важностью лица
В мужчине глупого льстеца
И в каждой женщине Иуду.
А потрудитесь рассмотреть —
Все веселее умереть.

Конец! Как звучно это слово,
Как много — мало мыслей в нем;
Последний стон — и все готово,
Без дальних справок. А потом?
Потом вас чинно в гроб положат,
И черви ваш скелет обгложут,
А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас.
Простит вам каждую обиду
По доброте души своей,
Для пользы вашей (и церквей)
Отслужит, верно, панихиду,
Которой (я боюсь сказать)
Не суждено вам услыхать.

И если вы скончались в вере,
Как христианин, то гранит
На сорок лет, по крайней мере,
Названье ваше сохранит;
Когда ж стеснится уж кладбище,
То ваше узкое жилище
Разроют смелою рукой...
И гроб поставят к вам другой.
И молча ляжет с вами рядом
Девица нежная, одна,
Мила, покорна, хоть бледна;
Но ни дыханием, ни взглядом
Не возмутится ваш покой —
Что за блаженство, боже мой!

* * *

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной.
О! как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
Все, чем так гордятся люди,
Мой набег бы разрушал;
И к моей студеной груди
Я б страдальцев прижимал;
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Беспокойство и прохлада
Были б вечный мой закон;
Не искал бы я забвенья
В дальном северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою!

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

ТРОСТНИК

Сидел рыбак веселый
На берегу реки;
И перед ним по ветру
Качались тростники.
Сухой тростник он срезал
И скважины проткнул;
Один конец зажал он,
В другой конец подул.

И будто оживленный,
Тростник заговорил —
То голос человека
И голос ветра был.
И пел тростник печально:
«Оставь, оставь меня;
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня!

И я была девицей,
Красавица была,
У мачехи в темнице
Я некогда цвела.
И много слез горючих
Невинно я лила;
И раннюю могилу
Безбожно я звала.

И был сынок любимец
У мачехи моей,
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой,
Смотреть на сини волны,
На запад золотой.

Моей любви просил он...
Любить я не могла,
И деньги мне дарил он,—
Я денег не брала;

Несчастную сгубил он,
  Ударил в грудь ножом,
И здесь мой труп зарыл он
  На берегу крутом;

И над моей могилой
  Взошел тростник большой,
И в нем живут печали
  Души моей младой.
Рыбак, рыбак прекрасный,
  Оставь же свой тростник.
Ты мне помочь не в силах,
  А плакать не привык».

РУСАЛКА

1

Русалка плыла по реке голубой,
  Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
  Серебристую пену волны.

2

И шумя и крутясь колебала река
  Отраженные в ней облака;
И пела русалка — и звук ее слов
  Долетал до крутых берегов.

3

И пела русалка: «На дне у меня
  Играет мерцание дня;
Там рыбок златые гуляют стада,
  Там хрустальные есть города;

4

И там на подушке из ярких песков,
  Под тенью густых тростников,
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
  Спит витязь чужой стороны.

5

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело, и в уста мы, в полуденный час,
Целовали красавца не раз.

6

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит,— и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне!..»

7

Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И, шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

БАЛЛАДА

Куда так проворно, жидовка младая?
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок.

Вот мост! вот чугунные влево перилы
Блестят от огня фонарей;
Держись за них крепче, устала, нет силы!..
Вот дом — и звонок у дверей.

Безмолвно жидовка у двери стояла,
Как мраморный идол бледна:
Потом, за снурок потянув, постучала...
И кто-то взглянул из окна!..

И страхом и тайной надеждой пылая,
Еврейка глаза подняла,
Конечно, ужасней минута такая
Столетий печали была.

Она говорила: «Мой ангел прекрасный!
  Взгляни еще раз на меня...
Избавь свою Сару от пытки напрасной,
  Избавь от ножа и огня.

Отец мой сказал, что закон Моисея
  Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу не бледнея,
  Затем, что внимала любя...

И мне обещал он страданья, мученья,
  И нож наточил роковой,
И вышел... Мой друг, берегись его мщенья,—
  Он будет как тень за тобой.

Отцовского мщенья ужасны удары,
  Беги же отсюда скорей!
Тебе не изменят уста твоей Сары
  Под хладной рукой палачей.

Беги!..» Но на лик, из окна наклоненный,
  Блеснул неожиданный свет,
И что-то сверкнуло в руке обнаженной,
  И мрачен глухой был ответ.

И тяжкое что-то на камни упало,
  И стон раздался под стеной,—
В нем все улетающей жизнью дышало,
  И больше, чем жизнью одной!

Поутру, толпяся, народ изумленный
  Кричал и шептал об одном:
Там в доме был русский, кинжалом пронзенный,
  И женщины труп под окном.

ГУСАР

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан.
Но знай — покой души не вечен,
И счастье на земле — туман!

Крутя лениво ус задорный,
Ты вспоминаешь стук пиров,
Но берегися думы черной,—
Она черней твоих усов.

Пускай судьба тебя голубит,
И страсть безумная смешит;
Но и тебя никто не любит,
Никто тобой не дорожит.

Когда ты, ментиком блистая,
Торопишь серого коня,
Не мыслит дева молодая:
«Он здесь проехал для меня».

Когда ты вихрем на сраженье
Летишь, бесчувственный герой,
Ничье, ничье благословенье
Не улетает за тобой.

Гусар! ужель душа не слышит
В тебе желания любви?
Скажи мне, где твой ангел дышит?
Где очи милые твои?
Молчишь — и ум твой безнадежней,
Когда полнее твой бокал!
Увы — зачем от жизни прежней
Ты разом сердце оторвал!..

Ты не всегда был тем, что ныне,
Ты жил, ты слишком много жил,
И лишь с последнею святыней
Ты пламень сердца схоронил.

ЮНКЕРСКАЯ МОЛИТВА

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алёхин глас
Как можно реже
Тревожит нас.

Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.

* * *

На серебряные шпоры
Я в раздумии гляжу;
За тебя, скакун мой скорый,
За бока твои дрожу.

Наши предки их не знали
И, гарцуя средь степей,
Толстой плеткой погоняли
Недоезженных коней.

Но с успехом просвещенья,
Вместо грубой старины,
Введены изобретенья
Чужеземной стороны;

В наше время кормят, холят,
Берегут спинную честь...
Прежде били — нынче колют!..
Что же выгодней? — бог весть!..

* * *

1

Опять, народные витии,
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять шумя восстали вы.

Уж вас казнил могучим словом
Поэт, восставший в блеске новом
От продолжительного сна,
И порицания покровом
Одел он ваши имена.

2

Что это: вызов ли надменный,
На битву ль бешеный призыв?
Иль голос зависти смущенной,
Бессилья злобного порыв?..
Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает; вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца божьего не видно
За солнцем русского царя.

3

Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мнили грязными руками
Венец блестящий запятнать.
Вам непонятно, вам несродно
Все, что высоко, благородно;
Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

4

Безумцы мелкие, вы правы,
Мы чужды ложного стыда!
. . . .

5

Но честь России невредима,
И вам, смеясь, внимает свет...
Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда триумфом шел Фабриций
И раздавался по столице
Восторга благодарный клик,
Бежал за светлой колесницей
Один наемный клеветник.

<ЭПИГРАММА НА Н. КУКОЛЬНИКА>

В Большом театре я сидел,
Давали Скопина: я слушал и смотрел.
Когда же занавес при плесках опустился,
Тогда сказал знакомый мне один:
«Что, братец! жаль! — вот умер и Скопин!..
Ну, право, лучше б не родился».

УМИРАЮЩИЙ ГЛАДИАТОР

I see before me the gladiator lie...
Byron[1]

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор:
Надменный временщик и льстец его сенатор,
Венчают похвалой победу и позор...
Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт... освистанный актер.

И кровь его течет — последние мгновенья
Мелькают,— близок час... вот луч воображенья
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...
И родина цветет... свободный жизни край;
Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущего к себе опору дряхлых дней...
Детей играющих — возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой,
Напрасно — жалкий раб,— он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой...
Прости, развратный Рим,— прости, о край родной...

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,

[1] Я вижу пред собой лежащего гладиатора... *Байрон (англ.).*

Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины
И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

(Из Байрона)

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

В АЛЬБОМ

(Из Байрона)

Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.

И если после многих лет
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.

* * *

Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «он любил отчизну!»





Стихотворения 1837—1841 г.

БОРОДИНО

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
  Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
  Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
  Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
  Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
  Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
  О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
  Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
  Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
   Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
   За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
   Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
   Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
   Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
   Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
   Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
   Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
   Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
   Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
   И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля,
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

СМЕРТЬ ПОЭТА

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь...— он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно.
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок,— они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

УЗНИК

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем,
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

СОСЕД

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
   Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
   Стеной теперь — а после тайной.

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
   Мне умирая посылает
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
   Мечтая, стоя засыпает,

Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.

* * *

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

ПОСЛАНИЕ

Катерина, Катерина,
Удалая голова!
Из святого Августина
Ты заимствуешь слова.

Но святые изреченья
Помрачаются грехом,
Изменилось их значенье
На листочке голубом.

Так, я помню, пред амвоном
Пьяный поп, отец Евсей,
Запинаясь, важным тоном
Поучал своих детей;

Лишь начнет — хоть плачь заране...
А смотри, как силен Враг!
Только кончит — все миряне
Отправляются в кабак.

МОЛИТВА

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

* * *

Расстались мы; но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

* * *

Не смейся над моей пророческой тоскою,
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений.
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.

* * *

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрел мои мученья;

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы...

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА, I>

Россию продает Фадей
Не в первый раз, как вам известно,
Пожалуй он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да жаль, заложена в казну.

<ЭПИГРАММА НА Ф. БУЛГАРИНА, II>

Россию продает Фадей
И уж не в первый раз, злодей.

* * *

Спеша на север из далека,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы.

Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! — душа дрожит!
Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

* * *

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

* * *

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

* * *

Как небеса, твой взор блистает
   Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
   Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,
   За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
   Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет;
   И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет
   И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
   Не тешусь я с тех пор,
Как услыхал твой голос нежный
   И встретил милый взор.

* * *

Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах;
Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

<К М. И. ЦЕЙДЛЕРУ>

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны;
Но иной, не бранной *сталью*
Мысли юноши полны.

<К ПОРТРЕТУ СТАРОГО ГУСАРА>

Смотрите, как летит, отвагою пылая...
Порой обманчива бывает седина;
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.

<К Н. И. БУХАРОВУ>

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой
Твой крик приятней соловья,
Нам мил и ус твой серебристый,
И трубка плоская твоя.
Нам дорога твоя отвага,
Огнем душа твоя полна,
Как вновь раскупренная влага
В бутылке старого вина.
Столетья прошлого обломок,
Меж нас остался ты один,
Гусар прославленных потомок,
Пиров и битвы гражданин.

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

<А. Г. ХОМУТОВОЙ>

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный,
Воспоминаньем оживленный,
Он перед вами изливал.
Он вас не зрел, но ваши речи,
Как отголосок юных дней,

При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.
Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.

И я, поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить, как тайной,
Печальным выраженьем их.
Я верю, годы не убили,
Изгладить даже не могли
Все, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

Пилигрим

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Вот свет все небо озарил:
То не пожар ли Цареграда?
Иль бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,
Маяк спасительный, отрада
Плывущих по морю светил?

Мирза

Там был я, там, со дня созданья,
Бушует вечная метель;

Потоков видел колыбель.
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет.
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдаг был...

Пилигрим

А!..

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою;
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
  На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
  В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
  Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
  Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
  Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
  Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
  Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
  Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
  Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
  Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
  И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
  Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
  Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
  Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
  Иль никогда, на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
  Покрытый ржавчиной презренья?..

* * *

Это случилось в последние годы могучего Рима,
Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан
беспощадно;
Но ежедневно на месте отрубленных ветвей,
у древа
Церкви христовой юные вновь зеленели побеги.
В тайной пещере, над Тибром ревущим,
скрывался в то время
Праведный старец, в посте и молитве свой век
доживая;
Бог его в людях своей благодатью прославил.
Чудный он дар получил: исцелять от недугов
телесных
И от страданий душевных. Рано утром, однажды,
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
Звания,— с нею и муж ее, грусти безмолвной
исполнен,
Просит она воскресить ее дочь, внезапно во
цвете
Девственной жизни умершую... — «Вот уж два
дня и две ночи,—
Так она говорила,— мы наших богов неотступно
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе
хладном,
Золото сыплем жрецам их и плачем,— но все
бесполезно!
Если бы знал ты Виргинию нашу, то жалость
стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира!
Как часто
Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи,
волнистые кудри,
На темные очи ее, молодели; и юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над головой осторожно,
тропинкой
К Тибру спускалась она за водою... иль
в пляске,
Перед домашним порогом, подруг побеждала
искусством,
Звонким, ребяческим смехом родительский слух
утешая...

Только в последнее время приметно она
изменилась;
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой;
Из дому стала она уходить до зари,
возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила...
При свете
Поздней лампады я видела раз, как она, на
коленах,
Тихо, усердно и долго молилась,— кому? —
неизвестно!..
Созвали мы стариков и родных для совета;
решили...»
. . . .

* * *

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин,
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде тверд, как божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

<А. А. ОЛЕНИНОЙ>

Ах! Анна Алексевна,
Какой счастливый день!
Судьба моя плачевна,
Я здесь стою как пень.
И что сказать не знаю,

А мне кричат: «Plus vite!»[1]
Я счастья вам желаю,
Et je vous félicite[2].

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

A Barbier[3]

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный,—
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой,
Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

---

[1] Скорей! *(фр.)*
[2] И я вас поздравляю *(фр.)*.
[3] Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горланящих шарлатанов, торговцев пафосом, мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? *О. Барбье (фр.)*.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
  На что́ нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
  Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
  Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
  Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
  Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
  Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
  С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
  Махающий мечом картонным...

<ИЗ АЛЬБОМА С. Н. КАРАМЗИНОЙ>

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Вот к пальмам подходит шумя караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

И ныне все дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

ДАРЫ ТЕРЕКА

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец-море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им на славу,
Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит;
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.
Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красотке-молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного,
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный,—
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

ПАМЯТИ А. И. О<ДОЕВСКО>ГО

1

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

2

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

3

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

4

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно... Дела твои, и мненья,
И думы — все исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...

5

И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему.Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи —

6

И мрачных гор зубчатые хребты...
И, вкруг твоей могилы неизвестной,
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

<Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ>

Графиня Эмилия —
Белее чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

* * *

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки,—
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться,— памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

И СКУЧНО И ГРУСТНО

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

* * *

Посреди небесных тел
Лик луны туманный:
Как он кругл и как он бел!
Точно блин с сметаной...

Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный...
Видно, там на небесах
Масленица вечно!

<М. А. ЩЕРБАТОВОЙ>

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки;
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на бога
Хранит она детскую веру;

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

* * *

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Leş poètes ressemblent aux ours,
qui se nourrissent en suçant leur patte.
Inédit [1]

Комната писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель, с сигарой, стоит спиной к камину. Журналист входит.

Журналист

Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света
Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.
Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнанье, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!
Порой влюбляется он страстно
В свою нарядную печаль...
Ну, что̀ вы пишете? нельзя ль
Узнать?

Писатель

Да ничего...

Журналист

Напрасно!

Писатель

О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;

[1] Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу. *Неизданное (фр.).*

Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайною мольбою
К N. N., неведомой красе,—
И страшно надоели все.

Читатель

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста;
Да как-то страшно без перчаток...
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? Перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим...
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Журналист

Я точно то же говорю.
Как вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

Читатель

Читал я. Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету!..

В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Журналист

И с этим надо согласиться.
Но верьте мне, душевно рад
Я был бы вовсе не браниться —
Да как же быть?.. меня бранят!
Войдите в наше положенье!
Читает нас и низший круг:
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличье, вкус — все так условно;
А деньги все ведь платят ровно!
Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги.
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги,—
И все зачем? чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать!..

Читатель

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен всевышним богом.

Журналист

Все это так,— да вот беда:
Не пишут эти господа.

Писатель

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.

Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.
Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,

Среди сомнений ложно-черных
И ложно-радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать...
Скажите ж мне, о чем писать?..

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю...

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

(Из Зейдлица)

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодной песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

СОСЕДКА

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко̀ над землей,
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — отворится клетка,
И, как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

ПЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

<М. П. СОЛОМИРСКОЙ>

Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой.

И часто тайную отраду
Находит муке неземной,
За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.

Так, разбирая в заточенье
Досель мне чуждые черты,
Я был свободен на мгновенье
Могучей волею мечты.

Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно памятный привет.

ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

ИЗ ГЕТЕ

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

РЕБЕНКУ

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! года летят;

Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне... К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней,— скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя? — звук пустой!
Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

А. О. СМИРНОВОЙ

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал.
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас — хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу:
Но молча вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что ж делать? — речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

К ПОРТРЕТУ

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь, ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло,
В душе ее темно, как в море!

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

<ВАЛЕРИК>

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию,— но вас
Забыть мне было невозможно.

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?

Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз;
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга.
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам;
И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу — дальний выстрел! прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова все вокруг

Затихло... но жара уж спàла,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор. Где вторая рота?
Что, вьючить? — что же капитан?
Повозки выдвигайте живо!
«Савельич!» — «Ой ли!» — «Дай огниво!»
Подъем ударил барабан —
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке — два, и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской;
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... выстрел... легкий дым...
Эй вы, станичники, за ним...
Что? ранен!..— Ничего, безделка...—
И завязалась перестрелка...

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет;
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.

Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Недолго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный... «В штыки,
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
«Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы.— Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,
Но все слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал

Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой; я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «*Валерик*,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми».
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» — «Тысяч до семи».
«А много горцы потеряли?»
«Как знать? — зачем вы не считали!»
«Да! будет,— кто-то тут сказал,—
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье

Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? —
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

ЗАВЕЩАНИЕ

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,

Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!

ОПРАВДАНИЕ

Когда одни воспоминанья
О заблуждениях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей,—

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь,—

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя,—

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

* * *

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Без страха в час последней муки
   Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки,—
   Разлуки нет!
Я видел прелесть бестелесных
   И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
   Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти
   И рай святой?
Я перенес земные страсти
   Туда с собой.
Ласкаю я мечту родную
   Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
   Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье
   Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
   Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
   Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
   По мне огнем.

Ты не должна любить другого,
   Нет, не должна!
Ты мертвецу святыней слова
   Обручена!
Увы, твой страх, твои моленья,
   К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
   Не надо мне!

ПОСЛЕДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ

Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
И кликов радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий
   В изгнанье мрачном и цепях;
Меж тем как мир услужливой хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв

И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забыв,—
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Все, все великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья
Ты им рубил, рубил сплеча,—
Ты погибал... и *он* явился, с строгим взором,
Отмеченный божественным перстом,
И признан за вождя всеобщим приговором,
И ваша жизнь слилася в нем,—
И вы окрепли вновь в тени его державы,
И мир трепещущий в безмолвии взирал
На ризу чудную могущества и славы,
Которой вас он одевал.
Один,— он был везде, холодный, неизменный,
Отец седых дружин, любимый сын молвы,
В степях египетских, у стен покорной Вены,
В снегах пылающей Москвы!

А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!
Лишенный прав и места гражданина,
Разбитый свой венец он снял и бросил сам,
И вам оставил он в залог родного сына —
Вы сына выдали врагам!
Тогда, отяготив позорными цепями,
Героя увезли от плачущих дружин,
И на чужой скале, за синими морями,
Забытый, он угас один —

Один,— замучен мщением бесплодным,
   Безмолвною и гордою тоской —
И, как простой солдат в плаще своем походном,
   Зарыт наемною рукой.

*

Но годы протекли, и ветреное племя
Кричит: «Подайте нам священный этот прах!
Он наш; его теперь, великой жатвы семя,
   Зароем мы в спасенных им стенах!»
И возвратился он на родину; безумно,
Как прежде, вкруг него теснятся и бегут
И в пышный гроб, среди столицы шумной,
   Остатки тленные кладут.
Желанье позднее увенчано успехом!
И краткий свой восторг сменив уже другим,
Гуляя, топчет их с самодовольным смехом
   Толпа, дрожавшая пред *ним*.

*

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина
Вокруг того, кто ждал в своей пустыне
Так жадно, столько лет — спокойствия и сна!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
   Какое в нем негодованье
   При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове, под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он непобедимый,
   Как он великий, океан!

* * *

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбалися лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!..

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

И. П. МЯТЛЕВУ

На наших дам морозных
С досадой я смотрю,
Угрюмых и серьезных
Фигур их не терплю.
Вот дама Курдюкова,
Ее рассказ так мил,
Я о̀т слова до слова
Его бы затвердил.
Мой ум скакал за нею,
И часто был готов
Я броситься на шею
К madame de-Курдюков.

<ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ>

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:

Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.

ДОГОВОР

Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.

Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.

Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.

Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.
В толпе друг друга мы узнали;
Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радости любовь,
Разлука будет без печали.

* * *

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

СПОР

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою[1]
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат,—
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,

[1] Шат — Елбрус. (Прим. М. Ю. Лермонтова.)

Берегися! многолюден
  И могуч Восток!»
«Не боюся я Востока! —
  Отвечал Казбек,—
Род людской там спит глубоко
  Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
  Пену сладких вин
На узорные шальвары
  Сонный льет грузин;
И склонясь в дыму кальяна
  На цветной диван,
У жемчужного фонтана
  Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
  Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
  Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени,
  Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
  Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
  Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
  Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
  Спит, покой ценя...
Нет! не дряхлому Востоку
  Покорить меня!»
«Не хвались еще заране! —
  Молвил старый Шат,—
Вот на севере в тумане
  Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный
  Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
  Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
  Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
  Слышит звон и шум.

От Урала до Дуная,
  До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
  Движутся полки;
Веют белые султаны,
  Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
  Подымая пыль;
Боевые батальоны
  Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
  В барабаны бьют;
Батареи медным строем
  Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
  Фитили горят.
И, испытанный трудами
  Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
  Генерал седой.
Идут все полки могучи,
  Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
  Прямо на восток.

И, томим зловещей думой,
  Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
  И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
  Племя гор своих,
Шапку[1] нà брови надвинул —
  И навек затих.

СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

[1] Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

* * *

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn.
Heine[1]

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

ТАМАРА

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

[1] Они оба любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. Гейне *(нем.)*.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчу́г убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

СВИДАНЬЕ

1

Уж за горой дремучею
  Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
  Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
  Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
  В ущелье мгла и дым.
Летают сны-мучители
  Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
  Беседуют с детьми.

2

Там за твердыней старою
  На сумрачной горе
Под свежею чинарою
  Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
  «Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
  Назначила ты мне?
И в этот час таинственный,
  Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
  Зовут мечты мои».

3

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
Как сторожи, стоят;
И поступью несмелою
Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
Четы грузинских жен;
Вот улицей пустынною
Бредут, едва скользя...
Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

4

Твой домик с крышей гладкою
Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою
Купается в реке;
Среди прохлады, веющей
Над синею *Курой*,
Он сетью зеленеющей
Опутан плющевой;
За тополью высокою
Я вижу там окно...
Но свечкой одинокою
Не светится оно!

5

Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор:
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковер;
Я жду с тоской бесплодною,
Мне грустно, тяжело...
Вот сыростью холодною
С востока понесло,
Краснеют за туманами
Седых вершин зубцы,
Выходят с караванами
Из города купцы...

6

Прочь, прочь, слеза позорная,
   Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
   Понятна мне, змея!
Я знаю, чем утешенный
   По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
   Татарин молодой.
Недаром он красуется
   Перед твоим окном
И твой отец любуется
   Персидским жеребцом.

7

Возьму винтовку длинную,
   Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
   Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
   Часовней подожду
И на дорогу пыльную
   Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
   Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится...
   А! это ты, злодей!

ЛИСТОК

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара,—
Ты пылен и желт,— и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

В море царевич купает коня;
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет и дале плывет.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелко́вой узды.

Вышла младая потом голова,
В косу вплелася морская трава.

Синие очи любовью горят;
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет и молит и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл; товарищей громко зовет;

«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...

Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! померк торжествующий взгляд.

Видит: лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит;

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок;
Шепчут уста непонятный упрек...

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я.
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

* * *

1

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

2

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

3

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.





Стихотворения разных лет

КРЕСТ НА СКАЛЕ

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.

И много уж лет протекло без следов
С тех пор, как он виден с далских холмов.
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.

О, если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурею братом назвался бы я!

ЧЕРНЫ ОЧИ

Много звезд у летней ночи,
Отчего же только две у вас,
Очи юга! черны очи!
Нашей встречи был недобрый час.

Кто ни спросит, звезды ночи
Лишь о райском счастье говорят;
В ваших звездах, черны очи,
Я нашел для сердца рай и ад.

Очи юга, черны очи,
В вас любви прочел я приговор,
Звезды дня и звезды ночи
Для меня вы стали с этих пор!

К ***

Когда твой друг с пророческой тоскою
Тебе вверял толпу своих забот,
Не знала ты невинною душою,
Что смерть его позорная зовет,
Что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;

Он был рожден для мирных вдохновений,
Для славы, для надежд; но меж людей
Он не годился — и враждебный гений
Его душе не наложил цепей;
И не слыхал творец его молений,
И он погиб во цвете лучших дней;

И близок час... и жизнь его потонет
В забвенье, без следа, как звук пустой;
Никто слезы прощальной не уронит,
Чтоб смыть упрек, оправданный толпой,
И лишь волна полночная простонет
Над сердцем, где хранился образ твой!

<Н. Н. АРСЕНЬЕВУ>

Дай бог, чтоб ты не соблазнялся
Приманкой сладкой бытия,
Чтоб дух твой в небо не умчался,
Чтоб не иссякла плоть твоя;
Пусть покровительство судьбины
Повсюду будет над тобой,
Чтоб ум твой не вскружили вины
И взор красавицы младой;
Ланиты и вино нередко
Фальшивой краскою блестят;
Вино поддельное, кокетка —
Для головы и сердца яд!

* * *

Когда надежде недоступный,
Не смея плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнил страданьем искупить;

Когда былое ежечасно
Очам являлося моим
И все, что свято и прекрасно,
Отозвалося мне чужим;
Тогда молитвой безрассудной
Я долго богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь? — он вещал.—
Ты жить устал? — но я ль виновен;
Смири страстей своих порыв;
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно;
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль;
Пойдешь ли ты через пустыню,
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй».

* * *

Никто моим словам не внемлет... я один.
День гаснет... красными рисуясь полосами,
На запад уклонились тучи, и камин
Трещит передо мной. Я полон весь мечтами
О будущем... и дни мои толпой
Однообразною проходят предо мной,
И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один, отмеченный судьбой!



Поэмы





КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Genieße und leide!
Dulde und entbehre!
Liebe, hoff' und glaube!

Conz[1]

I

В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых,
Черкесы позднею порою
Сидят — о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,
О разоренных ими селах;
И с ними как дрался казак,
И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак,
И дым, виясь, летит над ними,
Иль, стукнув шашками своими,
Песнь горцев громко запоют.

Иные на коней садятся,
Но перед тем как расставаться,
Друг другу руку подают.

---

[1] Наслаждайся и страдай!
Терпи и смиряйся!
Люби, надейся и верь!
Конц (нем.)

II

Меж тем черкешенки младые
Взбегают на горы крутые
И в темну даль глядят — но пыль
Лежит спокойно по дороге;
И не шелохнется ковыль,
Не слышно шума, ни тревоги.
Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит;
Лишь изредка олень пугливый
Через пустыню пробежит;
Или коней табун игривый
Молчанье дола возмутит.

III

Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням...
Черкешенки к нему сбежались,
Водою чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали;
Гляделися в зерцало вод,
И лица их в нем трепетали.
Сплетаясь в тихий хоровод,
Восточны песни напевали;
И близ аула под горой
Сидели резвою толпой;
И звуки песни произвольной
Ущелья вторили невольно.

IV

Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.
. . . .

Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад...
Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники младые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было,
И что не будет никогда!
Как счастье тщетно их ласкало,
Как оставляло наконец
И как оно мечтою стало!..
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
Сливалось все, как в мутном сне,
Души не чувствуя, оне
Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! в чужом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

V

Надежды нет им возвратиться;
Но сердце поневоле мчится
В родимый край. Они душой
Тонули в думе роковой.

. . . .

Но пыль взвивалась над холмами
От стад и борзых табунов;
Они усталыми шагами
Идут домой. Лай верных псов
Не раздавался вкруг аула;
Природа шумная уснула;
Лишь слышен дев издалека
Напев унылый. Вторят горы,
И нежен он, как птичек хоры,
Как шум приветный ручейка:

ПЕСНЯ

1

Как сильной грозою
Сосну вдруг согнет;
Пронзенный стрелою,
Как лев заревет;
Так русский средь бою
Пред нашим падет;
И смелой рукою
Чеченец возьмет
Броню золотую
И саблю стальную
И в горы уйдет.

2

Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни варвар, смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой.

Внимали пленники уныло
Печальной песни сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...
Ведут черкесы к сакле их;
И, привязавши у забора,
Ушли. Меж них огонь трещит;
Но не смыкает сон их взора,
Не могут горесть дня забыть.

VI

Льет месяц томное сиянье.
Черкесы храбрые не спят;
У них шумливое собранье:
На русских нападать хотят.

Вокруг оседланные кони;
Серебряные блещут брони;
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
Вдруг пыль взвилася над горами,
И слышен стук издалека;
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно ездока!

VII

Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника <с> собой.
Гирей приближился — веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес спрыгнул, рукою ловкой
Разрезывал канат; но он
Лежал на камне — смертный сон
Летал над юной головою...

. . . .

Черкесы скачут уж — как раз
Сокрылись за горой крутою;
Уроком бьет полночный час.

VIII

От смерти лишь из сожаленья
Младого русского спасли;
Его к товарищам снесли.
Забывши про свои мученья,
Они, не отступая прочь,
Сидели близ него всю ночь...

. . . .

И бледный лик, в крови омытый,
Горел в щеках — он чуть дышал,
И смертным холодом облитый,
Протягшись, на траве лежал.

IX

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте.
Сиял в обычной красоте.
Сливалися с протяжным гулом
Стадов черкесских — по холмам
Дыханье ветерков проворных,
И ропот ручейков нагорных,
И пенье птичек по кустам.
Хребта Кавказского вершины
Пронзали синеву небес,
И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер;
Там под столетними дубами,
В тени, окованный цепями,
Лежал наш пленник на траве.
В слезах склонясь к младой главе,
Товарищи его несчастья
Водой старались оживить
(Но ах! утраченного счастья
Никто не мог уж возвратить).
. . . .

Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!
Вот он взглянул!.. затрепетал.
...Он с незабытыми друзьями! —
Он, вспыхнув, загремел цепями...
Ужасный звук все, все сказал!!
Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал
И горько плакал и рыдал.

X

Счастлив еще: его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...
Но кто сего уж утешенья
Лишен в сей жизни слез и бед,
Кто в цвете юных пылких лет
Лишен того, чем сердце льстило,

Чем счастье издали манило...
И если годы унесли
Пору цветов искать, как прежде,
Минутной радости в надежде,—
Пусть не живет тот на земли.

XI

Так пленник мой с родной страною
Почти навек «прости» сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья...
. . . .

XII

Он слышал слово «навсегда!».
И обреченный тяжкой долей,
Почти дружился он с неволей.
С товарищами иногда
Он пас черкесские стада.
Глядел он с ними, как лавины
Катятся с гор и как шумят;
Как лавой снежною блестят,
Как ими кроются долины;
Хотя цепями скован был,
Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут средь дебрей и лесов...
Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки,
Склонясь на копья боевые.
Ах! как желал бы там он быть;
Но цепь мешала переплыть.

XIII

Когда же полдень над главою
Горел в лучах, то пленник мой
Сидел в пещере, где от зною
Он мог сокрыться. Под горой
Ходили табуны. Лежали
В тени другие пастухи,
В кустах, в траве и близ реки,
В которой жажду утоляли...
И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает,
И видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг,— и вновь
Их с криком кверху поднимает...
«Так! — думал он,— я жертва та,
Котора в пищу им взята».

XIV

Смотрел он также, как кустами
Иль синей степью, по горам,
Сайгаки, с быстрыми ногами,
По камням острым, по кремням,
Летят, стремнины презирая...
Иль как олень и лань младая,
Услыша пенье птиц в кустах,
Со скал, не шевелясь, внимают —
И вдруг внезапно исчезают,
Взвивая вверх песок и прах.

XV

Смотрел, как горцы мчатся к бою
Иль скачут смело над рекою;
Остановились,— лошадей
Толкают смелою ногою...
И вдруг, припав к луке своей,
Близ берегов они мелькают,
Стремят — и, снова поскакав,
С утеса падают стремглав
И...
...шумно в брызгах исчезают —

Потом плывут и достигают
Уже противных берегов,
Они уж там и в тьме лесов
Себя от казаков скрывают...
Куда глядите, казаки?
Смотрите, волны у реки
Седою пеной забелели!
Смотрите, враны на дубах
Вострепенулись, улетели,
Сокрылись с криком на холмах!
Черкесы путника арканом
В свои ущелья завлекут...
И, скрытые ночным туманом,
Оковы смерть вам нанесут.

XVI

И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке,
Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег,
На пне пред ним висят кругом
Его оружия стальные:
Колчан, лук, стрелы боевые;
И шашка острая, ремнем
Привязана, звенит на нем,
Как точка в волнах он мелькает,
То виден вдруг, то исчезает...
Вот он причалил к берегам.
Беда беспечным казакам!
Не зреть уж им родного Дона,
Не слышать колоколов звона!
Уже чеченец под горой,
Железная кольчуга блещет;
Уж лук звенит, стрела трепещет,
Удар несется роковой!..
Казак! казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?
Зачем же твой свинец опасный
Его так быстро не сразил?..

XVII

Так пленник бедный мой уныло,
Хоть сам под бременем оков,
Смотрел на гибель казаков.
Когда ж полночное светило
Восходит, близ забора он
Лежит в ауле — тихий сон
Лишь редко очи закрывает.
С товарищами — вспоминает
О милой той родной стране;
Грустит; но больше, чем оне...
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И... все в краю том погубил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVIII

Однажды, погружась в мечтанье,
Сидел он позднею порой;
На темном своде без сиянья
Бесцветный месяц молодой
Стоял, и луч дрожащий, бледный
Лежал на зелени холмов,
И тени шаткие дерев,
Как призраки, на крыше бедной
Черкесской сакли прилегли.
В ней огонек уже зажгли,
Краснея, он, в лампаде медной,
Чуть освещал большой забор...
Все спит: холмы, река и бор.

XIX

Но кто в ночной тени мелькает?
Кто легкой тенью меж кустов
Подходит ближе, чуть ступает,
Все ближе... ближе... через ров
Идет бредучею стопою?..

Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой
Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
И взор ее изобразил
Души порыв, как бы смятенной.
Но пищу принял русский пленный
И знаком ей благодарил.

XX

И долго, долго, как немая,
Стояла дева молодая.
И взгляд как будто говорил:
«Утешь себя, невольник милый;
Еще не все ты погубил».
И вздох не тяжкий, но унылый
В груди раздался молодой;
Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мшистой
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.
И только девы покрывало
Еще очам вдали мелькало,
И долго, долго пленник мой
Смотрел ей вслед — она сокрылась.
Подумал он: но почему
Она к несчастью моему
С такою жалостью склонилась —
Он ночь всю не смыкал очей;
Уснул за час лишь пред зарей.

XXI

Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила;
Но пленник часто все молчал,
Словам печальным не внимал;
Ах! сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений;
Он не хотел ее любить.

И что за радости в чужбине,
В его плену, в его судьбине?
Не мог он прежнее забыть...
Хотел он благодарным быть,
Но сердце жаркое терялось
В его страдании немом
И, как в тумане зыбком, в нем
Без отголоска поглощалось!..
Оно и в шуме и в тиши
Тревожит сон его души.

XXII

Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки...
И к призраку стремятся руки;
Он вспомнил все — ее зовет...
Но вдруг очнулся. Ах! несчастный,
В какой он бездне здесь ужасной;
Уж жизнь его не расцветет.
Он гаснет, гаснет, увядает,
Как цвет прекрасный на заре;
Как пламень юный, потухает
На освященном алтаре!!!

XXIII

Не понял он ее стремленья,
Ее печали и волненья;
Не думал он, чтобы она
Из жалости одной пришла,
Взглянувши на его мученья;
Не думал также, чтоб любовь
Точила сердце в ней и кровь;
И в страшном был недоуменье...
. . . .
Но в эту ночь ее он ждал...
Настала ночь уж роковая;
И сон от очей отгоняя,
В пещере пленник мой лежал.

XXIV

Подиялся ветер той порою,
Качал во мраке дерева,
И свист его подобеи вою —
Как воет полиочью сова.

Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали иа тучах гром катался;
Блистая, молиия струей
Пещеру темиу озаряла,
Где плеииик бедиый мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал...
. . . .
Гроза помалу утихала;
Лишь капала вода с дерев;
Кой-где потоки меж холмов
Струею мутиою бежали
И в Терек с брызгами впадали.
Черкесов в темиом поле иет...
И тучи врозь уж разбегают,
И кой-где звездочки мелькают;
Проглянет скоро луииый свет.

XXV

И вот над иим луиа златая
На легком облаке всплыла;
И в верх иебесиого стекла,
По сводам голубым играя,
Блестящий шар свой провела.
Покрылись пеленой сребристой
Холмы, леса и луг с рекой.
Но кто печальиою стопой
Идет одии тропой гористой?
Она... с киижалом и пилой;
Зачем же ей киижал булатный?
Ужель идет иа подвиг ратный!
Ужель идет иа тайиый бой!..
Ах иет! иаполиеиа волиеиий,
Печальиых дум и размышлений,
К пещере подошла она;
И голос раздался известиый;
Очнулся плениик как от сиа,

И в глубине пещеры тесной
Садятся... долго они там
Не смели воли дать словам...
Вдруг дева шагом осторожным
К нему, вздохнувши, подошла;
И, руку взяв, с приветом нежным,
С горячим чувством, но мятежным,
Слова печальны начала:

XXVI

«Ах русский! русский! что с тобою!
Почто ты с жалостью немою,
Печален, хладен, молчалив,
На мой отчаянный призыв...
Еще имеешь в свете друга —
Еще не все ты потерял...
Готова я часы досуга
С тобой делить. Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
Ее бежит за мною тень,
И вот об чем, и ночь и день,
Я плачу, вот об чем тоскую!..
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселенной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной...»
Но пленник сердца своего
Не мог открыть в тоске глубокой,
И слезы девы черноокой
Души не трогали его...
«Так, русский, ты спасен! но прежде
Скажи мне: жить иль умереть?!!
Скажи, забыть ли о надежде?..
Иль слезы эти утереть?»

XXVII

Тут вдруг поднялся он; блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули
На них, как светлая роса:
«Ах нет! оставь восторг свой нежный,
Спасти меня не льстись надеждой;

Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках, славных, бранных,
Но на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала;
Но ободрилась, тихо встала,
Взяла пилу одной рукой,
Кинжал другою подавала.
И вот, под острою пилой
Скрыпит железо; распадает,
Блистая, цепь и чуть звенит.
Она его приподымает;
И так, рыдая, говорит:

XXVIII

«Да!.. пленник... ты меня забудешь...
Прости!.. прости же... *навсегда;*
Прости! *навек!..* Как счастлив будешь,
Ах!.. вспомни обо мне тогда...
Тогда!.. быть может, уж могилой
Желанной скрыта буду я;
Быть может... скажешь ты уныло:
«Она любила и меня!..»
И девы бледные ланиты,
Почти потухшие глаза,
Смущенный лик, тоской убитый,
Не освежит одна слеза!..
И только рвутся вопли муки...
Она берет его за руки
И в поле темное спешит,
Где чрез утесы путь лежит.

XXIX

Идут, идут; остановились,
Вздохнув, назад оборотились;
Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку...
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,

Спадает глыба снеговая,
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она;
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг,
Обеих вдруг сразила их.
. . . .

XXX

Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой;
Он вздох последний испускает,
И он уж там — и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших
Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит.

XXXI

Меж тем черкес, с улыбкой злобной,
Выходит из глуши дерев,
И, волку хищному подобный,
Бросает взор... стоит... без слов.
Ногою гордой попирает
Убитого... увидел он,
Что тщетно потерял патрон;
И вновь чрез горы убегает.

XXXII

Но вот она очнулась вдруг;
И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг...
Его уж нет.
Она слезами
Не может ужас выражать,
Не может крови омывать.
И взор ее как бы безумный
Порыв любви изобразил;
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил!..

Встает... и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
Через поляну — за холмами
Сокрылась вдруг в тени ночной.

XXXIII

Она уж к Тереку подходит;
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вкруг обводит,
Ужасной грустию полна?..
И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной тьме.
Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» — восклицает.
Плеснули волны при луне,
Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает.
Покров лишь белый выплывает,
Несется по глухим волнам;
Остаток грустный и печальный
Плывет, как саван погребальный,
И скрылся к каменным скалам.

XXXIV

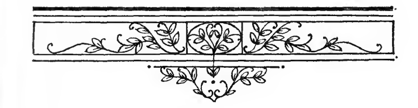
Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может, он ее сгубил;
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил?
Не знает он, она сокрылась,
И с ночи той уж не явилась.
Черкес! где дочь твоя? глядишь,
Но уж ее не возвратишь!!

XXXV

Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых брегах.
Он хладен был, окостенелый;

Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах;
Узнали все. Но поздно было!
— Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!
«Где дочь моя?» — и отзыв скажет:
Где?..





КОРСАР

Поэма

> Longtemps il eut le sort prospére
> Dans ce métier si dangereux.
> Las! il devient trop téméraire
> Pour avoir été trop heureux.
>
> *La Harpe*[1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость
В очах моих, как блеск огня;
Моя давно увяла младость,
Давно, давно нет ясных дней,
Давно нет цели упованья!..
Исчезло все!.. одни страданья
Еще горят в душе моей.

*

Я не видал своих родимых,—
Чужой семьей воскормлен я;
Один лишь брат был у меня,
Предмет всех радостей любимых.
Его я старе годом был,
Но он равно меня любил,

---

[1] Долго ему благоприятствовало счастье
В этом столь опасном ремесле.
Увы! он становится слишком дерзок,
Потому что был слишком счастлив.
Лагарп (фр.)

Равно мы слезы проливали,
Когда все спит во тьме ночной,
Равно мы горе поверяли
Друг другу жаркою душой!..
Нам очарованное счастье
Мелькало редко иногда!..
Увы! — не зрели мы ненастья,
Нам угрожавшего тогда.

*

Мой умер брат! — перед очами
Еще теперь тот страшный час,
Когда в ногах его с слезами
Сидел. Ах! я не зрел ни раз
Столь милой смерти хладной муки:
Сложив крестообразно руки,
Несчастный тихо угасал,
И бледны впалые ланиты
И смертный взор, тоской убитый,
В подушке бедный сокрывал.
Он умер! — страшным восклицаньем
Сражен я вдруг был с содроганьем,
Но сожаленье, не любовь
Согрели жизнь мою и кровь...

*

С тех пор с обманутой душою
Ко всем я недоверчив стал.
Ах! не под кровлею родною
Я был тогда — и увядал.
Не мог с улыбкою смиренья
С тех пор я все переносить:
Насмешки, гордости презренья...
Я мог лишь пламенней любить.
Самим собою недоволен,
Желая быть спокоен, волен,
Я часто по лесам бродил
И только там душою жил,
Глядел в раздумии глубоком,
Когда на дереве высоком
Певец незримый напевал
Веселье, радость и свободу,

Как нежно вдруг ослабевал,
Как он, треща, свистал, щелка́л,
Как по лазоревому своду
На легких крылиях порхал,
И непонятное волненье
В душе я сильно ощущал.
Всегда любя уединенье,
Возненавидя шумный свет,
Узнав неверной жизни цену,
В сердцах людей нашед измену,
Утратив жизни лучший цвет,
Ожесточился я — угрюмой
Душа моя смутилась думой;
Не могши более страдать,
Я вдруг решился убежать.

*

Настала ночь... Я встал печально
С постели, грустью омрачен.
Во всем дому глубокий сон.
Хотелось мне хоть взор прощальный
На место бросить то, где я
Так долго жил в тиши безвестной,
Где жизни тень всегда прелестной
Беспечно встретила меня,
Я взял кинжал; два пистолета
На мне за кожаным ремнем
Звенели. Я страшился света
Луны в безмолвии ночном...

*

Но вихорь сердца молодого
Меня влачил к седым скалам,
Где между берега крутого
Дунай кипел, ревел; и там,
Склонясь на камень головою,
Сидел я, озарен луною...
Ах! как она, томна́, бледна̀,
Лила лучи свои златые
С небес на рощи бреговые.
Везде знакомые места,
Все мне напоминало младость,

Все говорило мне, что радость
Навеки здесь погребена.
Хотел проститься с той могилой,
Где прах лежал столь сердцу милый.
Перебежавши через ров,
Пошел я тихо по кладбищу,
Душе моей давало пищу
Спокойствие немых гробов.
И долго, долго я в молчанье
Стоял над камнем гробовым...
Казалось, веяло в страданье
Каким-то холодом сырым.

*

Потом... неверными шагами
Я удалился — но за мной,
Казалось, тень везде бежала...
Я ночь провел в глуши лесной;
Заря багряно освещала
Верхи холмов; ночная тень
Уже редела надо мною.
С отягощенною главою
Я там сидел, склонясь на пень...
Но встал, пошел к брегам Дуная,
Который издали ревел,
Я в Грецию идти хотел,
Чтоб турок сабля роковая
Пресекла горестный удел
(В душе сменялося мечтанье).
Ярчее дневное сиянье,
И вот Дунай уж предо мной
Синел с обычной красотой.
Как он, прекрасный, величавый,
Играл в прибережных скалах.
Воспоминанье о делах
Живет здесь, и протекшей славой
Река гордится. Сев на брег,
Я измерял Дуная бег.
Потом бросаюсь в быстры волны,
Они клубятся под рукой
(Я спорил с быстрою рекой),
Но скоро нá берег безмолвный
Я вышел. Все в душе моей
Мутилось пеною Дуная;

И бросив взор к стране своей:
«Прости, отчизна золотая! —
Сказал,— быть может, в этот раз
С тобой навеки мне проститься,
Но этот миг, но этот час
Надолго в сердце сохранится!..»
Потом я быстро удалился...

*

Зачем вам сказывать, друзья,
Что было как потом со мною:
Скажу вам только то, что я
Везде с обманутой душою
Бродил один как сирота,
Не смеяввериться, как прежде.
Все изменяющей надежде;
Мир был чужой мне, жизнь пуста —
Уж я был в Греции прекрасной,
А для души моей несчастной
Ее лишь вид отравой был.
День приходил — день уходил...
Уже с Балканския вершины
Открылись Греции долины,
Уж море синее, блестя
Под солнцем пламенным Востока,
Как шум нагорного потока,
Обрадовало вдруг меня...
Но как спастися нам от рока!
Я здесь нашел, здесь погубил
Почти все то, что я любил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Где Геллеспонт седой, широкий,
Плеская волнами, шумит,
Покрытый лесом, одинокий,
Афос задумчивый стоит.
Венчанный грозными скалами,
Как неприступными стенами
Он окружен. Ни быстрых волн,
Ни свиста ветров не боится.

Беда тому, чей бренный челн
Порывом их к нему домчится.
Его высокое чело
Травой и мохом заросло.
Между стремнин, между кустами,
Изрезан узкими тропами,
С востока ряд зубчатых гор
К подошве тянутся Афоса,
И башни гордые Лемоса
Встречает удивленный взор...
Порою корабли водами
На быстрых белых парусах
Летали между островами,
Как бы на лебедя крылах.
Воспоминанье здесь одною
Прошедшей истиной живет.
Там Цареградский путь идет
Чрез поле черной полосою.
(Я шел, не чувствуя себя;
Я был в стремительном волненье,
Увидев, Греция, тебя!)...
Кустарник дикий в отдаленье
Терялся меж угрюмых скал,
Меж скал, где в счастья упоенье
Фракиец храбрый пировал;
Теперь все пусто. Воспоминанье
Почти изгладил ток времен,
И этот край обременен
Под игом варваров. Страданье
Осталось только в той стране,
Где прежде греки воспевали
Их храбрость, вольность; но оне
Той страшной участи не знали,
И дышит все здесь стариной,
Минувшей славой и войной.

*

Когда ж народ ожесточенный
Хватался вдруг за меч военный —
В пещере темной у скалы,
Как будто горние орлы,
Бывало, греки в ночь глухую
Сбирали шайку удалую,

Чтобы на турок нападать,
Пленить, рубить, в морях летать —
И часто барка в тьме у брега
Была готова для побега
От неприятельских полков;
Не страшен был им плеск валов.
И в той пещере отдыхая,
Как часто ночью я сидел,
Воспоминая и мечтая,
Кляня жестокий свой удел,
И что-то новое пылало
В душе неопытной моей,
И сердце новое мечтало
О легком вихре прежних дней.
Желал я быть в боях жестоких,
Желал я плыть в морях широких
(Любить кого, не находил),
Друзья мои, я молод был!
Зачем губить нам нашу младость,
Зачем стареть душой своей,
Прости навек тогда уж радость,
Когда исчезла с юных дней.

*

Нашед корсаров, с ними в море
Хотел я плыть. Ах, думал я,
Война, могила, но не горе,
Быть может, встретят там меня.
Простясь с печальными брегами,
Я с маврским опытным пловцом
Стремил мой <бег> меж островами,
Цветущими над влажным дном
Святого старца океана;
Я видел их — но жребий мой
Где свел нас с буйною толпой,
Там власть дана мне атамана,
И так уж было решено,
Что жизнь и смерть — всё за одно!!!

*

Как весело водам предаться,
Друзья мои, в морях летать,
Но должен, должен я признаться,

Что я готов теперь бы дать
Все, что имею, за те годы,
Которые уж я убил
И невозвратно погубил.
Прекрасней были бы мне воды,
Поля, леса, луга, холмы
И все, все прелести природы...
Но! — так себе неверны мы!! —
Живем, томимся и желаем,
А получивши — забываем
О том. Уже предмет другой
Играет в нашем воображенье
И — в беспрерывном так томленье
Мы тратим жизнь, о боже мой!

*

Мы часто на берег сходили
И часто по степям бродили,
Где конь арабский вороной
Играл скачками подо мной,
Летая в даль степи широкой,
Уже терялся брег далекой,
И я с веселою толпой,
Как в море, был в степи сухой.

*

Или в лесу в ночи глубокой,
Когда все спит, то мы одне
При полной в облаках луне
В пещере темной, припевая,
Сидим, и чаша между нас
Идет с весельем круговая;
За нею вслед за часом час,
И светит пламень, чуть блистая,
Треща, синея и мелькая...

Потом мы часто в корабли
Опять садились, в быстры волны
С отважной дерзостью текли,
Какой-то гордостию полны.
Мы правы были: дом царей
Не так велик, как зыбь морей.

*

Я часто, храбрый, кровожадный,
Носился в бурях боевых;
Но в сердце юном чувств иных
Таился пламень безотрадный.
Чего-то страшного я ждал,
Грустил, томился и желал.
Я слушал песни удалые
Веселой шайки средь морей,
Тогда, воспомнив золотые
Те годы юности моей,
Я слезы лил. Не зная бога,
Мне жизни дальная дорога
Была скользка; я был, друзья,
Несчастный прах из бытия.
Как бы сражаяся с судьбою,
Мятежной ярости полна,
Душа, терзанью предана,
Живет утратою самою.
Узнав лишь тень утраты сей,
Я ждал ее еще мятежней,
Еще печальней, безнадежней,
Как лишь начало страшных дней,
Опять пред мной все исчезало,
Как свет пред тению ночной,
И сердце тяжко изнывало,
Исчез и кроткий мой покой,
Исчезло милое волненье
И благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Однажды в ночь сошлися тучи,
Катился гром издалека,
И гнал, стоная, вихрь летучий
Порывом бурным облака.
Надулись волны, море плещет,
И молния во мраке блещет.
Но наших храбрых удальцов
Ничто б тогда не испугало,
И море синее стонало
От резких корабля следов.

Шипящей пеною белеет
Корабль. Вдруг рвется к небесам
Волна, качается, чернеет
И возвращается волнам.
Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стонала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами слетались,
И устремлялся гром на гром,
И море билось с влажным дном,
И черна бездна загоралась
Открытой бездною громов,
И наше судно воздымалось
То вдруг до тяжких облаков,
То вдруг, треща, вниз опускалось.
Но храбрость я не потерял.
На палубе с моей толпою
Я часто гибель возвещал
Одною пушкой вестовою.
Мы скоро справились! Кругом
Лишь дождь шумел, ревел лишь гром,
Вдруг слышен выстрел отдаленный.
Блеснул фонарь как бы зажженный
На мачте в мрачной глубине...
И скрылся он в туманной мгле,
И небо страшно разразилось
И блеском молний озарилось,
И мы узрели: быстро к нам
Неслося греческое судно.
Все различить мне было трудно.
Предавшися глухим волнам,
Они на помощь призывали,
Но ветры вопли заглушали.
«Скорей ладью, спасите их!» —
Раздался голос в этот миг.
О камень судно ударяет,
Трещит — и с шумом утопает.

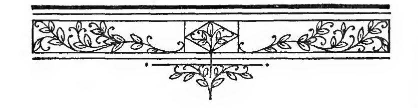
*

Но мы иных еще спасли,
К себе в корабль перенесли.
Они без чувств, водой покрыты,

Лежали все как бы убиты;
И ветер буйный утихал,
И гром почаще умолкал.
Лишь изредка волна вздымалась,
Как бы гора, и опускалась.
. . . .
. . . .
Все смолкло! Вдруг корабль волной
Был брошен к мели береговой.

Хотел я видеть мной спасенных,
И к ним поутру я взошел.
Тогда на тучах озлащенных
Вскатилось солнце. Я узрел,
Увы, гречанку молодую.
Она почти без чувств, бледна,
Склонившись на руку главою,
Сидела, и с тех пор она
Доныне в памяти глубоко...
Она из стороны далекой
Была сюда привезена.
Свою весну, златые лета
Воспоминала. Томный взор
Чернее тьмы, ярчее света
Глядел, казалось, с давних пор
На небо. Там звезда, блистая,
Давала ей о чем-то весть
(О том, друзья, что в сердце есть).
Звезду затмила туча злая,
Звезда померкла, и она
С тех пор печальна и грустна,
С тех пор, друзья, и я стенаю,
Моя тем участь решена,
С тех пор покоя я не знаю,
Но с тех же пор я омертвел,
Для нежных чувств окаменел.





ДЖЮЛИО

(Повесть. 1830 год)

ВСТУПЛЕНИЕ

Осенний день тихонько угасал
На высоте гранитных шведских скал.
Туман облек поверхности озер,
Так что едва заметить мог бы взор
Бегущий белый парус рыбака.
Я выходил тогда из рудника,
Где золото, земных трудов предмет,
Там люди достают уж много лет;
Здесь обратились страсти все в одну,
И вечный стук тревожит тишину;
Между столпов гранитных и аркад
Блестит огонь трепещущих лампад,
Как мысль в уме, подавленном тоской,
Кидая свет бессильный и пустой!..

Но если очи, в бесприветной мгле
Угасшие, морщины на челе,
Но если бледный вялый цвет ланит
И равнодушный молчаливый вид,
Но если вздох, потерянный в тиши,
Являют грусть глубокую души,—
О! не завидуйте судьбе такой.
Печальна жизнь в могиле золотой.
Поверьте мне, немногие из них
Могли собрать плоды трудов своих.

Не нахожу достаточных речей,
Чтоб описать восторг души моей,
Когда я вновь взглянул на небеса,
И освежила голову роса.
Тянулись цепью острые скалы
Передо мной; пустынные орлы
Носилися, крича средь высоты.
Я зрел вдали кудрявые кусты
У озера спокойных берегов
И стебли черные сухих дубов.
От рудника вился, желтея, путь...
Как я желал скорей в себя вдохнуть
Прохладный воздух, вольный, как народ
Тех гор, куда сей узкий путь ведет.

Вожатому подарок я вручил,
Но, признаюсь, меня он удивил,
Когда не принял денег. Я не мог
Понять, зачем, и снова в кошелек
Не смел их положить... Его черты
(Развалины минувшей красоты,
Хоть не являли старости оне),
Казалося, знакомы были мне.

И подойдя, взяв за руку меня:
«Напрасно б,— он сказал,— скрывался я!
Так, Джюлио пред вами, но не тот,
Кто по струям венецианских вод
В украшенной гондоле пролетал.
Я жил, я жил и много испытал;
Не для корысти я в стране чужой:
Могилы тьма сходна с моей душой,
В которой страсти, лета и мечты
Изрыли бездну вечной пустоты...
Но я молю вас только об одном,
Молю: возьмите этот свиток. В нем,
В нем мир всю жизнь души моей найдет —
И, может быть, он вас остережет!»
Тут скрылся быстро пасмурный чудак,
И посмеялся я над ним; бедняк,
Я полагал, рассудок потеряв,
Не потерял еще свой пылкий нрав;
Но, пробегая свиток (видит бог),
Я много слез остановить не мог.

*

Есть край: его Италией зовут;
Как божьи птицы, мнится, там живут
Покойно, вольно и беспечно. И прошлец,
Германии иль Англии жилец,
Дивится часто счастию людей,
Скрывающих улыбкою очей
Безумный пыл и тайный яд страстей.
Вам, жителям холодной стороны,
Не перенять сей ложной тишины,
Хотя ни месть, ни ревность, ни любовь
Не могут в вас зажечь так сильно кровь,
Как в том, кто близ Неаполя рожден:
Для крайностей ваш дух не сотворен!..
Спокойны вы!.. на ваш унылый край
Навек я променял сей южный рай,
Где тополи, обвитые лозой,
Хотят шатер достигнуть голубой,
Где любят моря синие валы
Баюкать тень береговой скалы...

Вблизи Неаполя мой пышный дом
Белеется на берегу морском,
И вкруг него веселые сады;
Мосты, фонтаны, бюсты и пруды
Я не могу на память перечесть;
И там у вод, в лимонной роще, есть
Беседка; всех других она милей,
Однако вспомнить я боюсь об ней.
Она душистым запахом полна,
Уединенна и всегда темна.
Ах! здесь любовь моя погребена;
Здесь крест, нагнутый временем, торчит
Над холмиком, где Лоры труп сокрыт.

При верной помощи теней ночных,
Бывало, мы, укрывшись от родных,
Туманною озарены луной,
Спешили с ней туда рука с рукой;
И Лора, лютню взяв, певала мне...
Ее плечо горело как в огне,
Когда к нему я голову склонял
И пойманные кудри целовал...

Как гордо волновалась грудь твоя,
Коль, очи в очи томно устремя,
Твой Джюлио слова любви твердил;
Лукаво милый пальчик мне грозил,
Когда я, у твоих склоняясь ног,
Восторг в душе остановить не мог...

Случалось, после я любил сильней,
Чем в этот раз; но жалость лишь о сей
Любви живет, горит в груди моей.
Она прошла, таков судьбы закон,
Неумолим и непреклонен он,
Хотя щадит луны любезной свет,
Как памятник всего, чего уж нет.

О тень священная! простишь ли ты
Тому, кто обманул твои мечты,
Кто обольстил невинную тебя
И навсегда оставил, не скорбя?
Я страсть твою употребил во зло,
Но ты взгляни на бледное чело,
Которое изрыли не труды,—
На нем раскаянья и мук следы;
Взгляни на степь, куда я убежал,
На снежные вершины шведских скал,
На эту бездну смрадной темноты,
Где носятся, как дым, твои черты,
На ложе, где с рыданием, с тоской
Кляну себя с минуты роковой...
И сжалься, сжалься, сжалься надо мной!..
. . . .
. . . .

Когда мы женщину обманем, тайный страх
Живет для нас в младых ее очах;
Как в зеркале, вину во взоре том
Мы различив, укор себе прочтем.
Вот отчего, оставя отчий дом,
Я поспешил, бессмысленный, бежать,
Чтоб где-нибудь рассеянье сыскать!
Но с Лорой я проститься захотел.
Я объявил, что мне в чужой предел
Отправиться на много должно лет,
Чтоб осмотреть великий божий свет.

«Зачем тебе! — воскликнула она,—
Что даст тебе чужая сторона,
Когда ты здесь не хочешь быть счастлив?..
Подумай, Джюлио! — тут, взор склонив,
Она меня рукою обняла,—
Ах, я почти уверена была,
Что не откажешь в просьбе мне одной:
Не покидай меня, возьми с собой,
Не преступи вторично свой обет...
Теперь... ты должен знать!..» — «Нет, Лора, нет! —
Воскликнул я,— оставь меня, забудь;
Привязанность былую не вдохнуть
В холодную к тебе отныне грудь;
Как странники на небе, облака,
Свободно сердце и любовь легка».
И, побледнев как будто бы сквозь сна,
В ответ сказала тихо мне она:
«Итак, прости навек, любезный мой;
Жестокий друг, обманщик дорогой;
Когда бы знал, что оставляешь ты...
Однако прочь безумные мечты,
Надежда! сердце это не смущай...
Ты более не мой... прощай!.. прощай!..
Желаю, чтоб тебя в чужой стране
Не мучила бы память обо мне...»

То был глубокий вещей скорби глас.
Так мы расстались. Кто жалчей из нас,
Пускай в своем уме рассудит тот,
Кто некогда сии листы прочтет.

Зачем цену утраты на земле
Мы познаем, когда уж в вечной мгле
Сокровище потонет, и никак
Нельзя разгнать его покрывший мрак?
Любовь младых, прелестных женских глаз,
По редкости, сокровище для нас
(Так мало дев, умеющих любить);
Мы день и ночь должны его хранить;
И горе! если скроется оно:
Навек блаженства сердце лишено.
Мы только раз один в кругу земном
Горим взаимной нежности огнем.

Пять целых лет провел в Париже я.
Шалил, именье с временем губя;
Первоначальной страсти жар святой
Я называл младенческой мечтой.
Дорога славы, заманив мой взор,
Наскучила мне. Совести укор
Убить любовью новой захотев,
Я стал искать беседы юных дев;
Когда же охладел к ним наконец,
Представила мне дружба свой венец;
Повеселив меня немного дней,
Распался он на голове моей...
Я стал бродить, печален и один;
Меня уверили, что это сплин;
Когда же надоели доктора,
Я хладнокровно их согнал с двора.

Душа моя была пуста, жестка.
Я походил тогда на бедняка:
Надеясь клад найти, глубокий ров
Он ископал среди своих садов,
Испортить не страшáсь гряды цветов,
Рыл, рыл — вдруг что-то застучало — он
Вздрогнул... предмет трудов его найден —
Приблизился... торопится... глядит:
Что ж? — перед ним гнилой скелет лежит!

«Заботы вьются в сумраке ночей
Вкруг ложа мягкого, златых кистей;
У изголовья совесть-скорпион
От вежд засохших гонит сладкий сон;
Как ветр преследует по небу вдаль
Оторванные тучки, так печаль,
В одну и ту же с нами сев ладью,
Не отстает ни в куще, ни в бою»,—
Так римский говорит поэт-мудрец.
Ах! это испытал я наконец,
Отправившись, не зная сам куда,
И с Сеною простившись навсегда!..
Ни диких гор Швейцарии снега,
Ни Рейна вдохновенные брега,
Ничем мне ум наполнить не могли
И сердцу ничего не́ принесли.
. . . .
. . . .

Венеция! о, как прекрасна ты,
Когда, как звезды спавши с высоты,
Огни по влажным улицам твоим
Скользят; и с блеском синим, золотым
То затрепещут и погаснут вдруг,
То вновь зажгутся; там далекий звук,
Как благодарность в злой душе, порой
Раздастся и умрет во тьме ночной:
То песнь красавицы, с ней друг ея;
Они поют, и мчится их ладья.
Народ, теснясь на берегу, кипит.
Оттуда любопытный взор следит
Какой-нибудь красивый павильон,
Который бегло в волнах отражен.
Разнообразный плеск и вёсел шум
Приводят много чувств и много дум;
И много чудных случаев рождал
Ничем не нарушимый карнавал.

Я прихожу в гремящий маскерад,
Нарядов блеск там ослепляет взгляд;
Здесь не узнает муж жены своей.
Какой-нибудь лукавый чичисбей,
Под маской, близ него проходит с ней;
И муж готов божиться, что жена
Лежит в дому отчаянно больна...
Но если все проник ревнивый взор —
Тотчас кинжал решит недолгий спор,
Хотя ненужно пролитая кровь
Уж не воротит женскую любовь!..
Так мысля, в зале тихо я блуждал
И разных лиц движенья наблюдал;
Но, как пустые грезы снов пустых,
Чтоб рассказать, я не запомню их,
И вижу маску: мне грозит она.
Огонь паров застольного вина
Смутил мой ум, волнуя кровь мою,
Я домино окутался, встаю,
Открыл лицо, за тайным чудаком
Стремлюсь и покидаю шумный дом,
Быстрее ног преследуют его
Мои глаза, не помня ничего;
Вослед за ним, хотя и не хотел,
На лестницу крутую я взлетел!..

Огромные покои предо мной,
Отделаны с искусственной красой;
Сияли свечи яркие в углах,
И живопись дышала на стенах.
Ни блеск, ни сладкий аромат цветов
Желаньем ускоряемых шагов
Остановить в то время не могли:
Они меня с предчувствием несли
Туда, где, на диване опустясь,
Мой незнакомец, бегом утомясь,
Сидел; уже я близко у дверей —
Вдруг (изумление души моей
Чьи краски на земле изобразят?)
С него упал обманчивый наряд —
И женщина единственной красы
Стояла близ меня. Ее власы
Катились на волнуемую грудь
С восточной негой... я не смел дохнуть,
Покуда взор, весь слитый из огня,
На землю томно не упал с меня.
Ах! он стрелой во глубь мою проник!
Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский, ни демонский язык!..

Средь гор кавказских есть, слыхал я, грот,
Откуда Терек молодой течет,
О скалы неприступные дробясь;
С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстие лавина завалит,
Как мертвый, он на время замолчит...
Но лишь враждебный снег промоет он,
Быстрей его не будет Аквилон;
Беги сайгак от берега в тот час
И жаждущий табун — умчит он вас,
Сей ток, покрытый пеною густой,
Свободный, как чеченец удалой.
Так и любовь, покрыта скуки льдом,
Прорвется и мучительным огнем
Должна свою разрушить колыбель,
Достигнет или не достигнет цель!..
И беден тот, кому судьбина, дав
И влюбчивый и своевольный нрав,
Позволила узнать подробно мир,

Где человек всегда гоним и сир,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где память о добре и зле — все яд,
И где они, покорствуя страстям,
Приносят только сожаленье нам!

Я был любим, сам страстию пылал
И много дней Мелиной обладал,
Летучих наслаждений властелин.
Из этих ден я не забыл один:
Златило утро дальний небосклон,
И запах роз с брегов был разнесен
Далеко в море; свежая волна,
Играющим лучом пробуждена,
Отзывы песни рыбаков несла...
В ладье, при верной помощи весла,
Неслися мы с Мелиною сам-друг,
Внимая сладкий и небрежный звук;
За нами, в блеске утренних лучей,
Венеция, как пышный мавзолей
Среди песков Египта золотых,
Из волн поднявшись, озирала их.
В восторге я твердил любви слова
Подруге пламенной; моя глава,
Когда я спорить уставал с водой,
В колена ей склонялася порой.
Я счастлив был; не ведомый никем,
Казалось, я покоен был совсем,
И в первый раз лишь мог о том забыть,
О чем грустил, не зная возвратить.
Но дьявол, сокрушитель благ земных,
Блаженство нам дарит на краткий миг,
Чтобы удар судьбы сразил сильней,
Чтобы с жестокой тягостью своей
Несчастье унесло от жадных глаз
Все, что ему еще завидно в нас.

Однажды (ночь на город уж легла,
Луна как в дыме без лучей плыла
Между сырых туманов; ветр ночной,
Багровый запад с тусклою луной —
Все предвещало бури; но во мне
Уснули, мнилось, навсегда оне)

Я ехал к милой; радость и любовь
Мою младую волновали кровь;
Я был любим Мелиной, был богат,
Все вкруг мне веселило слух и взгляд:
Роптанье струй, мельканье челноков,
Сквозь окна освещение домов,
И баркаролла мирных рыбаков.
К красавице взошел я; целый дом
Был пуст и тих, как завоеван сном;
Вот — проникаю в комнаты — и вдруг
Я роковой вблизи услышал звук,
Звук поцелуя... праведный творец,
Зачем в сей миг мне не послал конец?
Зачем, затрепетав как средь огня,
Не выскочило сердце из меня?
Зачем, окаменевший, я опять
Движенье жизни должен был принять?..

Бегу, стремлюсь — трещит — и настежь дверь!..
Кидаюся, как разъяренный зверь,
В ту комнату, и быстрый шум шагов
Мой слух мгновенно поразил — без слов,
Схватив свечу, я в темный коридор,
Где, ревностью пылая, встретил взор
Скользящую, как некий дух ночной,
По стенам тень. Дрожащею рукой
Схватив кинжал, машу перед собой!
И вот настиг; в минуту удержу —
Рука... рука... хочу схватить — гляжу:
Недвижная, как мертвая, бледна,
Мне преграждает дерзкий путь она!
Подъемлю злобно очи... страшный вид!..
Качая головой, призрак стоит.
Кого ж я в нем, встревоженный, узнал?
Мою обманутую Лору!..
...Я упал!

Печален степи вид, где без препон
Скитается летучий Аквилон
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой:

Так жизнь скучна, когда боренья нет;
В ней мало дел мы можем в цвете лет,
В минувшее проникнув, различить,
Она души не будет веселить;
Но жребий я узнал совсем иной;
Убит я не был раннею тоской...
Страстей огонь, неизлечимый яд,
Еще теперь в душе моей кипят...
И их следы узнал я в этот раз.
В беспамятстве, не открывая глаз,
Лежал я долго; кто принес меня
Домой, не мог узнать я. День от дня
Рассудок мой свежей и тверже был;
Как вновь меня внезапно посетил
Томительный и пламенный недуг.
Я был при смерти. Ни единый друг
Не приходил проведать о больном...
Как часто в душном сумраке ночном
Со страхом пробегал я жизнь мою,
Готовяся предстать пред судию;
Как часто, мучим жаждой огневой,
Я утолить ее не мог водой,
Задохшейся и теплой и гнилой;
Как часто хлеб перед лишенным сил
Черствел, хотя еще не тронут был;
И скольких слез, стараясь мужем быть,
Я должен был всю горечь проглотить!..

И долго я томился. Наконец,
Родных полей блуждающий беглец,
Я возвратился к ним.
В большом саду
Однажды я, задумавшись, иду,
И вдруг пред мной беседка. Узнаю
Зеленый свод, где я сказал: «люблю»
Невинной Лоре (я еще об ней
Не спрашивал соседственных людей),
Но страх пустой мой ум преодолел.
Вхожу, и что ж бродящий взгляд узрел?
Могилу! — свежий летний ветерок
Порою нес увялый к ней листок,
И, незабудками испещрена,
Дышала сыростью и мглой она.

Не ужасом, но пасмурной тоской
Я был подавлен в миг сей роковой!
Презренье, гордость в этой тишине
Старались жалость победить во мне.
Так вот что я любил!.. так вот о ком
Я столько дум питал в уме моем!..
И стоило ль любить и покидать,
Чтобы странам чужим нести казать
Испорченное сердце (плод страстей),
В чем недостатка нет между людей?..
Так вот что я любил! клянусь, мой бог,
Ты лучшую ей участь дать не мог;
Пресечь должна кончина бытие:
Чем раньше, тем и лучше для нее!

И блещут, дева, незабудки над тобой,
Хотя забвенья стали пеленой;
Сплела из них земля тебе венец...
Их вырастили матерь и отец,
На дерн роняя слезы каждый день,
Пока туманная, ложася, тень
С холодной сладкою росой ночей
Не освежала старых их очей...
. . . .
И я умру! — но только ветр степей
Восплачет над могилою моей!..

Преодолеть стараясь дум борьбу,
Так я предчувствовал свою судьбу...
. . . .
. . . .

И я оставил прихотливый свет,
В котором для меня веселья нет
И где раскаянье бежит от нас,
Покуда юность не оставит глаз.
Но я был стар, я многое свершил!
Поверьте: не одно лишенье сил,
Последствие толпой протекших дней,
Браздит чело и гасит жизнь очей!..
Я потому с досадой их кидал
На мир, что сам себя в нем презирал!

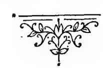
Я мнил: в моем лице легко прочесть,
Что в сей груди такое чувство есть.
Я горд был, и не снес бы, как позор,
Пытающий, нескромный, хитрый взор.

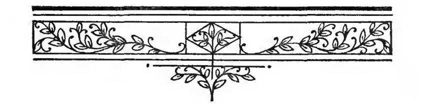
Как мог бы я за чашей хохотать
И яркий дар похмелья выпивать,
Когда всечасно мстительный металл
В больного сердца струны ударял?
Они меня будили в тьме ночной,
Когда и ум, как взгляд, подернут мглой,
Чтобы нагнать еще ужасней сон;
Не уходил с зарей багровой он.
Чем боле улыбалось счастье мне,
Тем больше я терзался в глубине,
Я счастие, казалося, привлек,
Когда его навеки отнял рок,
Когда любил в огне мучений злых
Я женщин мертвых более живых.

Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет;
Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.
Чтобы спастись от этой пустоты,
Воспоминаньем иль игрой мечты,
Умножь одну или другую ты.
Последнее мне было легче! я
Опять бежал в далекие края;
И здесь, в сей бездне, в северных горах,
Зароют мой изганнический прах.
Без имени в земле он должен гнить,
Чтоб никого не мог остановить.
Так я живу. Подземный мрак и хлад,
Однообразный стук, огни лампад
Мне нравятся. Товарищей толпу
Презреннее себя всегда я чту,
И самолюбье веселит мой нрав:
Так рад кривой, слепого увидав!
. . . .
. . . .
И я люблю, когда немая грусть
Меня кольнет, на воздух выйти. Пусть,
Пусть укорит меня обширный свод,

За коим в славе восседает тот,
Кто был и есть и вечно не прейдет;
Задумавшись, нередко я сижу
Над дикою стремниной и гляжу
В туманные поля передо мной,
Отдохшие под свежею росой.
< . . . . >
Тогда, как я, воскликнешь к небесам,
Ломая руки: «Дайте прежним дням
Воскреснуть!» — но ничто их не найдет,
И молодость вторично не придет!..

Ах! много чувств и мрачных и живых
Открыть хотел бы Джюлио. Но их
Пускай обнимет ночь, как и меня!..
Уже в лампаде нет почти огня,
Страница кончена — и (хоть чудна)
С ней повесть жизни, прежде чем она...





ИСПОВЕДЬ

I

День гас; в наряде голубом,
Крутясь, бежал Гвадалкивир,
И не заботяся о том,
Что есть под ним какой-то мир,
Для счастья чуждый, полный злом,
Светило южное текло,
Беспечно, пышно и светло;
Но в монастырскую тюрьму
Игривый луч не проникал;
Какую б радость одному
Туда принес он, если б знал;
Главу склоня, в темнице той
Сидел отшельник молодой,
Испанец родом и душой;
Таков был рок! — зачем, за что,
Не знал и знать не мог никто;
Но в преступленье обвинен,
Он оправданья не искал;
Он знал людей и знал закон...
И ничего от них не ждал.
Но вот по лестнице крутой
Звучат шаги, открылась дверь,
И старец дряхлый и седой
Взошел в тюрьму — зачем теперь?
Что сожаленья и привет
Тому, кто гибнет в цвете лет?

II

«Ты здесь опять! напрасный труд!..
Не говори, что божий суд
Определяет мне конец.
Всё люди, люди, мой отец...

Пускай погибну, смерть моя
Не продолжит их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить — и в крови,
Неправой казнью пролитой,
В крови безумца молодой,
Согреть им вновь не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам.
И тень невинного, поверь,
Не отопрет им рая дверь.
Меня могила не страшит.
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне;
Я молод, молод,— знал ли ты,
Что значит молодость, мечты?
Или не знал — или забыл,
Как ненавидел и любил,
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой,
В глубокой скважине стены
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой!
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл — ты слеп, ты сед,
И от желаний ты отвык;
Что за нужда? — ты жил, старик;
Тебе есть в мире что забыть!
Ты жил! я также мог бы жить!

III

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел — благодарю;
Не понимаю: что была
У них за мысль? — мои дела
И без меня ты должен знать —
А душу можно ль рассказать?

И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я преступник иль злодей.
Пусть монастырский ваш закон
Рукою неба утвержден;
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой;
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин;
И тайну страшную мою
Я неизменно сохраню,
Пока земля в урочный час
Как двух друзей не примет нас.
Доселе жизнь была мне плен
Среди угрюмых этих стен,
Где детства ясные года
Я проводил, бог весть куда!
Как сон, без радости и бед,
Промчались тени лучших лет,
И воскресить те дни едва ль
Желал бы я — а всё их жаль!
Зачем, молчание храня,
Так грозно смотришь на меня?
Я волен... я не брат живых.
Судей бесчувственных моих
Не проклинаю... но, старик,
Я признаюся, мой язык
Не станет их благодарить
За то, что прежде, может быть,
Чем луч зари на той стене
Погаснет в мирной тишине,
Я, свежий, пылкий, молодой,
Который здесь перед тобой,
Живу, как жил тому пять лет,
Весь превращуся в слово «нет»!..
И прах, лишенный бытия,
Уж будет прах один — не я!

IV

И мог ли я во цвете лет,
Как вы, душой оставить свет
И жить, не ведая страстей,
Под солнцем родины моей?

Ты позабыл, что седина
Меж этих кудрей не видна,
Что пламень в сердце молодом
Не остудить мольбой, постом!
Когда над бездною морской
Свирепой бури слышен вой
И гром гремит по небесам,
Вели не трогаться волнам
И сердцу бурному вели
Не слушать голоса любви!..
Да если б черный сей наряд
Не допускал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват;
Но под одеждой власяной
Я человек, как и другой!
И ты, бесчувственный старик,
Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне
И в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
Отвергнув все, закон и честь,
Ты был бы счастлив перенесть
За слово, ласку или взор
Мое страданье, мой позор!..

V

Я о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь;
Пусть вечно мучусь; не беда!
Ведь с ней не встречусь никогда!
Разлуки первый, грозный час
Стал веком, вечностью для нас!
И если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там, среди святых,
Погибший рай надежд моих?
Нет, перестань, не возражай...
Что без нее земля и рай?
Пустые звонкие слова,
Блестящий храм без божества!

Увы! отдай ты мне назад
Ее улыбку, милый взгляд,
Отдай мне свежие уста,
И голос сладкий, как мечта...
Один лишь слабый звук отдай...
О! старец! что такое рай?..

VI

Смотри, в сырой тюрьме моей
Не видно солнечных лучей;
Но раз на мрачное окно
Упал один — давным-давно;
И с этих пор между камней
Ничтожный след веселых дней
Забыт, как узник, одинок
Растет бледнеющий цветок;
Но вовсе он не расцветет,
И где родился — там умрет;
И не сходна ль, отец святой,
Его судьба с моей судьбой?
Знай, может быть, ее уж нет...
И вот последний мой ответ:
Поди, беги, зови скорей
Окровавленных палачей:
Судить и медлить вам на что?
Она не тут — и все ничто!
Прощай, старик; вот казни час:
За них молись... в последний раз
Тебе клянусь перед творцом,
Что не виновен я ни в чем,
Скажи: что умер я как мог,
Без угрызений и тревог,
Что с тайной гибельной моей
Я не расстался для людей...
Забудь, что жил я... что любил
Гораздо более, чем жил!
Кого любил? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной;
За жизнь, за мир, за вечность вам
Я тайны этой не продам!»

. . . .
. . . .

VII

...И он погиб — и погребен.
И в эту ночь могильный звон
Был степи ветром принесен
К стенам обители другой,
Объятой сонной тишиной,
И в храм высокий он проник...
Там, где сиял мадонны лик
В дыму трепещущих лампад,
Как призраки стояли в ряд
Двенадцать дев, которых свет
Причел к умершим с давних лет;
Неслась мольба их к небесам,
И отвечал старинный храм
Их песни мирной и святой,
И пели все, кроме одной.
Как херувим, она была
Обворожительно мила.
В ее лице никто б не мог
Открыть печали и тревог.
Но что такое женский взгляд?
В глазах был рай, а в сердце ад!
Прилежным ухом у окна
Шум ветра слушала она,
Как будто должен был принесть
Он речь любви иль смерти весть!..
Когда ж унылый звон проник
В обширный храм — то слабый крик
Раздался, пролетел и вмиг
Утих. Но тот, кто услыхал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой!..
Любовь и жизнь он взял с собой.





ПОСЛЕДНИЙ СЫН ВОЛЬНОСТИ

(Повесть)

Посвящается (Н. С. Шеншину)

1

Бывало, для забавы я писал,
Тревожимый младенческой мечтой;
Бывало, я любовию страдал,
И, с бурною пылающей душой,
Я в ветреных стихах изображал
Таинственных видений милый рой.
Но дни надежд ко мне не придут вновь,
Но изменила первая любовь!..

2

И я один, один был брошен в свет,
Искал друзей — и не нашел людей;
Но ты явился: нежный твой привет
Завязку снял с обманутых очей.
Прими ж, товарищ, дружеский обет,
Прими же песню родины моей,
Хоть эта песнь, быть может, милый друг,—
Оборванной струны последний звук!..

When shall such hero live again?
«The Giaour», *Byron*[1]

Приходит осень, золотит
Венцы дубов. Трава полей
От продолжительных дождей
К земле прижалась; и бежит
Ловец напрасно по холмам:
Ему не встретить зверя там,
А если даже он найдет,
То ветер стрелы разнесет.
На льдинах ветер тот рожден,
Порывисто качает он
Сухой шиповник на брегах
Ильменя. В сизых облаках
Станицы белых журавлей
Летят на юг до лучших дней;
И чайки озера кричат
Им вслед и вьются над водой,
И звезды ночью не блестят,
Одетые сырою мглой.

Приходит осень! уж стада
Бегут в гостеприимну сень;
Краснея, догорает день
В тумане. Пусть он никогда
Не озарит лучом своим
Густой новогородский дым,
Пусть не надуется вовек
Дыханьем теплым ветерка
Летучий парус рыбака
Над волнами славянских рек!
Увы! пред властию чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.
Свершилось! дерзостный варяг
Богов славянских победил;
Один неосторожный шаг
Свободный край поработил!

---

[1] Когда такой герой родится снова?
«Гяур». *Байрон (англ.)*.

Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны:
Так, меж грядами темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч
Увеселяет утром взор
И золотит туманы гор.

На небо дым валит столбом!
Откуда он? Там, где шумит
Поток сердитый, над холмом,
Треща, большой огонь горит,
Пестреет частый лес кругом.
На волчьих кожах, без щитов,
Сидят недвижно у огня,
Молчанье мрачное храня,
Как тени грусти, семь бойцов:
Шесть юношей — один старик.
Они славяне! — бранный клик
Своих дружин им не слыхать,
И долго, долго не видать
Им милых ближних... но они
Простились с озером родным,
Чтоб не промчалися их дни
Под самовластием чужим,
Чтоб не склоняться вечно в прах,
Чтоб тени предков, из земли
Восстав, с упреком на устах
Тревожить сон их не пришли!..
О! если б только Чернобог
Удару мщения помог!..
Неравная была борьба...
И вот война! и вот судьба!..

«Зачем я меч свой вынимал,
И душу веселила кровь? —
Один из юношей сказал.—
Победы мы не встретим вновь,

И наши имена покрыть
Должно забвенье, может быть;
И несвершенный подвиг наш
Изгладится в умах людей:
Так недостроенный шалаш
Разносит буйный вихрь степей!»
«О! горе нам,— сказал другой,—
Велик, ужасен гнев богов!
Но пусть и на главу врагов
Спадет он гибельной звездой,
Пусть в битве страх обымет их,
Пускай падут от стрел своих!»

Так говорили меж собой
Изгнанники. Вот встал один...
С руками, сжатыми крестом,
И с бледным пасмурным челом
На мглу волнистую долин
Он посмотрел, и наконец
Так молвил старику боец:
«Подобно ласке женских рук,
Смягчает горе песни звук.
Так спой же, добрый Ингелот,
О чем-нибудь, о чем-нибудь
Ты спой, чтоб облегчилась грудь,
Которую тоска гнетет.
Пой для других! моя же месть
Их детской жалобы сильней:
Что было, будет и что есть,
Все упадает перед ней!»
«Вадим! — старик ему в ответ,—
Зачем не для тебя?.. иль нет!
Не надо! что̀ ты вверил мне,
Уснет в сердечной глубине!
Другую песню я спою:
Садись и слушай песнь мою!»

И в белых кудрях старика
Играли крылья ветерка,
И вдохновенный взор блеснул,
И песня громко раздалась.
Прерывисто она неслась,
Как битвы отдаленный гул.

Поток, вблизи холма катясь,
Срывая мох с камней и пней,
Согласовал свой ропот с ней,
И даже призраки бойцов,
Склонясь из дымных облаков,
Внимали с высоты порой
Сей песни дикой и простой!

ПЕСНЬ ИНГЕЛОТА

1

Собралися люди мудрые
Вкруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршуном!
Но, махнувши слабою рукой,
Говорит он речь друзьям своим:

2

«Ах, вы люди новгородские!
Между вас змея-раздор шипит.
Призовите князя чуждого,
Чтоб владел он краем родины!» —
Так сказал и умер Гостомысл.

3

Кривичи, славяне, весь и чудь
Шлют послов за море синее,
Чтобы звать князей варяжских стран.
«Край наш славен — но порядка нет!» —
Говорят послы князьям чужим.

4

Рурик, Трувор и Синав клялись
Не вести дружины за собой;
Но с зарей блеснуло множество
Острых копий, белых парусов
Сквозь синеющий туман морской!..

5

Обманулись вы, сыны славян!
Чей белеет стан под городом?

Завтра, завтра дерзостный варяг
Будет князем Новагорода,
Завтра будете рабами вы!..

6

Тридцать юношей сбираются,
Месть в душе, в глазах отчаянье...
Ночи мгла спустилась на холмы,
Полный месяц встал, и юноши
В спящий стан врагов являются!

7

На щиты склонясь, варяги спят,
Луч луны играет по кудрям.
Вот струею потекла их кровь,
Гибнет враг — но что за громкий звук?
Чье копье ударилось о щит?

8

И вскочили пробужденные,
Злоба в крике и движениях!
Долго защищались юноши.
Много пало... только шесть осталось...
Мир костям убитых в поле том!

9

Княжит Рурик в Новегороде,
В диких дебрях бродят юноши;
С ними есть один старик седой —
Он поет о родине святой,
Он поет о милой вольности!

*

«Ужель мы только будем петь
Иль с безнадежием немым
На стыд отечества глядеть,
Друзья мои? — спросил Вадим.—
Клянусь, великий Чернобог,
И в первый и в последний раз:
Не буду у варяжских ног.

Иль он, иль я: один из нас
Падет! в пример другим падет!..
Молва об нем из рода в род
Пускай передает рассказ;
Но до конца вражда!» — Сказал,
И на колена он упал,
И руки сжал, и поднял взор,
И страшно взгляд его блестел,
И темно-красный метеор
Из тучи в тучу пролетел!

И встали и пошли они
Пустынной узкою тропой.
Курился долго дым густой
На том холме, и долго пни
Трещали в медленном огне,
Маня беспечных пастухов,
Пугая кроликов и сов
И ласточек на вышине!..

Скользнув между вечерних туч,
На море лег кровавый луч;
И солнце пламенным щитом
Нисходит в свой подводный дом.
Одни варяжские струи,
Поднявши головы свои,
Любуясь на его закат,
Теснятся, шепчут и шумят;
И серна на крутой скале,
Чернея в отдаленной мгле,
Как дух недвижима, глядит
Туда, где небосклон горит.

Сегодня с этих берегов
В ладью ступило семь бойцов;
Один старик, шесть молодых!
Вадим отважный был меж них.
И белый парус понесло
Порывом ветра, и весло
Ударилось о синий вал.
И в той ладье Вадим стоял
Между изгнанников-друзей,
Подобный призраку морей!

Что думал он, о чем грустил,
Он даже старцу не открыл.
В прощальном, мутном взоре том
Изобразилось то, о чем
Пересказать почти нельзя.
Так удалялася ладья,
Оставя пены белый след;
Все мрачен в ней стоял Вадим;
Воспоминаньем прежних лет,
Быть может, витязь был томим...
В какой далекий край они
Отправились, чего искать?
Кто может это рассказать?
Их нет. Бегут толпою дни!..

На вышине скалы крутой
Растет порой цветок младой:
И в сердце грозного бойца
Любви есть место. До конца
Он верен чувству одному,
Как верен слову своему.
Вадим любил. Кто не любил?
Кто, вечно следуя уму,
Врожденный голос заглушил?
Как моря вид, как вид степей,
Любовь дика в стране моей...

Прекрасна *Леда*, как звезда
На небе утреннем. Она
Свежа, как южная весна,
И, как пустынный цвет, горда.
Как песня юности, жива,
Как птица вольности, резва,
Как вспоминание детей,
Мила и грустию своей
Младая Леда. И Вадим
Любил. Но был ли он любим?..
Нет! равнодушный Леды взор
Презренья холод оковал:
Отвергнут витязь; но с тех пор
Он все любил, он все страдал.
До униженья, до мольбы
Он не хотел себя склонить;

Мог презирать удар судьбы
И мог об нем не говорить.
Желал он на другой предмет
Излить огонь страстей своих;
Но память, слезы многих лет!..
Кто устоит противу них?
И рана, легкая сперва,
Была все глубже день со днем,
И утешения слова
Встречал он с пасмурным челом.
Свобода, мщенье и любовь —
Все вдруг в нем волновало кровь;
Старался часто Ингелот
Тревожить пыл его страстей
И полагал, что в них найдет
Он пользу родины своей.
Я не виню тебя, старик!
Ты славянин: суров и дик,
Но и под этой пеленой
Ты воспитал огонь святой!..
Когда на челноке Вадим
Помчался по волнам морским,
То показал во взоре он
Души глубокую тоску,
Но ни один прощальный стон
Он не поверил ветерку,
И ни единая слеза
Не отуманила глаза.
И он покинул край родной,
Где игры детства, как могли,
Ему веселье принесли
И где лукавою толпой
Его надежды обошли,
И в мире может только месть
Опять назад его привесть.

*

Зима сребристой пеленой
Одела горы и луга.
Князь Рурик с силой боевой
Пошел недавно на врага.
Глубоки ранние снега;

На сучьях иней. Звучный лед
Сковал поверхность гладких вод.
Стадами волки по ночам
Подходят к тихим деревням;
Трещит мороз. Шумит метель:
Вершиною качает ель.
С полнеба день на степь глядит
И за туман уйти спешит,
И путник посреди полей
Неверный тщетно ищет путь;
Ему не зреть своих друзей,
Ему холодным сном заснуть,
И должен сгнить в чужих снегах
Его непогребенный прах!..

Откуда зарево блестит?
Не град враждебный ли горит?
Тот город Руриком зажжен.
Но скоро ль возвратится он
С богатой данью? скоро ль меч
Князь вложит в мирные ножны?
И не пора ль ему пресечь
Зловещий, буйный клик войны?

Ночь. Темен зимний небосклон.
В Новгороде глубокий сон,
И все объято тишиной;
Лишь лай домашних псов порой
Набегом ветра принесен.
И только в хижине одной
Лучина поздняя горит;
И Леда перед ней сидит
Одна; немолчное давно
Прядет, гудёт веретено
В ее руке. Старуха мать
Над снегом вышла погадать.
И, наконец, она вошла:
Морщины бледного чела
И скорый, хитрый взгляд очей —
Все ужасом дышало в ней.
В движенье судорожном рук
Видна душевная борьба.
Ужель бедой грозит судьба?

Ужели ряд жестоких мук
Искусством тайным эту ночь
В грядущем видела она?
Трепещет и не смеет дочь
Спросить. Волшебница мрачна,
Сама в себя погружена.
Пока петух не прокричал.
Старухи бред и чудный стон
Дремоту Леды прерывал,
И краткий сон был ей не в сон!..
И поутру перед окном
Приметили широкий круг,
И снег был весь истоптан в нем,
И долго в городе о том
Ходил тогда недобрый слух.
. . . .
. . . .

Шесть раз менялася луна;
Давно окончена война.
Князь Рурик и его вожди
Спокойно ждут, когда весна
Свое дыханье и дожди
Пошлет на белые снега,
Когда печальные луга
Покроют пестрые цветы,
Когда над озером кусты
Позеленеют, и струи
Заблещут пеной молодой,
И в роще Лады в час ночной
Затянут песню соловьи.
Тогда опять поднимут меч,
И кровь соседей станет течь,
И зарево, как метеор,
На тучах испугает взор.

Надеждою обольщена,
Вотще душа славян ждала
Возврата вольности: весна
Пришла, но вольность не пришла.
Их заговоры, их слова
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права,
Казалось, он пренебрегал.

Своей дружиной окружен,
Перед народ являлся он;
Свои победы исчислял,
Лукавой речью убеждал!
Рука искусного льстеца
Играла глупою толпой;
И благородные сердца
Томились тайною тоской...

И праздник Лады настает:
Повсюду радость! как весной
Из улья мчится шумный рой,
Так в рощу близкую народ
Из Новагорода идет.
Пришли. Из ветвей и цветов
Видны венки на головах,
И звучно песни в честь богов
Уж раздались на берегах
Ильменя синего. Любовь
Под тенью липовых ветвей
Скрывается от глаз людей.
С досадою, нахмуря бровь,
На игры юношей глядеть
Старик не смеет. Седина
Ему не запрещает петь
Про Диди-Ладо. Вот луна
Явилась, будто шар златой,
Над рощей темной и густой;
Она была тиха, ясна,
Как сердце Леды в этот час...
Но отчего в четвертый раз
Князь Рурик, к липе прислонен,
С нее не сводит светлых глаз?
Какою думой занят он?
Зачем лишь этот хоровод
Его внимание влечет?..

Страшись, невинная душа!
Страшися! Пылкий этот взор,
Желаньем, страстию дыша,
Тебя погубит; и позор
Подавит голову твою;
Страшись, как гибели своей,
Чтобы не молвил он: «Люблю!»

Опасен яд его речей.
Нет сожаленья у князей:
Их ненависть, как их любовь,
Бедою вечною грозит;
Насытит первую лишь кровь,
Вторую лишь девичий стыд.

У закоптелого окна
Сидит волшебница одна
И ждет молоденькую дочь.
Но Леды нет. Как быть? Уж ночь;
Сияет в облаках луна!..
Толпа проходит за толпой
Перед окном. Недвижный взгляд
Старухи полон тишиной,
И беспокойства не горят
На ледяных ее чертах;
Но тайны чудной налегло
Клеймо на бледное чело,
И вид ее вселяет страх.
Она с луны не сводит глаз.
Бежит за часом скучный час!..

И вот у двери слышен стук,
И быстро Леда входит вдруг
И падает к ее ногам:
Власы катятся по плечам,
Испугом взор ее блестит,—
«Погибла! — дева говорит,—
Он вырвал у меня любовь;
Блаженства не найду я вновь...
Проклятье на него! злодей...
Наш князь!.. Мои мольбы, мой стон
Презрительно отвергнул он!
О! ты о мне хоть пожалей,
Мать! мать!.. убей меня!.. убей!..»

«Закон судьбы несокрушим;
Мы все ничтожны перед ним»,—
Старуха отвечает ей.
И встала бедная, и тих
Отчаянный казался взор,
И удалилась. И с тех пор
Не вылетал из уст младых
Печальный ропот иль укор.

Всегда с поникшей головой,
Стыдом томима и тоской,
На отуманенный Ильмень
Смотрела Леда целый день
С береговых высоких скал.
Никто ее не узнавал:
Надеждой не дышала грудь,
Улыбки гордой больше нет,
На щеки страшно и взглянуть:
Бледны, как утра первый свет.
Она увяла в цвете лет!..

С жестокой радостью детей
Смеются девушки над ней,
И мать сердито гонит прочь;
Она одна и день и ночь.
Так колос на поле пустом,
Забыт неопытным жнецом,
Стоит под бурей одинок,
И буря гнет мой колосок!..

И раз в туманный, серый день
Пропала дева. Ночи тень
Прошла; еще заря пришла —
Но что ж?.. заря не привела
Домой красавицу мою.
Никто не знал во всем краю,
Куда сокрылася она;
И смерть, как жизнь ее, темна!..

Жалели юноши об ней,
Проклятья тайные неслись
К властителю; ах! не нашлись
В их душах чувства прежних дней,
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть.
Но на земле еще была
Одна рука, чтоб отомстить,
И было сердце, где убить
Любви чужбина не могла!..

Пока надежды слабой свет
Не вовсе тучами одет,
Пока невольная слеза

Еще пытается глаза
Коварной влагой омочить,
Пока мы можем позабыть
Хоть вполовину, хоть на миг
Измены, страсти лет былых,
Как мы любили в те года,
Как сердце билося тогда,
Пока мы можем как-нибудь
От страшной цели отвернуть
Не вовсе углубленный ум,
Как много ядовитых дум
Боятся потревожить нас!
Но есть неизбежимый час...
И поздно или рано он
Разрушит жизни сладкий сон,
Завесу с прошлого стащит
И все в грядущем отравит;
Осветит бездну пустоты,
И нас (хоть будет тяжело)
Презреть заставит нам назло
Правдоподобные мечты;
И с этих пор иной обман
Душевных не излечит ран!
Высокий дуб, краса холмов,
Перед явлением снегов
Роняет лист, но вновь весной
Покрыт короной листовой,
И, зеленея в жаркий день,
Прохладную он стелет тень,
И буря вкруг него шумит,
Но великана не свалит;
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежею толпой
Он не оденется вовек...
Ему подобен человек!..

*

Светает — побелел восход
И озарил вершины гор,
И стал синеть безмолвный бор.
На зеркало недвижных вод
Ложится тень от берегов;

И над болотом, меж кустов,
Огни блудящие спешат
Укрыться от дневных огней;
И птицы озера шумят
Между приютных камышей.
Летит в пустыню черный вран,
И в чащу кроется теперь
С каким-то страхом дикий зверь.
Грядой волнистою туман
Встает между зубчатых скал,
Куда никто не проникал,
Где камни темной пеленой
Уныло кроет мох сырой!..

Взошла заря — зачем? зачем?
Она одно осветит всем:
Она осветит бездну тьмы,
Где гибнем невозвратно мы;
Потери новые людей
Она лукаво озарит,
И сердце каждое лишит
Всех удовольствий прежних дней,
И сожаленья не возьмет,
И вспоминанья не убьет!..

Два путника лесной тропой
Идут под утреннею мглой
К ущелиям славянских гор;
Заря их привлекает взор,
Играя меж ветвей густых
Берез и сосен вековых.
Один еще во цвете лет,
Другой, старик, и худ и сед.
На них одежды чуждых стран.
На младшем с стрелами колчан
И лук, и ржавчиной покрыт
Его шишак, и меч звенит
На нем, тяжелых мук бразды
И битв давнишние следы
Хранит его чело, но взгляд
И все движенья говорят,
Что не погас огонь святой
Под сей кольчугой боевой...
Их вид суров, и шаг их скор,
И полон грусти разговор:

«Прошу тебя, не уменьшай
Восторг души моей! Опять
Я здесь, опять родимый край
Сужден изгнанника принять;
Опять, как алая заря,
Надежда веселит меня;
И я увижу милый кров,
Где длился пир моих отцов,
Где я мечом играть любил,
Хоть меч был свыше детских сил.
Там вырос я, там защищал
Своих богов, свои права,
Там за свободу я бы пал,
Когда бы не твои слова.
Старик! где ж замыслы твои?
Ты зрел ли, как легли в крови
Сыны свободные славян
На берегу далеких стран?
Чужой народ нам не помог,
Он принял правду за предлог,
Гостей врагами почитал.
Старик! старик! кто б отгадал,
Что прах друзей моих уснет
В земле безвестной и чужой,
Что под небесной синевой
Один Вадим да Ингелот
На сердце будут сохранять
Старинной вольности любовь,
Что им одним лишь увидать
Дано свою отчизну вновь?..
Но что ж?.. быть может, наша весть
Не извлечет слезы из глаз,
Которые увидят нас,
Быть может, праведную месть
Судьба обманет в третий раз!..»
Так юный воин говорил,
И влажный взор его бродил
По диким соснам и камням
И по туманным небесам.
«Пусть так! — старик ему в ответ,—
Но через много, много лет
Все будет славиться Вадим;
И грозным именем твоим

Народы устрашат князей,
Как тенью вольности своей.
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он презрел счастье и любовь...
Дивись ему — и подражай!»
С улыбкой горькою боец
Спешил от старца отвернуть
Свои глаза: младую грудь
Печаль давила, как свинец;
Он вспомнил о любви своей,
Невольно сердце потряслось,
И все волнение страстей
Из бледных уст бы излилось,
Когда бы не боялся он,
Что вместо речи только стон
Молчанье возмутит кругом;
И он, поникнувши челом,
Шаги приметно ускорял
И спутнику не отвечал.

Идут — и видят вдруг курган
Сквозь синий утренний туман;
Шиповник и репей кругом,
И что-то белое на нем
Недвижимо в траве лежит.
И дикий коршун тут сидит,
Как дух лесов, на пне большом —
То отлетит, то подлетит;
И вдруг, приметив меж дерев
Вдали нежданных пришлецов,
Он приподнялся на ногах,
Махнул крылом и полетел
И, уменьшаясь в облаках,
Как лодка на море, чернел!..

На том холме в траве густой
Бездушный, хладный труп лежал,
Одетый белой пеленой;
Пустыни ветр ее срывал,
Кудрями длинными играл
И даже не боялся дуть
На эту девственную грудь,
Которая была белей,

Была нежней и холодней,
Чем снег зимы. Закрытый взгляд
Жестокой смертию объят,
И несравненная рука
Уж посинела и жестка...

И к мертвой подошел Вадим...
Но что за перемена с ним? —
Затрясся, побледнел, упал...
И раздался меж ближних скал
Какой-то длинный крик иль стон...
Похож был на последний он!
И кто бы крик сей услыхал,
Наверно б сам в себе сказал,
Что сердца лучшая струна
В минуту эту порвана!..
О! если бы одна любовь
В душе у витязя жила,
То он бы не очнулся вновь;
Но *месть* любовь превозмогла.
Он долго на земле лежал
И страшные слова шептал,
И только мог понять старик,
Что то родной его язык.
И, наконец, страдалец встал.
«Не все ль я вынес? — он сказал,—
О Ингелот! любил ли ты?
Взгляни на бледные черты
Умершей Леды... посмотри...
Скажи... иль нет! не говори...
Свершилось! я на месть иду,
Я в мире ничего не жду:
Здесь я нашел, здесь погубил
Все, что искал, все, что любил!..»
И меч спешит он обнажить
И начал им могилу рыть.
Старик невольно испустил
Тяжелый сожаленья вздох
И безнадежному помог.
Готов уж смерти тесный дом,
И дерн готов, и камень тут;
И бедной Леды труп кладут
В сырую яму... И потом
Ее засыпали землей,

И дерн покрыл ее сырой,
И камень положен над ним.
Без дум, без трепета, без слез
Последний долг свершил Вадим,
И этот день, как легкий дым,
Надежду и любовь унес.
Он стал на свете сирота.
Душа его была пуста.
Он сел на камень гробовой
И по челу провел рукой;
Но грусть — ужасный властелин:
С чела не сгладил он морщин!
Но сердце билося опять —
И он не мог его унять!..

«Девица! мир твоим костям! —
Промолвил тихо Ингелот,—
Одна лишь цель богами нам
Дана — и каждый к ней придет;
И жалок и безумец тот,
Кто ропщет на закон судьбы:
К чему? — мы все его рабы!»

И оба встали и пошли
И скрылись в голубой дали!..
. . . .

Горит на небе ясный день,
Бегут златые облака,
Синеет быстрая река,
И ровен, как стекло, Ильмень.
Из Новагорода народ,
Теснясь, на берег идет.
Там есть возвышенный курган;
На нем священный истукан,
Изображая бога битв,
Белеет издали. Предмет
Благодарений и молитв,
Стоит он здесь уж много лет;
Но лишь недавно князь пред ним
Склонен с почтением немым.
Толпой варягов окружен,
На жертву предлагает он
Добычу счастливой войны.

Песнь раздалася в честь богов;
И груды пышные даров
На холм святой положены!..

Рассыпались толпы людей;
Зажглися пни, и пир шумит,
И Рурик весело сидит
Между седых своих вождей!..
Но что за крик? откуда он?
Кто этот воин молодой?
Кто Рурика зовет на бой?
Кто для погибели рожден?..
В своем заржавом шишаке
Предстал Вадим — булат в руке,
Как змеи, кудри на плечах,
Отчаянье и месть в очах.
«Варяг! — сказал он,— выходи!
Свободное в моей груди
Трепещет сердце... испытай,
Сверши злодейство до конца;
Паденье одного бойца
Не может погубить мой край:
И так уж он у ног чужих,
Забыв победы дней былых!..
Новогородцы! обо мне
Не плачьте... я родной стране
И жизнь и счастие принес...
Не требует свобода слез!»

И он мечом своим взмахнул —
И меч как молния сверкнул;
И речь все души потрясла,
Но пробудить их не могла!..
Вскочил надменный буйный князь
И мрачно также вынул меч,
Известный в буре грозных сеч;
Вскочил — и битва началась.
Кипя, с оружием своим,
На князя кинулся Вадим;
Так над пучиной бурных вод
На легкий челн бежит волна —
И сразу лодку разобьет
Или сама раздроблена.

И долго билися они.
И долго ожиданья страх
Блестел у зрителей в глазах,—
Но витязя младого дни
Уж сочтены на небесах!..

Дружины радостно шумят,
И бросил князь довольный взгляд;
Над непреклонной головой
Удар спустился роковой.
Вадим на землю тихо пал,
Не посмотрел, не простонал.
Он пал в крови; и пал один —
Последний вольный славянин!

Когда росистой ночи мгла
На холмы темные легла,
Когда на небе чередой
Являлись звезды и луной
Сребрилась в озере струя,
Через туманные поля
Охотник поздний проходил
И вот что после говорил,
Сидя с женой, между друзей,
Перед лачугою своей:
«Мне чудилось, что за холмом,
Согнувшись человек стоял,
С трудом кого-то поднимал:
Власы белели над челом;
И, что-то на плеча взвалив,
Пошел — и показалось мне,
Что труп чернелся на спине
У старика. Поворотив
С своей дороги, при луне
Я видел: в недалекий лес
Спешил с своею ношей он
И наконец совсем исчез,
Как перед утром лживый сон!..»

Над озером видал ли ты,
Жилец простой окрестных сел,
Скалу огромной высоты,
У ног ее зеленый дол?

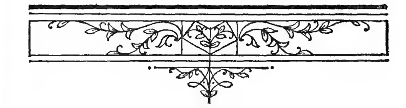
Уныло желтые цветы
Да можжевельника кусты,
Забыты ветрами, растут
В тени сырой. Два камня тут,
Увязши в землю, из травы
Являют серые главы:
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой.

*

A tale of the times of old!..
The dees of days of other years!.. [1]



[1] Сказание седых времен!..
Деянья прежних лет и дней!.. *(англ.)*



КАЛЛЫ[1]

Черкесская повесть

'T is the clime of the East: 't is the land of the Sun —
Can he smile on such deeds as his children have done?
Oh! wild as the accents of lovers' farewell
Are the hearts which they bear, and the tales which they tell.

«The Bride of Abydos». *Byron*[2]

I

«Теперь настал урочный час,
И тайну я тебе открою.
Мои советы — божий глас;
Клянись им следовать душою.
Узнай: ты чудом сохранен
От рук убийц окровавленных,
Чтоб неба оправдать закон
И отомстить за побежденных;
И не тебе принадлежат
Твои часы, твои мгновенья;
Ты на земле орудье мщенья,
Палач,— а жертва Акбулат!
Отец твой, мать твоя и брат,

---

[1] По-черкесски: убийца. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

[2] Вот край Востока: вот страна Солнца —
Может ли оно улыбаться деяниям своих детей?
О! неистовы, как возгласы любовников при расставании,
Сердца у них в груди и их рассказы.
«Абидосская невеста». *Байрон (англ.)*

От рук злодея погибая,
Молили небо об одном:
Чтоб хоть одна рука родная
За них разведалась с врагом!
Старайся быть суров и мрачен,
Забудь о жалости пустой;
На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.
За все минувшие злодейства
Из обреченного семейства
Ты никого не пощади;
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный — и поди!» —
Так говорил мулла жестокий,
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Он молод сердцем и годами,
Но, чуждый страха, он готов
Обычай дедов и отцов
Исполнить свято над врагами;
Он поклялся — своей рукой
Их погубить во тьме ночной.

II

Уж день погас. Угрюмо бродит
Аджи вкруг сакли... и давно
В горах все тихо и темно;
Луна, как желтое пятно,
Из тучки в тучку переходит,
И ветер свищет и гудёт.
Как призрак, юноша идет
Теперь к заветному порогу;
Кинжал из кожаных ножон
Уж вынимает понемногу...
И вдруг дыханье слышит он!
Аджи не долго рассуждает:
Врагу заснувшему он в грудь
Кинжал без промаха вонзает
И в ней спешит перевернуть.
Кому убийцей быть судьбина
Велит — тот будь им до конца;

Один погиб; но с кровью сына
Смешать он должен кровь отца.
Пред ним старик: власы седые!
Черты открытого лица
Спокойны, и усы большие
Уста закрыли бахромой!
И для молитвы сжаты руки!
Зачем ты взор потупил свой,
Аджи? Ты мщенья слышишь звуки!
Ты слышишь?.. то отец родной!
И с ложа, вниз, окровавленный,
Свалился медленно старик,
И стал ужасен бледный лик,
Лобзаньем смерти искаженный
Взглянул убийца молодой...
И жертвы ищет он другой!
Обшарил стены он, чуть дышит,
Но не встре <чает> ничего —
И только сердца своего
Биенье трепетное слышит.
Ужели все погибли? нет!
Ведь дочь была у Акбулата!
И ждет ее в семнадцать лет
Судьба отца и участь брата...
И вот луны дрожащий свет
Проникнул в саклю, озаряя
Два трупа на полу сыром
И ложе, где роскошным сном
Спала девица молодая.

III

Мила, как сонный херувим,
Перед убийцею своим
Она, раскинувшись небрежно,—
Лежала; только сон мятежный,
Волнуя девственную грудь,
Мешал свободно ей вздохнуть.
Однажды, полные томленья,
Открылись черные глаза,
И, тайный призрак упоенья,
Блистала ярко в них слеза;
Но испугавшись мрака ночи,
Мгновенно вновь закрылись очи...

Увы! их радость и любовь
И слезы не откроют вновь!
И он смотрел. И в думах тонет
Его душа. Проходит час.
Чей это сон? Кто так простонет,
И не последний в жизни раз?
Кто, услыхав такие звуки,
До гроба может их забыть?
О, как не трудно различить
От крика смерти — голос муки!

IV

Сидит мулла среди ковров,
Добытых в Персии счастливой;
В дыму табачных облаков
Кальян свой курит он лениво;
Вдруг слышен быстрый шум шагов,
В крови, с зловещими очами,
Аджи вбегает молодой;
В одной руке кинжал, в другой...
Зачем он с женскими власами
Пришел? И что тебе, мулла,
Подарок с женского чела?
«О, как верны мои удары! —
Ужасным голосом сказал
Аджи,— смотри! узнал ли, старый?» —
«Ну что же?» — «Вот что!» — и кинжал
В груди бесчувственной торчал...

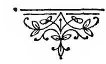
V

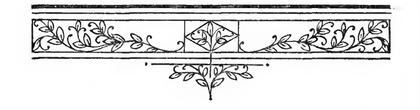
На вышине горы священной,
Вечерним солнцем озаренной,
Как одинокий часовой,
Белеет памятник простой:
Какой-то столбик округленный!
Чалмы подобие на нем;
Шиповник стелется кругом;
Оттуда синие пустыни
И гребни самых дальних гор —
Свободы вечные твердыни —
Пришельца открывает взор.
Забывши мир, и им забытый,
Рукою дружеской зарытый,

Под этим камнем спит мулла,
И вместе с ним его дела.
Другого любит без боязни
Его любимая жена,
И не боится тайной казни
От злобной ревности она!..

VI

И в это время слух промчался
(Гласит преданье), что в горах
Безвестный странник показался,
Опасный в мире и боях;
Как дикий зверь, людей чуждался;
И женщин он ласкать не мог!
<. . . . .>
Хранил он вечное молчанье,
Но не затем, чтоб подстрекнуть
Толпы болтливое вниманье;
И он лишь знает, почему
Каллы́ ужасное прозванье
В горах осталося ему,





АНГЕЛ СМЕРТИ

Восточная повесть

Посвящается А. М. В.

Тебе — тебе мой дар смиренный,
Мой труд безвестный и простой,
Но пламенный, но вдохновенный
Воспоминаньем и — тобой!

Я дни мои влачу, тоскуя
И в сердце образ твой храня,
Но об одном тебя прошу я:
Будь Ангел смерти для меня.

Явись мне в грозный час страданья,
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, в стране другой!

Златой Восток, страна чудес,
Страна любви и сладострастья,
Где блещет роза — дочь небес,
Где все обильно, кроме счастья;
Где чище катится река,
Вольнее мчатся облака,
Пышнее вечер догорает
И мир всю прелесть сохраняет
Тех дней, когда печатью зла
Душа людей, по воле рока,
Не обесславлена была,
Люблю тебя, страна Востока!

Кто знал тебя, тот забывал
Свою отчизну; кто видал
Твоих красавиц, не забудет
Надменный пламень их очей
И без сомненья верить будет
Печальной повести моей.

Есть Ангел смерти; в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья,
И страшен вид его для глаз
Бессильной жертвы; и невольно
Он заставляет трепетать,
И часто сердцу больно, больно
Последний вздох ему отдать.
Но прежде людям эти встречи
Казались — сладостный удел.
Он знал таинственные речи,
Он взором утешать умел,
И бурные смирял он страсти,
И было у него во власти
Больную душу как-нибудь
На миг надеждой обмануть!

Равно во все края вселенной
Являлся Ангел молодой;
На все, что только прах земной,
Глядел с презрением нетленный,
Его приход благословенный
Дышал небесной тишиной;
Лучами тихими блистая,
Как полуночная звезда,
Манил он смертных иногда,
И провожал он к дверям рая
Толпы освобожденных душ,
И сам был счастлив. Почему ж
Теперь томит его объятье,
И поцелуй его — проклятье?
. . . .

Недалеко от берегов
И волн ревущих океана,
Под жарким небом Индостана
Синеет длинный ряд холмов.

Последний холм высок и страшен,
Скалами серыми украшен
И вдался в море; и на нем
Орлы да коршуны гнездятся,
И рыбаки к нему боятся
Подъехать в сумраке ночном.
Прикрыта дикими кустами,
На нем пещера есть одна —
Жилище змей — хладна, темна,
Как ум, обманутый мечтами,
Как жизнь, которой цели нет,
Как недосказанный очами
Убийцы хитрого привет.
Ее лампада — месяц полный,
С ней говорят морские волны,
И у отверстия стоят
Сторожевые пальмы в ряд.

Давным-давно в ней жил изгнанник,
Пришелец, юный Зораим.
Он на земле был только странник,
Людьми и небом был гоним.
Он *мог* быть счастлив, но блаженства
Искал в забавах он пустых,
Искал он в людях совершенства,
А сам — сам не был лучше их;
Искал великого в ничтожном,
Страшась надеяться, жалел
О том, что было счастьем ложным,
И, став без пользы осторожным,
Поверить никому не смел.
Любил он ночь, свободу, горы,
И все в природе — и людей,—
Но избегал их. С ранних дней
К презренью приучил он взоры,
Но сердца пылкого не мог
Заставить так же охладиться:
Любовь насильства не боится,
Она — хоть презрена — все бог.
Одно сокровище, святыню
Имел под небесами он;
С ним раем почитал пустыню...
Но что ж? всегда ли верен сон?..

На гордых высотах Ливана
Растет могильный кипарис,
И ветви плюща обвились
Вокруг его прямого стана;
Пусть вихорь мчится и шумит
И сломит кипарис высокий,—
Вкруг кипариса плющ обвит:
Он не погибнет одиноко!..
Так, миру чуждый, Зораим
Не вовсе беден — Ада с ним!
Она резва, как лань степная,
Мила, как цвет душистый рая;
Все страстно в ней: и грудь, и стан,
Глаза — два солнца южных стран.
И деве было все забавой,
Покуда не явился ей
Изгнанник бледный, величавый,
С холодной дерзостью очей;
И ей пришло тогда желанье
Огонь в очах его родить
И в мертвом сердце возбудить
Любви безумное страданье,
И удалось ей, Зораим
Любил — с тех пор, как был любим;
Судьбина их соединила,
А разлучит — одна могила!

На синих небесах луна
С звездами дальными сияет,
Лучом в пещеру ударяет;
И беспокойная волна,
Ночной прохладою полна,
Утес, белея, обнимает.
Я помню — в этот самый час
Обыкновенно нежный глас,
Сопровождаемый игрою,
Звучал, теряясь за горою:
Он из пещеры выходил.
Какой же демон эти звуки
Волшебной властью усыпил?..

Почти без чувств, без дум, без сил,
Лежит на ложе смертной муки
Младая Ада. Ветерок

Не освежит ее ланиты,
И томный взор полуоткрытый
Напрасно смотрит на восток,
И утра ждет она напрасно:
Ей не видать зари прекрасной,
Она до утра будет там,
Где солнца уж не нужно нам.
У изголовья, пораженный
Боязнью тайной, Зораим
Стоит — коленопреклоненный,
Тоской отчаянья томим.
В руке изгнанника белеет
Девицы хладная рука,
И жизни жар ее не греет.
«Но смерть,— он мыслит,— не близка!
Рука — не жизнь; болезнь простая —
Все не кончина роковая!»
Так иногда надежды свет
Являет то, чего уж нет;
И нам хотя не остается
Для утешенья ничего,
Она над сердцем все смеется,
Не исчезая из него.

В то время смерти Ангел нежный
Летел чрез южный небосклон;
Вдруг слышит ропот он мятежный,
И плач любви — и слабый стон,
И, быстрый, как полет мгновенья,
К пещере подлетает он.
Тоску последнего мученья
Дух смерти усладить хотел
И на устах покорной Ады
Свой поцелуй напечатлел:
Он дать не мог другой отрады!
Или, быть может, Зораим
Еще замечен не был им...
Но скоро при огне лампады
Недвижный, мутный встретив взор,
Он в нем прочел себе укор;
И Ангел смерти сожаленье
В душе почувствовал святой.
Скажу ли? — даже в преступленье
Он обвинял себя порой.

Он отнял все у Зораима:
Одна была лишь им любима,
Его любовь была сильней
Всех дум и всех других страстей.
И он не плакал,— но понятно
По цвету бледному чела,
Что мука смерть превозмогла,
Хоть потерял он невозвратно.
И Ангел знал,— и как не знать?
Что безнадежности печать
В спокойном холоде молчанья,
Что легче плакать — чем страдать
Без всяких признаков страданья.

И Ангел мыслью поражен,
Достойною небес: желает
Вознаградить страдальца он.
Ужель создатель запрещает
Несчастных утешать людей?
И девы труп он оживляет
Душою ангельской своей.
И, чудо! кровь в груди остылой
Опять волнуется, кипит;
И взор, волшебной полон силой,
В тени ресниц ее горит.
Так Ангел смерти съединился
Со всем, чем только жизнь мила;
Но ум границам подчинился,
И власть — не та уж, как была,
И только в памяти туманной
Хранит он думы прежних лет;
Их появленье Аде странно,
Как ночью метеора свет,
И ей смешна ее беспечность,
И ей грядущее темно,
И чувства, вечные как вечность,
Соединились все в одно.
Желаньям друга посвятила
Она все радости свои,
Как будто смерть и не гасила
В невинном сердце жар любви!..

Однажды на скале прибрежной,
Внимая плеск волны морской,
Задумчив, рядом с Адой нежной,
Сидел изгнанник молодой.
Лучи вечерние златили
Широкий синий океан,
И видно было сквозь туман,
Как паруса вдали бродили.
Большие черные глаза
На друга дева устремляла,
Но в диком сердце бушевала,
Казалось, тайная гроза.
Порой рассеянные взгляды
На красный запад он кидал
И вдруг, взяв тихо руку Ады
И обратившись к ней, сказал:
«Нет! не могу в пустыне доле
Однообразно дни влачить;
Я волен — но душа в неволе:
Ей должно цепи раздробить...
Что жизнь? — давай мне чашу славы,
Хотя бы в ней был смертный яд,
Я не вздрогну — я выпить рад:
Не все ль блаженства — лишь отравы?
Когда-нибудь все должен я
Оставить ношу бытия...
Скажи, ужель одна могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
И мне покойну быть — о нет!..
Взгляни: за этими горами
С могучим войском под шатрами
Стоят два грозные царя;
И завтра, только что заря
Успеет в облаках проснуться,
Труба войны и звук мечей
В пустыне нашей раздадутся.
И к одному из тех царей
Идти как воин я решился.
Но ты не жди, чтоб возвратился
Я побежденным. Нет, скорей
Волна, гонимая волнами
По бесконечности морей,

В приют родимых камышей
Воротится. Но если с нами
Победа будет, я принесть
Клянусь тебе жемчуг и злато,
Себе одну оставлю честь...
И буду счастлив, и тогда-то
Мы заживем с тобой богато...
Я знаю: никогда любовь
Геройский меч не презирала,
Но если б даже ты желала...
Мой друг, я должен видеть кровь!
Верь: для меня ничто угрозы
Судьбы коварной и слепой.
Как? ты бледнеешь?.. слезы?.. слезы?
Об чем же плакать, ангел мой?»
И Ангел-дева отвечает:
«Видал ли ты, как отражает
Ручей склонившийся цветок?
Когда вода не шевелится,
Он неподвижно в ней глядится,
Но если свежий ветерок
Волну зеленую встревожит
И всколебается волна,
Ужели тень цветочка может
Не колебаться, как она?
Мою судьбу с твоей судьбою
Соединил так точно рок,
Волна — твой образ, мой — цветок,
Ты грустен,— я грустна с тобою!
Как знать? — быть может, этот час
Последний счастливый для нас!..»

Зачем в долине сокровенной
От миртов дышит аромат?
Зачем?.. Властители вселенной,
Природу люди осквернят.
Цветок измятый обагрится
Их кро́вью, и стрела промчится
На место птицы в небесах,
И солнце отуманит прах.
Крик победивших, стон сраженных
Принудят мирных соловьев
Искать в пределах отдаленных
Иных долин, других кустов.

Где красный день, как ночь, спокоен.
Где их царицу, их любовь,
Не стопчет розу мрачный воин
И обагрить не может кровь.

Чу!.. топот... пыль клубится тучей,
И вот звучит труба войны,
И первый свист стрелы летучей
Раздался с каждой стороны!
Новорожденное светило
С лазурной неба вышины
Кровавым блеском озарило
Доспехи ратные бойцов.
Меж тем войска еще сходились
Все ближе... ближе — и сразились;
И треску копий и щитов,
Казалось, сами удивились.
Но мщенье — царь в душах людей
И удивления сильней.

Была ужасна эта встреча,
Подобно встрече двух громов
В грозу меж дымных облаков.
С успехом равным длилась сеча,
И все теснилось. Кровь рекой
Лилась везде, мечи блистали,
Как тени знамена блуждали
Над каждой темною толпой,
И с криком смерти роковой
На трупы трупы упадали...
Но отступает наконец
Одна толпа; и побежденный
Уж не противится боец;
И по траве окровавленной
Скользит испуганный беглец.
Один лишь воин, окруженный
Враждебным войском, не хотел
Еще бежать. Из мертвых тел
Вокруг него была ограда...
И тут остался он один.
Он не был царь иль царский сын,
Хоть одарен был силой взгляда
И гордой важностью чела.
Но вдруг коварная стрела

Пронзила витязя младого,
И шумно навзничь он упал,
И кровь струилась... и ни слова
Он, упадая, не сказал,
Когда победный крик раздался,
Как погребальный крик, над ним
И мимо смелый враг промчался,
Огнем пылая боевым.

На битву издали взирая
С горы кремнистой и крутой,
Стояла Ада молодая
Одна, волнуема тоской,
Высоко перси подымая,
Боязнью сердце билось в ней,
Всечасно слезы набегали
На очи, полные печали...
О боже! — Для таких очей
Кто не пожертвовал бы славой?
Но Зораиму был милей
Девичьей ласки путь кровавый!
Безумец! ты цены не знал
Всему, всему, чем обладал,
Не ведал ты, что ангел нежный
Оставил рай свой безмятежный,
Чтоб сердце Ады оживить;
Что многих он лишил отрады
В последний миг, чтоб усладить
Твое страданье. Бедной Ады
Мольбу отвергнул хладно ты;
Возможно ль? ангел красоты
Тебе, изгнанник, не дороже
Надменной и пустой мечты?..
Она глядит и ждет... но что же?
Давно уж в поле тишина,
Враги умчались за врагами,
Лишь искаженными телами
Долина битвы устлана...
Увы! где ангел утешенья?
Где вестник рая молодой?
Он мучим страстию земной
И не услышит их моленья!..
Уж солнце низко — Ада ждет...
Все тихо вкруг... *он* все нейдет!..

Она спускается в долину
И видит страшную картину.
Идет меж трупов чуть дыша;
Как у невинного пред казнью,
Надеждой, смешанной с боязнью,
Ее волнуется душа.
Она предчувствовать страшится,
И с каждым шагом воротиться
Она желала б; но любовь
Превозмогла в ней ужас вновь;
Бледны ланиты девы милой,
На грудь склонилась голова...
И вот недвижна! Такова
Была б лилея над могилой!
Где Зораим? Что, если он
Убит? — но чей раздался стон?
Кто это раненный стрелою
У ног красавицы? Чей глас
Так сильно душу в ней потряс?
Он мертвых окружен грядою,
Но час кончины и над ним...
Кто ж он? — Свершилось! — Зораим.

«Ты здесь? теперь? — и ты ли, Ада?
О! твой приход мне не отрада!
Зачем? — Для ужасов войны
Твои глаза не созданы,
Смерть не должна быть их предметом;
Тебя излишняя любовь
Вела сюда — что пользы в этом?..
Лишь я хотел увидеть кровь
И вижу... и приход мгновенья,
Когда усну, без сновиденья.
Никто — я сам тому виной...
Я гибну! Первою звездой
Нам возвестит судьба разлуку.
Не бойся крови, дай мне руку:
Я виноват перед тобой...
Прости! Ты будешь сиротой,
Ты не найдешь родных, ни крова,
И даже... на груди другого
Не будешь счастлива опять:
Кто может дважды счастье знать?

Мой друг! к чему твои лобзанья
Теперь, столь полные огня?
Они не оживят меня
И увеличат лишь страданья,
Напомнив, как я счастлив был;
О, если б, если б я забыл,
Что в мире есть воспоминанья!
Я чувствую, к груди моей
Все ближе, ближе смертный холод.
О, кто б подумал? как я молод!
Как много я провел бы дней
С тобою, в тишине глубокой,
Под тенью пальм береговых,
Когда б сегодня рок жестокой
Не обманул надежд моих!..
Еще в стране моей родимой
Гадатель мудрый, всеми чтимый,
Мне предсказал, что час придет —
И громкий подвиг совершу я,
И глас молвы произнесет
Мое названье, торжествуя,
Но...» Тут, как арфы дальней звон,
Его слова невнятны стали,
Глаза всю яркость потеряли
И ослабел приметно он.

Страдальцу Ада не внимала,
Лишь молча крепко обнимала,
Забыв, что у нее уж нет
Чудесной власти прежних лет;
Что поцелуй ее бессильный,
Ничтожный, как ничтожный звук,
Не озаряет тьмы могильной,
Не облегчит последних мук.
Меж тем на своде отдаленном
Одна алмазная звезда
Явилась в блеске неизменном,
Чиста, прекрасна как всегда,
И мнилось: луч ее не знает,
Что́ на земле он озаряет:
Так он игриво нисходил
На жертву тленья и могил.
И Зораим хотел напрасно
Последним ласкам отвечать;

Все, все, что может он сказать,
Уныло, мрачно,— но не страстно!
Уж пламень слез ее не жжет
Ланиты хладные как лед,
Уж тихо каплет кровь из раны;
И с криком, точно дух ночной,
Над ослабевшей головой
Летает коршун, гость незваный.
И грустно юноша взглянул
На отдаленное светило,
Взглянул он в очи деве милой,
Привстал — и вздрогнул — и вздохнул —
И умер. С синими губами
И с побелевшими глазами,
Лик — прежде нежный — был страшней
Всего, что страшно для людей.

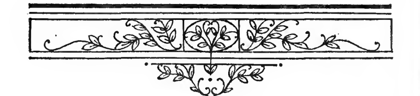
Чья тень прозрачной мглой одета,
Как заблудившийся луч света,
С земли возносится туда,
Где блещет первая звезда?
Венец играет серебристый
Над мирным, радостным челом,
И долго виден след огнистый
За нею в сумраке ночном...
То Ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный!..
Он тело девы бросил в прах:
Его отчизна в небесах.
Там все, что он любил земного,
Он встретит и полюбит снова!..

Все тот же он, и власть его
Не изменилась ничего;
Прошло печали в нем волненье,
Как улетает призрак сна,
И только хладное презренье
К земле оставила она;
За гибель *друга* в нем осталось
Желанье миру мстить всему;
И ненависть к другим, казалось,
Была любовию *к нему*.
Все тот же он — и бесконечность,
Как мысль, он может пролетать

И может взором измерять
Лета, века и даже вечность.
Но Ангел смерти молодой
Простился с прежней добротой;
Людей узнал он: «Состраданья
Они не могут заслужить;
Не награжденье — наказанье
Последний миг их должен быть.
Они коварны и жестоки,
Их добродетели — пороки,
И жизнь им в тягость с юных лет...»
Так думал он — зачем же нет?..

Его неизбежимой встречи
Боится каждый с этих пор;
Как меч — его пронзает взор;
Его приветственные речи
Тревожат нас, как злой укор,
И льда хладней его объятье,
И поцелуй его — проклятье!..





ИЗМАИЛ-БЕЙ

Восточная повесть

Опять явилось вдохновенье
Душе безжизненной моей
И превращает в песнопенье
Тоску, развалину страстей.
Так, посреди чужих степей,
Подруг внимательных не зная,
Прекрасный путник, птичка рая
Сидит на дереве сухом,
Блестя лазоревым крылом;
Пускай ревет, бушует вьюга...
Она поет лишь об одном,
Она поет о солнце юга!..

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

So moved on earth Circassia's daughter
The loveliest bird of Franguestan![1]

«The Giaour». *Byron*

1

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.—
И долго мне мечталось с этих пор
Все небо юга да утесы гор.

---

[1] Так шествовала по земле дочь Черкесии,
Прелестнейшая птица Франгистана!
«Гяур». *Байрон (англ.)*

Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья,— и луна
По синим сводам странствует одна.

2

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает, как цветы небес и рая...
В вечерний час дождливых облаков
Я наблюдал разодранный покров;
Лиловые, с багряными краями,
Одни еще грозят, и над скалами
Волшебный замок, чудо древних дней,
Растет в минуту; но еще скорей
Его рассеет ветра дуновенье!
Так прерывает резкий звук цепей
Преступного страдальца сновиденье,
Когда он зрит холмы своих полей...
Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие
И, проводивши день, теснятся в ряд,
Друг через друга светлые глядят
Так весело, так пышно и беспечно,
Как будто жить и нравиться им вечно!..

3

И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных;

Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

4

Темны преданья их. Старик чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека,
Повисший над извилистым путем,
Как будто бы удержанный аллою
На воздухе в падении своем,
Он весь оброс зеленою травою;
И не боясь, что камень упадет,
В его тени, храним от непогод,
Пленительней, чем голубые очи
У нежных дев ледяной полуночи,
Склоняясь в жар на длинный стебелек,
Растет воспоминания цветок!..
И под столетней мшистою скалою
Сидел чечен однажды предо мною;
Как серая скала, седой старик,
Задумавшись, главой своей поник...
Быть может, он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

5

Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный:
Пусть будет странен в нашем он краю,
Как слышал, так его передаю!
Я не хочу, незнаемый толпою,
Чтобы как тайна он погиб со мною;

Пускай ему не внемлют, до конца
Я доскажу! Кто с гордою душою
Родился, тот не требует венца;
Любовь и песни — вот вся жизнь певца;
Без них она пуста, бедна, уныла,
Как небеса без туч и без светила!..

6

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком[1] день встает,
А за крутым Бешту[2] садится,
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной;
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

7

Не все судьба голубит нас —
Всему свой день, всему свой час.
Однажды,— солнце закатилось,
Туман белел уж под горой,
Но в эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепеща, жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,
Садились молча на коней,
И заряжали пистолеты,

[1, 2] Две главные горы. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли!
Когда же день новорожденный
Заветный озарил курган,
И мокрый утренний туман
Рассеял ветер пробужденный,
Он обнажил подошвы гор,
Пустой аул, пустое поле,
Едва дымящийся костер
И свежий след колес — не боле.

8

Но что могло заставить их
Покинуть прах отцов своих
И добровольное изгнанье
Искать среди пустынь чужих?
Гнев Магомета? Прорицанье?
О нет! Примчалась как-то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что все громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть.
Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть — кинжал двойной;
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы»,—
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает,
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

9

Меж тем летят за годом годы,
Готовят мщение народы,
И пятый год уж настает,
А кровь джяуров не течет.
В необитаемой пустыне
Черкес бродящий отдохнул,
Построен новый был аул
(Его следов не видно ныне).
Старик и воин молодой
Кипят отвагой и враждой.
Уж Росламбек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал;
Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал;
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом:
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном.

10

В тот самый год, осенним днем,
Между Железной [1] и Змеиной [2],
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей, узкою долиной
Тихонько всадник проезжал.
Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

11

Еще небесное светило
Росистый луг не обсушило.
Со скал гранитных над путем
Склонился дикий виноградник,

[1, 2] Две горы, находящиеся рядом с Бешту. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник.
Но вот остановился он.
Как новой мыслью поражен,
Смущенный взгляд кругом обводит,
Чего-то, мнится, не находит;
То пустит он коня стремглав,
То остановит и, привстав
На стремена, дрожит, пылает.
Все пусто! Он с коня слезает,
К земле сырой главу склоняет
И слышит только шелест трав.
Все одичало, онемело.
Тоскою грудь его полна...
Скажу ль? За кровлю сакли белой,
За близкий топот табуна
Тогда он мир бы отдал целый!..

12

Кто ж этот путник? русский? нет.
На нем чекмень, простой бешмет.
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнем,
И шашка чуть звенит на нем;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле;
И как же горца на седле
Не различить мне с казаками?
Я не ошибся — он черкес!
Но смуглый цвет почти исчез —
С его ланит; снега и вьюга
И холод северных небес,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что он черкес!
Густые брови, взгляд орлиный,
Ресницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны;
Отвергнул он обряд чужбины,
Не сбрил бородки и усов,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов;

Он, сколько мог, привычек, правил
Своей отчизны не оставил...
Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен!
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос,
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..

13

Как наши юноши, он молод,
И хладен блеск его очей.
Поверхность темную морей
Так покрывает ранний холод
Корой ледяною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
В очах навеки догорев,
Таятся, как в пещере лев,
Глубоко в сердце; но их власти
Оно никак не избежит.
Пусть будет это сердце камень —
Их пробужденный адский пламень
И камень углем раскалит!

14

И все прошедшее явилось,
Как тень умершего, ему
Все с этих пор переменилось,
Бог весть и как и почему!
Он в поле выехал пустое,
Вдруг слышит выстрел — что такое?
Как будто на смех, звук один,
Жилец ущелий и стремнин,
Трикраты отзыв повторяет.
Кинжал свой путник вынимает,
И вот, с винтовкой без штыка
В кустах он видит казака;
Пред ним фазан окровавленный,
Росою с листьев окропленный,

Блистая радужным хвостом,
Лежал в траве пробит свинцом.
И ближе путник подъезжает
И чистым русским языком:
«Казак, скажи мне,— вопрошает,—
Давно ли пусто здесь кругом?»
«С тех пор, как русских устрашился
Неустрашимый твой народ!
В чужих горах от нас он скрылся.
Тому сегодня пятый год».

15

Казак умолк, но что с тобою,
Черкес? Зачем твоя рука
Подъята с шашкой роковою?
Прости улыбку казака!
Увы! свершилось наказанье...
В крови, без чувства, без дыханья,
Лежит насмешливый казак.
Черкес глядит на лик холодный,
В нем пробудился дух природный —
Он пощадить не мог никак,
Он удержать не мог удара.
Как в тучах зарево пожара,
Как лава Этны по полям,
Больной румянец по щекам
Его разлился; и блистали
Как лезвеё кровавой стали
Глаза его, и в этот миг
Душа и ад — все было в них.
Оборотясь, с улыбкой злобной
Черкес на север кинул взгляд;
Ничто, ничто смертельный яд
Перед улыбкою подобной!
Волною поднялася грудь,
Хотел он и не мог вздохнуть,
Холодный пот с чела крутого
Катился,— но из уст ни слова!

16

И вдруг очнулся он, вздрогнул,
К луке припал, коня толкнул.
Одно мгновенье на кургане
Он черной птицею мелькнул,

И скоро скрылся весь в тумане.
Чрез камни конь его несет,
Он не глядит и не боится;
Так быстро скачет только тот,
За кем раскаяние мчится!..

17

Куда черкес направил путь?
Где отдохнет младая грудь
И усмирится дум волненье?
Черкес не хочет отдохнуть —
Ужели отдыхает мщенье?
Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел —
Все уничтожил русский воин.
Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей
Векам грядущим в поученье
Он не воздвигнет мавзолей
И так отмстит за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю вас,— он шепчет,— знаю,
И вы узнаете меня;
Давно уж вас я презираю;
Но вашу кровь пролить желаю
Я только с нынешнего дня!»
Он бьет и дергает коня,
И конь летит, как ветер степи;
Надулись ноздри, блещет взор,
И уж в виду зубчаты цепи
Кремнистых бесконечных гор,
И Шат подъемлется за ними
С двумя главами снеговыми,
И путник мнит: «Недалеко,
В час прискачу я к ним легко!»

18

Пред ним, с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты;
Неверны, странны, как мечты,
То разойдутся — то сольются...

Уж час прошел, и двух уж нет!
Они над путником смеются,
Они едва меняют цвет!
Бледнеет путник от досады,
Конь непривычный устает;
Уж солнце к западу идет,
И больше в воздухе прохлады,
А все пустынные громады,
Хотя и выше и темней,
Еще загадка для очей.

19

Но вот его, подобно туче,
Встречает крайняя гора;
Пестрей восточного ковра
Холмы кругом, все выше, круче;
Покрытый пеной до ушей,
Здесь начал конь дышать вольней.
И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись.
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя
От сердца, мнилось, отлегло;
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренно гордился!
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один,
Забыл он жизни скоротечность,
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он все, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..

20

Краснеют сизые вершины,
Лучом зари освещены;
Давно расселины темны;
Катясь чрез узкие долины,

Туманы сонные легли,
И только топот лошадиный,
Звуча, теряется вдали.
Погас, бледнея, день осенний;
Свернув душистые листы,
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы;
И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною:
Так сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты после бою
Они на поле роковом),
В кустах найденная луною,
Блистает в сумраке ночном.

21

Уж поздно, путник одинокой
Оделся буркою широкой.
За дубом низким и густым
Дорога скрылась, ветер дует;
Конь спотыкается под ним,
Храпит, как будто гибель чует,
И встал!.. Дивится, слез седок
И видит пропасть пред собою,
А там, на дне ее, поток
Во мраке бешеной волною
Шумит. (Слыхал я этот шум,
В пустыне ветром разнесенный,
И много пробуждал он дум
В груди, тоской опустошенной.)
В недоуменье над скалой
Остался странник утомленный;
Вдруг видит он, в дали пустой
Трепещет огонек, и снова
Садится на коня лихого,
И через силу скачет конь
Туда, где светится огонь.

22

Не дух коварства и обмана
Манил трепещущим огнем,
Не очи злобного шайтана
Светилися в ущелье том:
Две сакли белые, простые,
Таятся мирно за холмом,
Чернеют крыши земляные,
С краев ряды травы густой
Висят зеленой бахромой,
А ветер осени сырой
Поет им песни неземные;
Широкий окружает двор
Из кольев и ветвей забор,
Уже нагнутый, обветшалый;
Все в мертвый сон погружено —
Одно лишь светится окно!..
Заржал черкеса конь усталый.
Ударил о землю ногой,
И отвечал ему другой...
Из сакли кто-то выбегает,
Идет — великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
«Кто здесь?» — «Я странник!» — был ответ
И больше спрашивать не хочет,
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный. Вкруг коня
Он сам заботится, хлопочет,
Он сам снимает весь прибор
И сам ведет его на двор.

23

Меж тем приветно в сакле дымной
Приезжий встречен стариком;
Сажая гостя пред огнем,
Он руку жмет гостеприимно.
Блистает по стенам кругом
Богатство горца: ружья, стрелы,
Кинжалы с набожным стихом,
В углу башлык убийцы белый
И плеть меж буркой и седлом.

Они заводят речь — о воле,
О прежних днях, о бранном поле;
Кипит, кипит беседа их,
И носятся в мечтах живых
Они к грядущему, к былому;
Проходит неприметно час —
Они сидят! и в первый раз,
Внимая странника рассказ,
Старик дивится молодому.

24

Он сам лезгинец; уж давно
(Так было небом суждено)
Не зрел отечества. Три сына
И дочь младая с ним живут.
При них молчит еще кручина,
И бедный мил ему приют.
Когда горят ночные звезды,
Тогда пускаются в разъезды
Его лихие сыновья:
Живет добычей вся семья!
Они повсюду страх приносят:
Украсть, отнять — им все равно;
Чихирь и мед кинжалом просят
И пулей платят за пшено,
Из табуна ли, из станицы
Любого уведут коня;
Они боятся только дня,
И их владеньям нет границы!
Сегодня дома лишь один
Его любимый старший сын.
Но слов хозяина не слышит
Пришелец! он почти не дышит,
Остановился быстрый взор,
Как в миг паденья метеор:
Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!

25

И кто б, ее увидев, молвил: нет!
Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами

В улыбке уст, в движенье черных глаз,
Все, что так дружно с первыми мечтами,
Все, что встречаем в жизни только раз,
Не отличит от красоты ничтожной,
От красоты земной, нередко ложной?
И кто, кто скажет, совесть заглуша:
Прелестный лик, но хладная душа!
Когда он вдруг увидит пред собою
То, что сперва почел бы он душою,
Освобожденной от земных цепей,
Слетевшей в мир, чтоб утешать людей!
Пусть, подойдя, лезгинку он узнает:
В ее чертах земная жизнь играет,
Восточная видна в ланитах кровь;
Но только удалится образ милый —
Он станет сомневаться в том, что было,
И заблужденью он поверит вновь!

26

Нежна — как пери молодая,
Создание земли и рая,
Мила — как нам в краю чужом
Меж звуков языка чужого
Знакомый звук, родных два слова!
Так утешительно мила,
Как древле узнику была
На сумрачном окне темницы
Простая песня вольной птицы,
Стояла Зара у огня!
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко;
В ее наряде простота —
Но также вкус! Ее головка
Платком прилежно обвита;
Из-под него до груди нежной
Две косы темные небрежно
Бегут; уж, верно, час она
Их расплетала, заплетала!
Она понравиться желала:
Как в этом женщина видна!

27

Рукой дрожащей, торопливой
Она поставила стыдливо
Смиренный ужин пред отцом
И улыбнулась; и потом
Уйти хотела; и не знала,
Идти ли? Грудь ее порой
Покров приметно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажет путник молодой.
Но он молчит, блуждают взоры:
Их привлекает лезвеё
Кинжала, ратные уборы;
Но взгляд последний на нее
Был устремлен! смутилась дева,
Но, не боясь отцова гнева,
Она осталась,— и опять
Решилась путнику внимать...
И что-то ум его тревожит;
Своих неконченых речей
Он оторвать от уст не может,
Смеется — но больших очей
Давно не обращает к ней;
Смеется, шутит он,— но хладный,
Печальный смех нейдет к нему.
Замолкнет он — ей вновь досадно,
Сама не знает почему.
Черкес ловил сначала жадно
Движенье глаз ее живых;
И наконец остановились
Глаза, которые резвились,
Ответа ждут, к нему склонились,
А он забыл, забыл о них!
Довольно! этого удара
Вторично дева не снесет:
Ему мешает, видно, Зара?
Она уйдет! Она уйдет!..

28

Кто много стра́нствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил страстей примету,

Кому известен их язык,
Кто рано брошен был судьбою
Меж образованных людей
И, как они, с своей рукою
Не отдавал души своей,—
Тот пылкой женщины пристрастье
Не почитает уж за счастье,
Тот с сердцем диким и простым
И с чувством некогда святым
Шутить боится. Он улыбкой
Слезу старается встречать,
Улыбке хладно отвечать;
Коль обласкает — так ошибкой!
Притворством вечным утомлен,
Уж и себе не верит он;
Душе высокой не довольно
Остатков юности своей.
Вообразить еще ей больно,
Что для огня нет пищи в ней.
Такие люди в жизни светской
Почти всегда причина зла,
Какой-то робостию детской
Их отзываются дела:
И обольстить они не смеют
И вовсе кинуть не умеют!
И часто думают они,
Что их излечит край далекой,
Пустыня, вид горы высокой
Иль тень долины одинокой,
Где юности промчались дни;
Но ожиданье их напрасно:
Душе все внешнее подвластно!

29

Уж милой Зары в сакле нет.
Черкес глядит ей долго вслед
И мыслит: «Нежное созданье!
Едва из детских вышла лет,
А есть уж слезы и желанья!
Бессильный, светлый луч зари,
На темной туче не гори:
На ней твой блеск лишь помрачится.
Ей ждать нельзя, она умчится!

30

Еще не знаешь ты, кто я.
Утешься! Нет, не мирной доле,
Но битвам, родине и воле
Обречена судьба моя.
Я б мог нежнейшею любовью
Тебя любить; но над тобой
Хранитель, верно, неземной:
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?
Тебя ли греть моим объятьям?
Тебя ли станут целовать
Уста, привыкшие к проклятьям?»
. . . .

31

Пора! Яснеет уж восток,
Черкес проснулся, в путь готовый.
На пепелище огонек
Еще синел. Старик суровый
Его раздул, пшено сварил,
Сказал, где лучшая дорога,
И сам до ветхого порога
Радушно гостя проводил.
И странник медленно выходит,
Печалью тайной угнетен;
О юной деве мыслит он.
И кто ж коня ему подводит?

32

Уныло Зара перед ним
Коня походного держала
И тихим голосом своим,
Подняв глаза к нему, сказала:
«Твой конь готов! моей рукой
Надета бранная уздечка,
И серебристой чешуей
Блестит кубанская насечка,
И бурку черную ремнем
Я привязала за седлом;
Мне это дело ведь не ново;

Любезный странник, все готово!
Твой конь прекрасен; не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком;
В нем дикость гордая видна,
И лоснится его спина,
Как камень, сглаженный потоком;
Как уголь, взор его блестит,
Лишь наклонись — он полетит;
Его я гладила, ласкала,
Чтобы тебя он, путник, спас
От вражей шашки и кинжала
В степи глухой, в недобрый час!

33

Но погоди в стальное стремя
Ступать поспешною ногой;
Послушай, странник молодой,
Как знать? быть может, будет время,
И ты на милой стороне
Случайно вспомнишь обо мне;
И если чаша пированья
Кипит, блестит в руке твоей,
То не ласкай воспоминанья,
Гони от сердца поскорей;
Но если эта мысль родится,
Но если образ мой приснится
Тебе в страдальческую ночь:
Услышь, услышь мое моленье!
Не презирай то сновиденье,
Не отгоняй те мысли прочь!

34

Приют наш мал, зато спокоен;
Его не тронет русский воин,—
И что им взять? — пять-шесть коней
Да наши грубые одежды?
Поверь ты скромности моей,
Откройся мне: куда надежды
Тебя коварные влекут?
Чего искать? — останься тут,
Останься с нами, добрый странник!

Я вижу ясно — ты изгнанник,
Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее язык.
Зачем спешишь к родному краю,
И что там ждет тебя? — не знаю.
Пусть мой отец твердит порой,
Что без малейшей укоризны
Должны мы жертвовать собой
Для непризнательной отчизны:
По мне отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам!

35

Еще туман белеет в поле,
Опасен ранний хлад вершин...
Хоть день один, хоть час один,
Послушай, час один, не боле,
Пробудь, жестокий, близ меня!
Я покормлю еще коня,
Моя рука его отвяжет,
Он отдохнет, напьется, ляжет,
А ты у сакли здесь, в тени,
Главу мне на руку склони;
Твоих речей услышать звуки
Еще желала б я хоть раз:
Не удержу ведь счастья час,
Не прогоню ведь час разлуки?..»
И Зара с трепетом в ответ
Ждала напрасно два-три слова;
Скрывать печали силы нет,
Слеза с ресниц упасть готова,
Увы! молчание храня,
Садится путник на коня.
Уж ехать он приготовлялся,
Но обернулся — испугался,
И, состраданьем увлечен,
Хотел ее утешить он:

36

«Не обвиняй меня так строго!
Скажи, чего ты хочешь? — слез?
Я их имел когда-то много:

Их мир из зависти унес!
Но не решусь судьбы мятежной
Я разделять с душою нежной;
Свободный, раб иль властелин,
Пускай погибну я один.
Все, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено;
Мое дыханье радость губит,
Щадить — мне власти не дано!
И не простого человека
(Хотя в одежде я простой),
Утешься! Зара! пред собой
Ты видишь брата Росламбека!
Я в жертву счастье должен принести...
О! не жалей о том! — прости, прости!..»

37

Сказал, махнул рукой, и звук подков
Раздался, в отдаленье умирая.
Едва дыша, без слез, без дум, без слов
Она стоит, бесчувственно внимая,
Как будто этот дальний звук подков
Всю будущность ее унес с собою.
О Зара, Зара! краткою мечтою
Ты дорожила; где ж твоя мечта?
Как очи полны, как душа пуста!
Одно мгновенье тяжелей другого,
Все, что прошло, ты оживляешь снова!..
По целым дням она глядит туда,
Где скрылася любви ее звезда,
Везде, везде она его находит:
В вечерних тучах милый образ бродит;
Услышав ночью топот, с ложа сна
Вскочив, дрожит и ждет его она,
И, постепенно ветром разносимый,
Все ближе, ближе топот — и все мимо!
Так метеор порой летит на нас,
И ждешь — и близок он — и вдруг погас!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

High minds, of native pride and force,
Most deeply feel thy pangs, Remorse!
Fear, for their scourge, mean villains have,
Thou art the torturer of the brave!

«Marmion». *S. Walter-Scott*[1]

1

Шумит Аргуна мутною волной;
Она коры не знает ледяной,
Цепей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снегов родится,
И там, где даже серна не промчится,
Дитя природы, с детской простотой,
Она, резвясь, играет и катится!
Порою, как согнутое стекло,
Меж длинных трав прозрачно и светло
По гладким камням в бездну ниспадая,
Теряется во мраке, и над ней
С прощальным воркованьем вьется стая
Пугливых сизых вольных голубей...
Зеленым можжевельником покрыты,
Над мрачной бездной гробовые плиты
Висят и ждут, когда замолкнет вой,
Чтобы упасть и все покрыть собой.
Напрасно ждут они! волна не дремлет.
Пусть темнота кругом ее объемлет,
Прорвет Аргуна землю где-нибудь
И снова полетит в далекий путь!

2

На берегу ее кипучих вод
Недавно новый изгнанный народ
Аул построил свой — и ждал мгновенье,
Когда свершить придуманное мщенье;

[1] Высокие души, по природной гордости и силе,
Глубже всех чувствуют твои угрызения, Совесть!
Страх, словно бич, повелевает низкой чернью,
Ты же — истязатель смелого!
«Мармион». *С<эр> Вальтер Скотт (англ.)*

Черкес готовил дерзостный набег,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной;
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы.

3

Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен;
Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться или с ним равняться;
Не должно мыслей открывать своих
Иль спрашивать у подданных совета.
И забывать, что лучше гор златых
Иному ласка и слова привета!
Старайся первым быть везде, всегда;
Не забывайся, будь в пирах умерен,
Не трогай суеверий никогда
И сам с толпой умей быть суеверен;
Страшись сначала много успевать,
Страшись народ к победам приучать,
Чтоб в слабости своей он признавался,
Чтоб каждый миг в спасителе нуждался,
Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем
И почитал нуждою — принужденья;
Умей отважно пользоваться всем
И не проси никак вознагражденья!
Народ — ребенок: он не хочет дать,
Не покушайся вырвать — но украдь!

4

У Росламбека брат когда-то был:
О нем жалеют шайки удалые;
Отцом в Россию послан Измаил,
И их надежду отняла Россия.
Четырнадцати лет оставил он
Края, где был воспитан и рожден,
Чтоб знать законы и права чужие!

Не под персидским шелковым ковром
Родился Измаил; не песнью нежной
Он усыплен был в сумраке ночном:
Его баюкал бури вой мятежный!
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!
В пещере темной, где гонимый братом,
Убийцею коварным, Бей-Булатом,
Его отец таился много лет,
Изгнанник новый, он увидел свет!

5

Как лишний меж людьми, своим рожденьем
Он душу не обрадовал ничью,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, преступленьем.
Он материнской ласки не знавал:
Не у груди, под буркою согретый,
Один провел младенческие леты;
И ветер колыбель его качал,
И месяц полуночи с ним играл!
Он вырос меж землей и небесами,
Не зная принужденья и забот;
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один лазурный свод;
И лишь орлы да скалы величавы
С ним разделяли юные забавы.
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою,
И бури юга отразились в ней
Со всей своей ужасной красотою!..
Но к русским послан он своим отцом,
И с той поры известья нет об нем...

6

Горой от солнца заслоненный,
Приют изгнанников смиренный,
Между кизиловых дерев
Аул рассыпан над рекою;
Стоит отдельно каждый кров,
В тени под дымной пеленою.

Здесь в летний день, в полдневный жар,
Когда с камней восходит пар,
Толпа детей в траве играет,
Черкес усталый отдыхает;
Меж тем сидит его жена
С работой в сакле одиноко,
И песню грустную она
Поет о родине далекой:
И облака родных небес
В мечтаньях видит уж черкес!
Там луг душистей, день светлее!
Роса перловая свежее;
Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушною тропой,
Там в первый раз, еще несмелый,
На лук накладывал он стрелы...

7

Дни мчатся. Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды; но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сиянье бродит!

8

Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.

На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден — он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И, живо, с дикой простотою,
Запел он песню старины.

9

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

*

Кто жениться захотел,
Тот худой избрал удел,
С русским в бой он не поскачет;
Отчего? — жена заплачет!
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

*

Не изменит добрый конь:
С ним — и в воду и в огонь;
Он как вихрь в степи широкой,
С ним — все близко, что далеко.
  Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
  На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

10

Откуда шум? Кто эти двое?
Толпа в молчанье раздалась.
Нахмуря бровь, подходит князь,
И рядом с ним лицо чужое.
Три узденя за ними вслед.
«Велик Алла и Магомет! —
Воскликнул князь— Сама могила
Покорна им! в стране чужой
Мой брат храним был их рукой:
Вы узнаете ль Измаила?
Между врагами он возрос,
Но не признал он их святыни,
И в наши синие пустыни
Одну лишь ненависть принес!»

11

И по долине восклицанья
Восторга дикого гремят;
Благословляя час свиданья,
Вкруг Измаила стар и млад
Теснятся, шепчут; поднимая
На плечи маленьких ребят,
Их жены смуглые, зевая,
На князя нового глядят.
Где ж Росламбек, кумир народа?
Где тот, кем славится свобода?
Один, забыт, перед огнем,
Поодаль, с пасмурным челом,
Стоял он, жертва злой досады.
Давно ли привлекал он сам
Все помышления, все взгляды?
Давно ли по его следам
Вся эта чернь, шумя, бежала?
Давно ль, дивясь его делам,
Их мать ребенку повторяла?
И что же вышло? — Измаил,
Врагов отечества служитель,
Всю эту славу погубил
Своим приездом? — и властитель,
Вчерашний гордый полубог,

Вниманья черни бестолковой
К себе привлечь уже не мог!
Ей все пленительно, что ново!
«Простынет!» — мыслит Росламбек.
Но если злобный человек
Узнал уж зависть, то не может
Совсем забыть ее никак;
Ее насмешливый призрак
И днем и ночью дух тревожит.

12

Война!.. Знакомый людям звук
С тех пор, как брат от братних рук
Пред алтарем погиб невинно...
Гремя, через Кавказ пустынный
Промчался клик: война! война!
И пробудились племена.
На смерть идут они охотно.
Умолк аул, где беззаботно
Недавно слушали певца;
Оружья звон, движенье стана:
Вот ныне песни молодца,
Вот удовольствия байрана!..
«Смотри, как всякий биться рад
За дело чести и свободы!..
Так точно было в наши годы,
Когда нас вел Ахмат-Булат!» —
С улыбкой гордою шептали
Между собою старики,
Когда дорогой наблюдали
Отважных юношей полки;
Пора! кипят они досадой:
Что русских нет? — им крови надо!

13

Зима проходит; облака
Светлей летят по дальним сводам,
В реке глядятся мимоходом;
Но с гордым бешенством река,
Крутясь, как змей, не отвечает
Улыбке неба своего

И белых путников его
Меж тем упорно обгоняет.
И ровны, прямы как стена,
По берегам темнеют горы;
Их крутизна, их вышина
Пленяют ум, пугают взоры.
К вершинам их прицеплена
Нагими красными корнями,
Кой-где кудрявая сосна
Стоит печальна и одна,
И часто мрачными мечтами
Тревожит сердце: так порой
Властитель, полубог земной,
На пышном троне, окруженный
Льстецов толпою униженной,
Грустит о том, что одному
На свете равных нет ему!

14

Завоевателю преграда
Положена в долине той;
Из камней и дерев громада
Аргуну давит под собой.
К аулу нет пути иного;
И мыслят горцы: «Враг лихой!
Тебе могила уж готова!»
Но прямо враг идет на них,
И блеск орудий громовых
Далеко сквозь туман играет.
И Росламбек совет сзывает;
Он говорит: «В тиши ночной
Мы нападем на их отряды,
Как упадают водопады
В долину сонную весной...
Погибнут молча наши гости,
И их разбросанные кости,
Добыча вранов и волков,
Сгниют, лишенные гробов.
Меж тем с боязнию лукавой
Начнем о мире договор
И втайне местию кровавой
Омоем долгий наш позор».

15

Согласны все на подвиг ратный,
Но не согласен Измаил.
Взмахнул он шашкою булатной,
И шумно с места он вскочил;
Окинул вмиг летучим взглядом
Он узденей, сидевших рядом,
И, опустивши свой булат,
Так отвечает брату брат:
«Я не разбойник потаенный;
Я видеть, видеть кровь люблю;
Хочу, чтоб мною пораженный
Знал руку грозную мою!
Как ты, я русских ненавижу,
И даже более, чем ты;
Но под покровом темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной стране,
Иную славу надо мне!..»
И поединка ожидали
Меж братьев молча уздени;
Не смели тронуться они.
Он вышел — все еще молчали!

16

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан;
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забыть меж небом и землей.
Здесь три столетья очарован,
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда надменный с новых скал
Стрелой пророку угрожал.
Как буркой, ельником покрыта,
Соседних гор она черней.
Тропинка желтая прорыта
Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохом, ни кустами
Не зарастает никогда;
Пестрея чудными следами,
Она ведет... бог весть куда?

Олень с ветвистыми рогами,
Между высокими цветами,
Одетый хмелем и плющом,
Лежит полуобъятый сном;
И вдруг знакомый лай он слышит
И чует близкого врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свежестью подышит,
Росу с могучих плеч стряхнет
И вдруг одним прыжком махнет
Через утес; и вот он мчится,
Тернов колючих не боится
И хмель коварный грудью рвет:
Но, вольный путь пересекая,
Пред ним тропинка роковая...
Никем не зримая рука
Царя лесов остановляет,
И он, как гибель ни близка,
Свой прежний путь не продолжает!..

17

Кто ж под ужасною горой
Зажег огонь сторожевой?
Треща, краснея и сверкая,
Кусты вокруг он озарил,
На камень голову склоняя,
Лежит поодаль Измаил:
Его приверженцы хотели
Идти за ним — но не посмели!

18

Вот что ему родной готовил край?
Сбылись мечты! увидел он свой рай,
Где мир так юн, природа так богата,
Но люди, люди... что природа им?
Едва успел обнять изгнанник брата,
Уж клевета и зависть — всё над ним!
Друзей улыбка, нежное свиданье,
За что б другой творца благодарил,
Все то ему дается в наказанье;
Но для терпенья ль создан Измаил?

Бывают люди: чувства — им страданья;
Причуда злой судьбы — их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами;
Так, древле, в море кинул царь алмаз,
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет;
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громовой.
Толпа дивится часто их уму,
Но чаще обвиняет, потому,
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

19

«Бессмысленный! зачем отвергнул ты
Слова любви, моленья красоты?
Зачем, когда так долго с ней сражался,
Своей судьбы ты детски испугался?
Все прежнее, незнаемый молвой,
Ты б мог забыть близ Зары молодой,
Забыть людей близ ангела в пустыне,
Ты б мог любить, но не хотел! — и ныне
Картины счастья живо пред тобой
Проходят укоряющей толпой;
Ты жмешь ей руку, грудь ее <и> плечи
Целуешь в упоенье; ласки, речи,
Исполненные счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь, образ милый,
Волшебный взор — все пред тобой, как было
Еще недавно; все мечты твои
Так вероятны, что душа боится,
Не веря им, вторично ошибиться!
А чем ты это счастье заменил?» —
Перед огнем так думал Измаил.
Вдруг выстрел, два и много! — он вскочил
И слушает, но все утихло снова.
И говорит он: «Это сон больного!»

20

Души волненьем утомлен,
Опять на землю князь ложится;
Трещит огонь, и дым клубится,—
И что же? — призрак видит он!
Перед огнем стоит спокоен,
На саблю опершись рукой,
В фуражке белой русский воин,
Печальный, бледный и худой.
Спросить хотелось Измаилу,
Зачем оставил он могилу!
И свет дрожащего огня,
Упав на смуглые ланиты,
Черкесу придал вид сердитый:
«Чего ты хочешь от меня?»
«Гостеприимства и защиты! —
Пришлец бесстрашно отвечал,—
Свой путь в горах я потерял,
Черкесы вслед за мной спешили
И казаков моих убили,
И верный конь под мною пал!
Спасти, убить врага ночного
Равно ты можешь! не боюсь
Я смерти: грудь моя готова.
Твоей я чести предаюсь!»
«Ты прав; на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся».

21

Тиха, прозрачна ночь была,
Светила на небе блистали,
Луна за облаком спала,
Но люди ей не подражали.
Перед огнем враги сидят,
Хранят молчанье и не спят.
Черты пришельца возбуждали
У князя новые мечты.
Они ему напоминали
Давно знакомые черты;
То не игра воображенья.
Он должен разрешить сомненья...

И так пришельцу говорил
Нетерпеливый Измаил:
«Ты молод, вижу я! за славой
Привыкнув гнаться, ты забыл,
Что славы нет в войне кровавой
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы и волю
И степь свою не отдадим
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?»

22

«Ты ошибаешься, черкес! —
С улыбкой русский отвечает.—
Поверь: меня, как вас, пленяет
И водопад и темный лес;
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,
И ваше племя я люблю:
Но одного я ненавижу!
Черкес он родом, не душой,
Ни в чем, ни в чем не схож с тобой!
Себе иль князю Измаилу
Клялся я здесь найти могилу...
К чему опять ты мрачный взор
Мохнатой шапкой закрываешь?
Твое молчанье мне укор;
Но выслушай, ты все узнаешь...
И сам досадой запылаешь...

23

Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил;
Но, образованный, меж нами
Родными бредил он полями,
И все черкес в нем виден был.

В пирах и битвах отличался
Он перед всеми! томный взгляд
Восточной негой отзывался:
Для наших женщин он был яд!
Воспламенив их воображенье,
Повелевал он без труда,
И за проступок наслажденье
Не почитал он никогда;
Не знаю — было то презренье
К законам стороны чужой
Или испорченные чувства!..
Любовью женщин, их тоской
Он веселился как игрой;
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.

24

Черкес! видал я здесь прекрасных
Свободы нежных дочерей,
Но не сравню их взоров страстных
С приветом северных очей.
Ты не любил! — ни слов опасных,
Ни уст волшебных не знавал;
Кудрями девы золотыми
Ты в упоенье не играл,
Ты клятвам страсти не внимал,
И не был ты обманут ими!
Но я любил! Судьба меня
Блестящей радугой манила,
Невольно к бездне подводила...
И ждал я счастливого дня!
Своей невестой дорогою
Я смел уж ангела назвать,
Невинным ласкам отвечать
И с райской девой забывать,
Что рая нет уж под луною.
И вдруг ударил страшный час,
Причина долголетней муки;
Призыв войны, отчизны глас,
Раздался вестником разлуки.
Как дым рассеялись мечты!
Тот день я буду помнить вечно...
Черкес! черкес! ни с кем, конечно,
Ни с кем не расставался ты!

25

В то время Измаил случайно
Невесту увидал мою,
И страстью запылал он тайно!
Меж тем как в дальнем я краю
Искал в боях конца иль славы,
Сластолюбивый и лукавый,
Он сердце девы молодой
Опутал сетью роковой.
Как он умел слезой притворной
К себе доверенность вселять!
Насмешкой — скромность побеждать
И, побеждая, вид покорный
Хранить; иль весь огонь страстей
Мгновенно открывать пред ней!
Он очертил волшебным кругом
Ее желанья; ведал он,
Что быть не мог ее супругом,
Что разделял их наш закон,
И обольщенная упала
На грудь убийцы своего!
Кроме любви, она не знала,
Она не знала ничего...

26

Но скоро скуку пресыщенья
Постиг виновный Измаил!
Таиться не было терпенья,
Когда погас минутный пыл.
Оставил жертву обольститель
И удалился в край родной,
Забыв, что есть на небе мститель,
А на земле еще другой!
Моя рука его отыщет
В толпе, в лесах, в степи пустой,
И казни грозный меч просвищет
Над непреклонной головой;
Пусть лик одежда изменяет:
Не взор — душа врага узнает!

27

Черкес, ты понял, вижу я,
Как справедлива месть моя!
Уж на устах твоих проклятья!

Ты, внемля, вздрагивал не раз...
О, если б мог пересказать я,
Изобразить ужасный час,
Когда прелестное созданье
Я в униженье увидал
И безотчетное страданье
В глазах увядших прочитал!
Она рассудок потеряла;
Рядилась, пела <и> плясала
Иль, сидя молча у окна,
По целым дням, как бы не зная,
Что изменил он ей, вздыхая,
Ждала изменника она.
Вся жизнь погибшей девы милой
Остановилась на былом;
Ее безумье даже было
Любовь к нему и мысль об нем...
Какой душе не знал он цену!..»
И долго русский говорил
Про месть, про счастье, про измену:
Его не слушал Измаил.
Лишь знает он да бог единый,
Что под спокойною личиной
Тогда происходило в нем.
Стеснив дыханье, вверх лицом
(Хоть сердце гордое и взгляды
Не ждали от небес отрады)
Лежал он на земле сырой,
Как та земля, и мрачный и немой!

28

Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные —
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Лишь дунет вихрь — и сломится лилея;
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он;

Но мощный ум, крепясь и каменея,
Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след:
Все в мире есть — забвенья только нет!

29

Светает. Горы снеговые
На небосклоне голубом
Зубцы подъемлют золотые;
Слилися с утренним лучом
Края волнистого тумана,
И на верху горы Шайтана
Огонь, стыдясь перед зарей,
Бледнеет — тихо приподнялся,
Как перед смертию больной,
Угрюмый князь с земли сырой.
Казалось, вспомнить он старался
Рассказ ужасный и желал
Себя уверить он, что спал;
Желал бы счесть он все мечтою...
И по челу провел рукою;
Но грусть — жестокий властелин!
С чела не сгладил он морщин.

30

Он встал, он хочет непременно
Пришельцу быть проводником.
Не зная думать что о нем,
Согласен юноша смущенный.
Идут они глухим путем,
Но их тревожит все: то птица
Из-под ноги у них вспорхнет,
То краснобокая лисица
В кусты цветущие нырнет.
Они все ниже, ниже сходят
И рук от сабель не отводят.
Через опасный переход
Спешат, нагнувшись, без оглядки;
И вновь на холм крутой взошли,
И цепью русские палатки,
Как на ночлеге журавли,
Белеют смутно уж вдали!
Тогда черкес остановился,

За руку путника схватил
И — кто бы, кто не удивился? —
По-русски с ним заговорил.

31

«Прощай! ты можешь безопасно
Теперь идти в шатры свои;
Но, если веришь мне, напрасно
Ты хочешь потопить в крови
Свою печаль! страшись, быть может,
Раскаянье прибавишь к ней.
Болезни этой не поможет
Ни кровь врага, ни речь друзей!
Напрасно здесь, в краю далеком,
Ты губишь прелесть юных дней;
Нет, не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри ж, он здесь перед тобой!»
И с видом гордого презренья
Ответа князь не ожидал;
Он скрылся меж уступов скал —
И долго русский без движенья
Один как вкопанный стоял.

32

Меж тем, перед горой Шайтаном
Расположась военным станом,
Толпа черкесов удалых
Сидела вкруг огней своих;
Они любили Измаила,
С ним вместе слава иль могила,
Им все равно! лишь только б с ним!
Но не могла б судьба одним
И нежным чувством меж собою
Сковать людей с умом простым
И с беспокойною душою:
Их всех обидел Росламбек!
(Таков повсюду человек.)

33

Сидят наездники беспечно,
Курят турецкий свой табак
И князя ждут они. «Конечно,
Когда исчезнет ночи мрак,
Он к нам сойдет; и взор орлиный
Смирит враждебные дружины,
И вздрогнут перед ним они,
Как Росламбек и уздени!» —
Так, песню воли напевая,
Шептала шайка удалая.

34

Безмолвно, грустно, в стороне,
Подняв глаза свои к луне,
Подруге дум любви мятежной,
Прекрасный юноша стоял,—
Цветок, для смерти слишком нежный!
Он также Измаила ждал,
Но не беспечно. Трепет тайный
Порывам сердца изменял,
И вздох тяжелый, не случайный,
Не раз из груди вылетал;
И он явился к Измаилу,
Чтоб разделить с ним — хоть могилу!
Увы! такая ли рука
В куски изрубит казака?
Такой ли взор, стыдливый, скромный,
Глядит на мир, чтоб видеть кровь?
Зачем он здесь, и ночью темной,
Лицом прелестный, как любовь,
Один в кругу черкесов праздных,
Жестоких, буйных, безобразных?
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,
Когда б... но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже
Хранит причину от людей
Своих надежд, своих страстей.
И тайна юного Селима,
Чуждаясь уст, ланит, очей,
От любопытных, как от змей,
В груди сокрылась невредима!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

She told nor whence, nor why she left behind
Her all for one who seem'd but little kind.
Why did she love him? Curious fol!! — be still —
Is human love the growth of human will?..

«Lara». *L. Byron*[1]

1

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и Запад и Восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!

2

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем вслед звучит кинжал,
Отпрянул русский — захрипел — и пал!
«Отмсти, товарищ!»— и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит — черкесской вольности костер!..

---

[1] Она не сказала, ни откуда она, ни почему оставила
Все ради того, кто не был, казалось, даже ласков с нею.
За что она любила его? Пытливый глупец! Молчи:
Разве по воле человека рождается человеческая любовь?..

«Лара», *Лорд Байрон (англ.)*

3

В ауле дальном Росламбек угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасом объят;
Но у него коварные есть думы,
Им помешать теперь не может брат.
Где ж Измаил?— безвестными горами
Блуждает он, дерется с казаками,
И, заманив полки их за собой,
Пустыню усыпает их костями,
И манит новых по дороге той.
За ним устали русские гоняться,
На крепости природные взбираться;
Но отдохнуть черкесы не дают;
То скроются, то снова нападут.
Они, как тень, как дымное виденье,
И далеко и близко в то ж мгновенье.

4

Но в бурях битв не думал Измаил
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей он мстил —
И не пленялся именем героя;
Он ведал цену почестей и слов,
Изобретенных только для глупцов!
Недолгий жар погас! душой усталый,
Его бы не желал он воскресить;
И не родной аул — родные скалы
Решился он от русских защитить!

5

Садится день, одетый мглою,
Как за прозрачной пеленою...
Ни ветра на земле, ни туч
На бледном своде! чуть приметно
Орла на вышине бесцветной;
Меж скал блуждая, желтый луч
В пещеру дикую прокрался
И гладкий череп озарил,
И сам на жителе могил
Перед кончиной разыгрался,
И по разбросанным костям,

Травой поросшим, здесь и там
Скользнул огнистой полосою,
Дивясь их вечному покою.
Но прежде встретил он двоих
Недвижных также, но живых...
И, как немые жертвы гроба,
Они беспечны были оба!

6

Один... так точно!— Измаил!
Безвестной думой угнетаем.
Он солнце тусклое следил,
Как мы нередко провождаем
Гостей докучливых; на нем
Черкесский панцирь и шелом,
И пятна крови омрачали
Местами блеск военной стали.
Младую голову Селим
Вождю склоняет на колени;
Он всюду следует за ним,
Хранительной подобно тени;
Никто ни ропота, ни пени
Не слышал на его устах...
Боится он или устанет,
На Измаила только взглянет —
И весел труд ему и страх!

7

Он спит — и длинные ресницы
Закрыли очи под собой;
В ланитах кровь, как у девицы,
Играет розовой струей;
И на кольчуге боевой
Ему не жестко. С сожаленьем
На эти нежные черты
Взирает витязь, и мечты
Его исполнены мученьем:
«Так светлой каплею роса,
Оставя край свой, небеса,
На лист увядший упадает;
Блистая райским жемчугом,
Она покоится на нем,

И, беззаботная, не знает,
Что скоро лист увядший тот
Пожнет коса иль конь сомнет!»

8

С полуоткрытыми устами,
Прохладой вечера дыша,
Он спит; но мирная душа
Взволнована! полусловами
Он с кем-то говорит во сне!
Услышал князь и удивился;
К устам Селима в тишине
Прилежным ухом он склонился:
Быть может, через этот сон
Его судьбу узнает он...
«Ты мог забыть?— любви не нужно
Одной лишь нежности наружной...
Оставь же!»— сонный говорил.
«Кого оставить?» — князь спросил.
Селим умолк, но на мгновенье;
Он продолжал: «К чему сомненье?
На всем лежит его презренье...
Увы! что значит перед ним
Простая дева иль Селим?
Так будет вечно между нами...
Зачем бесценными устами
Он это имя освятил?»
«Не я ль?»— подумал Измаил.
И, погодя, он слышит снова:
«Ужасно, боже! для детей
Проклятие отца родного,
Когда на склоне поздних дней
Оставлен ими... но страшней
Его слеза!..» Еще два слова
Селим сказал, и слабый стон
Вдруг поднял грудь, как стон прощанья,
И улетел. Из состраданья
Князь прерывает тяжкий сон.

9

И, вздрогнув, юноша проснулся,
Взглянул вокруг и улыбнулся,
Когда он ясно увидал,
Что на коленях друга спал.

Но, покрасневши, сновиденье
Пересказать стыдился он,
Как будто бы лукавый сон
Имел с судьбой его сношенье.
Не отвечая на вопрос
(Примета явная печали),
Щипал он листья диких роз,
И наконец две капли слез
В очах склоненных заблистали;
И с быстротой отворотясь,
Он слезы осушил рукою...
Все примечал, все видел князь;
Но не смутился он душою,
И приписал он простоте,
Затеям детским слезы те.
Конечно, сам давно не знал он
Печалей сладостных любви?
И сам давно не предавал он
Слезам страдания свои?

10

Не знаю!.. но в других он чувства
Судить отвык уж по своим.
Не раз личиною искусства,
Слезой и сердцем ледяным,
Когда обманов сам чуждался,
Обманут был он; и боялся
Он верить, только потому,
Что верил некогда всему!
И презирал он этот мир ничтожный
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль — все призрак
ложный,
Где память о добре и зле — все яд!
Где льстит нам зло, но более тревожит;
Где сердца утешать добро не может;
И где они, покорствуя страстям,
Раскаянье одно приносят нам...

11

Селим встает, на гору всходит.
Сребристый стелется ковыль
Вокруг пещеры; сумрак бродит
Вдали... вот топот! вот и пыль,
Желтея, поднялась в лощине!
И крик черкесов по заре
Гудит, теряяся в пустыне!
Селим все слышал на горе;
Стремглав в пещеру он вбегает:
«Они! они!» — он восклицает,
И князя нежною рукой
Влечет он быстро за собой.
Вот первый всадник показался,
Он, мнилось, из земли рождался,
Когда въезжал на холм крутой;
За ним другой, еще другой,
И вереницею тянулись
Они по узкому пути:
Там, если б два коня столкнулись,
Назад бы оба не вернулись
И не могли б вперед идти.

12

Толпа джигитов[1] удалая,
Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит. Но к ним подходит князь,
И все утихло! уваженье
В их выразительных чертах;
Но уважение — не страх;
Не власть его основа — мненье!
«Какие вести?» — «Русский стан
Пришел к Оссаевскому полю,
Им льстит и бедность наших стран!
Их много!» — «Кто не любит волю?»
Молчат. «Так дайте ж отдохнуть
Своим коням; с зарею в путь.
В бою мы рады лечь костями;

[1] Наездники. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

Чего <же> лучшего нам ждать?
Но в цвете жизни умирать...
Селим, ты не поедешь с нами!..»

13

Бледнеет юноша, и взор
Понятно выразил укор.
«Нет,— говорит он,— я повсюду,
В изгнанье, в битве спутник твой;
Нет, клятвы я не позабуду —
Угаснуть или жить с тобой!
Не робок я под свистом пули,
Ты видел это, Измаил;
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною был!
И с твоего чела не я ли
Смывал так часто пыль и кровь?
Когда друзья твои бежали,
Чьи речи, ласки прогоняли
Суровый мрак твоей печали?
Мои слова! моя любовь!
Возьми, возьми меня с собою!
Ты знаешь, я владеть стрелою
Могу... И что мне смерть? — о нет!
Красой и счастьем юных лет
Моя душа не дорожила;
Все, все оставлю, жизнь и свет,
Но не оставлю Измаила!»

14

Взглянул на небо молча князь,
И наконец, отворотясь,
Он протянул Селиму руку;
И крепко тот ее пожал
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знак сей обещал!
И долго витязь так стоял;
И под нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я мог бы этот блеск назвать,
Когда б не скрылся он опять!..

15

По косогору ходят кони;
Колчаны, ружья, седла, брони
В пещеру на ночь снесены:
Огни у входа зажжены;
На князе яркая кольчуга
Блестит, краснея; погружен
В мечтанье горестное он;
И от страстей, как от недуга,
Бежит спокойствие и сон.
И говорит Селим: «Наверно,
Тебя терзает дух пещерный!
Дай песню я тебе спою;
Нередко дева молодая
Ее поет в моем краю,
На битву друга отпуская!
Она печальна; но другой
Я не слыхал в стране родной.
Ее певала мать родная
Над колыбелию моей,
Ты, слушая, забудешь муки,
И на глаза навеют звуки
Все сновиденья детских дней!»
Селим запел, и ночь кругом внимает,
И песню ей пустыня повторяет.

ПЕСНЯ СЕЛИМА

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
И дева ему говорит:

«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Любви будь вернее!

Всегда награжден,
Кто любит до гроба,
Ни зависть, ни злоба
Ему не закон;
Пускай его смерть и погубит;
Один не погибнет, кто любит!

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют!»

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет!

«Прочь эту песню! — как безумный
Воскликнул князь,— зачем упрек?..
Тебя ль послушает пророк?..
Там, облит кровью, в битве шумной
Твои слова я заглушу
И разорву ее оковы...
И память в сердце удушу!..
Вставайте! — как? — вы не готовы?..
Прочь песни! — крови мне!.. пора!..
Друзья! коней!.. вы не слыхали...
Удары, топот, визг ядра,
И крик, и треск разбитой стали?..
Я слышал!.. О, не пой, не пой!
Тронь сердце, как дрожит, и что же?
Ты недовольна?.. боже! боже!..
Зачем казнить ее рукой?..»
Так речь его оторвалася
От бледных уст и пронеслася
Невнятно, как далекий гром.
Неровным, трепетным огнем
До половины освещенный,
Ужасен, с шашкой обнаженной
Стоял недвижим Измаил,
Как призрак злой, от сна могил
Волшебным словом пробужденный;

Он взор всей силой устремил
В пустую степь, грозил рукою,
Чему-то страшному грозил:
Иначе, как бы Измаил
Смутиться твердой мог душою?
И понял наконец Селим,
Что витязь говорил не с ним!
Неосторожный! он коснулся
Душевных струн,— и звук проснулся,
Расторгнув хладную тюрьму...
И сам искусству своему
Селим невольно ужаснулся!

16

Толпа садится на коней;
При свете гаснущих огней
Мелькают сумрачные лица.
Так опоздавшая станица
Пустынных белых журавлей
Вдруг поднимается с полей...
Смех, клики, ропот, стук и ржанье!
Все дышит буйством и войной!
Во всем приличия незнанье,
Отвага дерзости слепой.

17

Светлеет небо полосами;
Заря меж синими рядами
Ревнивых туч уж занялась.
Вдоль по лощине едет князь,
За ним черкесы цепью длинной.
Признаться: конь по седоку!
Бежит, и будто ветр пустынный,
Скользящий шумно по песку,
Крутится, вьется на скаку;
Он бел, как снег: во мраке ночи
Его заметить могут очи.
С колчаном звонким за спиной,
Отягощен своим нарядом,
Селим проворный едет рядом
На кобылице вороной.

Так белый облак, в полдень знойный,
Плывет отважно и спокойно,
И вдруг по тверди голубой
Отрывок тучи громовой,
Грозы дыханием гонимый,
Как черный лоскут мчится мимо;
Но как ни бейся, в вышине
Он с тем не станет наравне!

18

Уж близко роковое поле.
Кому-то пасть решит судьба?
Вдруг им послышалась стрельба;
И каждый миг все боле, боле,
И пушки голос громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнул князь, махнул рукою.
«Вперед! — воскликнул он,— за мною!»
Сказал и бросил повода.
Нет! так прекрасен никогда
Он не казался! Повелитель,
Герой по взорам и речам,
Летел к опасным он врагам,
Летел как ангел-истребитель;
И в этот миг, скажи, Селим,
Кто б не последовал за ним?

19

Меж тем с беспечною отвагой
Отряд могучих казаков
Гнался за малою ватагой
Неустрашимых удальцов;
Всю эту ночь они блуждали
Вкруг неприязненных шатров;
Их часовые увидали,
И пушка грянула по ним,
И казаки спешат навстречу!
Едва с отчаяньем немым
Они поддерживали сечу,
Стыдясь и в бегстве показать,
Что смерть их может испугать.

Их круг тесней уж становился;
Один под саблею свалился,
Другой, пробитый в грудь свинцом,
Был в поле унесен конем,
И, мертвый, на седле все бился!..
Оружье брось, надежды нет,
Черкес! читай свои молитвы!
В крови твой шелковый бешмет,
Тебе другой не видеть битвы!
Вдруг пыль! и крик! — он им знаком:
То крик родной, не бесполезный!
Глядят и видят: над холмом
Стоит их князь в броне железной!..

20

Недолго Измаил стоял:
Вздохнуть коню он только дал,
Взглянул, и ринулся, и смял
Врагов, и путь за ним кровавый
Меж их рядами виден стал!
Везде, налево и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадают;
Не видят блеск ее враги
И беззащитно умирают!
Как юный лев, разгорячась,
В средину их врубился князь;
Кругом свистят и реют пули;
Но что ж? его хранит пророк!
Шелом удары не согнули,
И худо метится стрелок.
За ним, погибель рассыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрез минуту шумный бой
Рассыпался в долине той...

21

Далеко от сраженья, меж кустов,
Питомец смелый трамских табунов,
Расседланный, хладея постепенно,
Лежал издохший конь; и перед ним,

Участием исполненный живым,
Стоял черкес, соратника лишенный;
Крестом сжав руки и кидая взгляд
Завистливый туда, на поле боя,
Он проклинать судьбу свою был рад,
Его печаль — была печаль героя!
И весь в поту, усталостью томим,
К нему в испуге подскакал Селим
(Он лук не напрягал еще, и стрелы
Все до одной в колчане были целы).

22

«Беда! — сказал он,— князя не видать!
Куда он скрылся?» — «Если хочешь знать,
Взгляни туда, где бранный дым краснее,
Где гуще пыль и смерти крик сильнее,
Где кровью облит мертвый и живой,
Где в бегстве нет надежды никакой:
Он там! — смотри: летит как с неба пламя;
Его шишак и конь — вот наше знамя!
Он там! — как дух, разит и невредим,
И все бежит иль падает пред ним!» —
Так отвечал Селиму сын природы —
А лесть была чужда степей свободы!..

23

Кто этот русский? с саблею в руке,
В фуражке белой? страха он не знает!
Он между всех отличен вдалеке,
И казаков примером ободряет;
Он ищет Измаила — и нашел,
И вынул пистолет свой, и навел,
И выстрелил! — напрасно! — обманулся
Его свинец! — но выстрел роковой
Услышал князь, и мигом обернулся,
И задрожал: «Ты вновь передо мной!
Свидетель бог: не я тому виной!..» —
Воскликнул он, и шашка зазвенела,
И, отделясь от трепетного тела,
Как зрелый плод от ветки молодой,
Скатилась голова: и конь ретивый,
Встав на дыбы, заржал, мотая гривой,

И скоро обезглавленный седок
Свалился на растоптанный песок.
Не долго это сердце увядало,
И мир ему! — в единый миг оно
Любить и ненавидеть перестало:
Не всем такое счастье суждено!

24

Все жарче бой; главы валятся
Под взмахом княжеской руки;
Спасая дни свои, теснятся,
Бегут в расстройстве казаки!
Как злые духи, горцы мчатся
С победным воем им вослед,
И никому пощады нет!
Но что ж? победа изменила!
Раздался вдруг нежданный гром,
Все в дыме скрылося густом,
И пред глазами Измаила
На землю с бешеных коней,
Кровавой грудою костей
Свалился ряд его друзей.
Как град посыпалась картеча;
Пальбу услышав издалеча,
Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки.
Навстречу гибельному строю
Один, с отчаянной душою,
Хотел пуститься Измаил;
Но за повод коня схватил
Черкес и в горы за собою,
Как ни противился седок,
Коня могучего увлек.
И ни малейшего движенья
Среди всеобщего смятенья
Не упустил младой Селим;
Он бегство князя примечает!
Удар судьба благословляет
И быстро следует за ним.
Не стыд — но горькая досада
Героя медленно грызет:
Жизнь побежденным не награда!
Он на друзей не кинул взгляда
И, мнится, их не узнает.

25

Чем реже нас балует счастье,
Тем слаще предаваться нам
Предположеньям и мечтам.
Родится ль тайное пристрастье
К другому миру, хоть и там
Судьбы приметно самовластье,
Мы всё свободнее дарим
Ему надежды и желанья;
И украшаем, как хотим,
Свои воздушные созданья!
Когда забота и печаль
Покой душевный возмущают,
Мы забываем свет, и вдаль
Душа и мысли улетают,
И ловят сны, в которых нет
Следов и теней прежних лет.
Но ум, сомненьем охлажденный
И спорить с роком приученный,
Не усладить, не позабыть
Свои страдания желает;
И если иногда мечтает,
То он мечтает победить!
И, зная собственную силу,
Пока не сбросит прах в могилу,
Он не оставит гордых дум...
Такой непобедимый ум
Природой дан был Измаилу!

26

Он ранен, кровь его течет;
А он не чувствует, не слышит;
В опасный путь его несет
Ретивый конь, храпит и пышет!
Один Селим не отстает.
За гриву ухватясь руками,
Едва сидит он на седле;
Боязни бледность на челе;
Он очи, полные слезами,
Порой кидает на того,
Кто всё на свете для него,
Кому надежду жизни милой

Готов он в жертву принести,
И чье последнее «прости»
Его бы с жизнью разлучило!
Будь перед миром он злодей,
Что для любви слова людей?
Что ей небес определенье?
Нет! охладить любовь гоненье
Еще ни разу не могло;
Она сама свое добро и зло!

27

Умолк докучный крик погони;
Дымясь и в пене скачут кони
Между провалом и горой,
Кремнистой, тесною тропой;
Они дорогу знают сами
И презирают седока,
И бесполезная рука
Уж не владеет поводами.
Направо темные кусты
Висят, за шапки задевая,
И с неприступной высоты
На новых путников взирая,
Чернеет серна молодая;
Налево — пропасть; по краям
Ряд красных камней, здесь и там
Всегда обрушиться готовый.
Никем не ведомый поток
Внизу, свиреп и одинок,
Как тигр Америки суровой,
Бежит гремучею волной;
То блещет бахромой перловой,
То изумрудною каймой;
Как две семьи — враждебный гений,
Два гребня разделяет он.
Вдали на синий небосклон
Нагих, бесплодных гор ступени
Ведут желание и взгляд
Сквозь облака, которых тени
По ним мелькают и спешат;
Сменяя в зависти друг друга,
Они бегут вперед, назад.
И мнится, что под солнцем юга
В них страсти южные кипят!

28

Уж полдень. Измаил слабеет;
Пылает солнце высоко.
Но есть надежда! дым синеет,
Родной аул недалеко...
Там, где, кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом.
Оттуда кровы земляные,
Мечеть, белеющий забор,
Аргуны воды голубые,
Как под ногами, встретит взор!
Достигнут поворот желанный;
Вот и венец горы туманной;
Вот слышен речки рев глухой;
И белый конь сильней рванулся...
Но вдруг переднею ногой
Он оступился, спотыкнулся
И на скаку, между камней,
Упал всей тягостью своей.

29

И всадник, кровью истекая,
Лежал без чувства на земле;
В устах недвижность гробовая,
И бледность муки на челе;
Казалось, час его кончины
Ждал знак условный в небесах,
Чтобы слететь, и в миг единый
Из человека сделать — прах!
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
Нет! нет! ведь здесь еще Селим.
Склонясь в отчаянье над ним,
Как в бурю ива молодая
Над падшим гнется алтарем,
Снимал он панцирь и шелом;
Но сердце к сердцу прижимая,
Не слышит жизни ни в одном!

И если б страшное мгновенье
Все мысли не убило в нем,
Судиться стал бы он с творцом
И проклинал бы провиденье!..

30

Встает, глядит кругом Селим:
Все неподвижно перед ним!
Зовет — и тучка дождевая
Летит на зов его одна,
По ветру крылья простирая,
Как смерть, темна и холодна.
Вот наконец сырым покровом
Одела путников она,
И юноша в испуге новом!
Прижавшись к другу с быстротой:
«О, пощади его!.. постой! —
Воскликнул он,— я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю так страстно,
Кого слабей нельзя любить!
Ступай! Ищи других по свету...
Все жертвы бога твоего!
Ужель меня несчастней нету?
И нет виновнее его?»

31

Меж тем, подобно дымной тени,
Хотя не понял он молений,
Угрюмый облак пролетел.
Когда ж Селим взглянуть посмел,
Он был далеко! Освеженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся бледный Измаил,
Вздохнул, потом глаза открыл.
Он слаб: другую ищет руку
Его дрожащая рука;
И каждому внимая звуку,
Он пьет дыханье ветерка,
И все, что близко, отдаленно,
Пред ним яснеет постепенно...
Где ж друг последний? Где Селим?
Глядит — и что же перед ним?

Глядит — уста оледенели,
И мысли зреньем овладели...
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!

32

Селим... и кто теперь не отгадает?
На нем мохнатой шапки больше нет,
Раскрылась грудь; на шелковый бешмет
Волна кудрей, чернея, ниспадает,
В печали женщин лучший их убор!
Молитва стихла на устах!.. а взор...
О небо! небо! есть ли в кущах рая
Глаза, где слезы, робость и печаль
Оставить страшно, уничтожить жаль?
Скажи мне, есть ли Зара молодая
Меж дев твоих? и плачет ли она,
И любит ли? но понял я молчанье!
Не встретить мне подобное созданье:
На небе неуместно подражанье,
А Зара на земле была одна.

33

Узнал, узнал он образ позабытый
Среди душевных бурь и бурь войны;
Поцеловал он нежные ланиты —
И краски жизни им возвращены.
Она чело на грудь ему склонила,
Смущают Зару ласки Измаила,
Но сердцу как ума не соблазнить?
И как любви стыда не победить?
Их речи — пламень! вечная пустыня
Восторгом и блаженством их полна.
Любовь для неба и земли святыня,
И только для людей порок она!
Во всей природе дышит сладострастье;
И только люди покупают счастье!

*

Прошло два года, все кипит война.
Бесплодного Кавказа племена
Питаются разбоем и обманом,

И в знойный день и под ночным туманом
Отважность их для русского страшна.
Казалося, двух братьев помирила
Слепая месть и к родине любовь;
Везде, где враг бежит и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селим
Теперь уже не следуют за ним?
Куда лезгинка нежная сокрылась?
Какой удар ту грудь оледенил,
Где для любви такое сердце билось.
Каким владеть он не достоин был?
Измена ли причина их разлуки?
Жива ль она, иль спит последним сном?
Родные ль в гроб ее сложили руки?
Последнее «прости» с слезами муки
Сказали ль ей на языке родном?
И если смерть щадит ее поныне —
Между каких людей, в какой пустыне?
Кто б Измаила смел спросить о том?

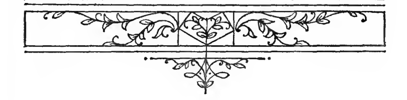
Однажды, в час, когда лучи заката
По облакам кидали искры злата,
Задумчив на кургане Измаил
Сидел: еще ребенком он любил
Природы дикой пышные картины,
Разлив зари и льдистые вершины,
Блестящие на небе голубом;
Не изменилось только это в нем!
Четыре горца близ него стояли
И мысли по лицу узнать желали;
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска,— но нет страстей?
О чем бы он ни думал,— Запад дальный
Не привлекал мечты его печальной;
Другие вспоминанья и другой,
Другой предмет владел его душой.

Но что за выстрел? — дым взвился белея.
Верна рука, и верен глаз злодея!
С свинцом в груди, простертый на земле,
С печатью смерти на крутом челе,
Друзьями окружен, любимец брани
Лежал, навеки нем для их призваний!

Последний луч зари еще играл
На пасмурных чертах и придавал
Его лицу румянец; и казалось,
Что в нем от жизни что-то оставалось,
Что мысль, которой угнетен был ум,
Последняя его тяжелых дум,
Когда душа отторгнулась от тела,
Его лица оставить не успела!
Небесный суд да будет над тобой,
Жестокий брат, завистник вероломный!
Ты сам наметил выстрел роковой,
Ты не нашел в горах руки наемной!

Гремучий ключ катился невдали.
К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою;
И грудь обмыть они уже хотят...
Но почему их омрачился взгляд?
Чего они так явно ужаснулись?
Зачем, вскочив, так хладно отвернулись?
Зачем? — какой-то локон золотой
(Конечно, талисман земли чужой),
Под грубою одеждою измятой,
И белый крест на ленте полосатой
Блистали на груди у мертвеца!..
«И кто бы отгадал? Джяур проклятый!
Нет, ты не стоил лучшего конца;
Нет, мусульманин, верный Измаилу,
Отступнику не выроет могилу!
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть, не оплакан, он сгниет бесславно,
Пусть кончит жизнь, как начал — одинок».





ЛИТВИНКА

Повесть

1

Чей старый терем на горе крутой
Рисуется с зубчатою стеной?
Бессменный царь синеющих полей,
Кого хранит он твердостью своей?
Кто темным сводам поверять привык
Молитвы шепот и веселья клик?
Его владельца назову я вам:
Под именем Арсения друзьям
И недругам своим он был знаком
И не мечтал об имени другом.
Его права оспоривать не смел
Еще никто; он больше не хотел!
Не ведал он владыки и суда,
Не посещал соседей никогда;
Богатый в мире, славный на войне,
Когда к нему являлися оне,—
Он убегал доверчивых бесед,
Презрением дышал его привет;
Он даже лаской гостя унижал,
Хотя, быть может, сам того не знал;
Не потому ль, что слишком рано он
Повелевать толпе был приучен?

2

На ложе наслажденья и в бою
Провел Арсений молодость свою.
Когда звучал удар его меча
И красная являлась епанча,

Бежал татарин, и бежал литвин;
И часто стоил войска он один!
Вся в ранах грудь отважного была;
И посреди морщин его чела,
Приличнейший наряд для всяких лет,
Краснел рубец, литовской сабли след!

3

И возвратясь домой с полей войны,
Он не прижал к устам уста жены,
Он не привез парчи ей дорогой,
Отбитой у татарки кочевой;
И даже для подарка не сберег
Ни жемчугов, ни золотых серег.
И возвратясь в забытый старый дом,
Он не спросил о сыне молодом;
О подвигах своих в чужой стране
Он не хотел рассказывать жене;
И в час свиданья радости слеза
Хоть озарила нежные глаза,
Но прежде чем упасть она могла —
Страдания слезою уж была.
Он изменил ей! Что святой обряд
Тому, кто ищет лишь земных наград?
Как путники небесны, облака,
Свободно сердце, и любовь легка...

4

Два дня прошло,— и юная жена
Исчезла; и старуха лишь одна
Изгнанья разделить решилась с ней
В монастыре, далеко от людей
(И потому не ближе к небесам).
Их жизнь — одна молитва будет там!
Но женщины обманутой душа,
Для света умертвясь и им дыша,
Могла ль забыть того, кто столько лет
Один был для нее и жизнь и свет?
Он изменил! увы! но потому
Ужель ей должно изменить ему?
Печаль несчастной жертвы и закон,
Все презирал для новой страсти он,

Для пленницы, литвинки молодой,
Для гордой девы из земли чужой.
В угодность ей, за пару сладких слов
Из хитрых уст, Арсений был готов
На жертву принести жену, детей,
Отчизну, душу, все — в угодность ей!

5

Светило дня, краснея сквозь туман,
Садится горделиво за курган,
И, отделив ряды дождливых туч,
Вдоль по земле скользит прощальный луч
Так сладостно, так тихо и светло,
Как будто мира мрачное чело
Его любви достойно! Наконец
Оставил он долину и, венец
Горы высокой, терем озарил
И пламень свой негреющий разлил
По стеклам расписным светлицы той,
Где так недавно с радостью живой,
Облокотясь на столик, у окна,
Ждала супруга верная жена;
Где с детскою досадой сын ее
Чуть поднимал отцовское копье;
Теперь... где сын и мать? На месте их
Сидит литвинка, дочь степей чужих.
Безмолвная подруга лучших дней,
Расстроенная лютня перед ней;
И по струне оборванной скользя,
Блестит зари последняя струя.
Устала Клара от душевных бурь...
И очи голубые, как лазурь,
Она сидит, на запад устремив;
Но не зари пленял ее разлив:
Там родина! Певец и воин там
Не раз к ее склонялися ногам!
Там вольны девы! Там никто бы ей
Не смел сказать: хочу любви твоей!..

6

Она должна с покорностью немой
Любить того, кто грозною войной
Опустошил поля ее отцов;

Она должна приветы нежных слов
Затверживать и ненависть, тоску
Учить любви святому языку;
Младую грудь к волненью принуждать
И страстью небывалой объяснять
Летучий вздох и влажный пламень глаз;
Она должна... но мщенью будет час!

7

Вечерний пир готов; рабы шумят.
В покоях пышных блещет свет лампад;
В серебряном ковше кипит вино;
К его парам привыкнувший давно,
Арсений пьет янтарную струю,
Чтоб этим совесть потопить свою!
И пленница, его встречая взор,
Читает в нем к веселью приговор,
И ложная улыбка, громкий смех,
Кроме ее, обманывают всех.
И веря той улыбке, восхищен
Арсений; и литвинку обнял он;
И кудри золотых ее волос,
Нежнее шелка и душистей роз,
Скатилися прозрачной пеленой
На грубый лик, отмеченный войной.
Лукаво посмотрев, принявши вид
Невольной грусти, Клара говорит:
«Ты любишь ли меня?» —«Какой вопрос? —
Воскликнул он.— Кто ж больше перенес
И для тебя так много погубил,
Как я? — и твой Арсений не любил?
И,— человек,— я б мог обнять тебя,
Не трепеща душою, не любя?
О, шутками меня не искушай!
Мой ад среди людских забот — мой рай
У ног твоих! — и если я не тут,
И если рук моих твои не жмут,
Дворец и плаха для меня равны,
Досадой дни мои отравлены!
Я непорочен у груди твоей:
Суров и дик между других людей!
Тебе в колена голову склонив,
Я, как дитя, беспечен и счастлив,

И теплое дыханье уст твоих
Приятней мне курений дорогих!
Ты рождена, чтобы повелевать:
Моя любовь то может доказать.
Пусть я твой раб — но лишь не раб судьбы!
Достойны ли тебя ее рабы?
Поверь, когда б меня не создал бог,
Он ниспослать бы в мир тебя не мог».

8

«О, если б точно ты любил меня! —
Сказала Клара, голову склоня,—
Я не жила бы в тереме твоем.
Ты говоришь: он мой! — а что мне в нем?
Богатством дивным, гордой высотой
Очам он мил,— но сердцу он чужой.
Здесь в роще воды чистые текут —
Но речку ту не Вилией зовут;
И ветер, здесь колеблющий траву,
Мне не приносит песни про Литву!
Нет! русский, я не верую любви!
Без милой воли что́ дары твои?»
И отвернулась Клара, и укор
Изобразил презренья хладный взор.
Недвижим был Арсений близ нее,
И, кроме воли, отдал бы он все,
Чтоб получить один, один лишь взгляд
Из тех, которых все блаженство — яд.

9

Но что за гость является ночной?
Стучит в ворота сильною рукой,
И сторож, быстро пробудясь от сна,
Кричит: «Кто там?» — «Впустите! ночь темна!
В долине буря свищет и ревет,
Как дикий зверь, и тмит небесный свод;
Впустите обогреться хоть на час,
А завтра, завтра мы оставим вас,
Но никогда в молениях своих
Гостеприимный кров степей чужих
Мы не забудем!» Страж не отвечал;

Но ключ в замке упрямом завизжал,
Об доски тяжкий загремел затвор,
Расхлопнулись ворота — и на двор
Два странника въезжают. Фонарем
Озарены, идут в господский дом.
Широкий плащ на каждом, и порой
Звенит и блещет что-то под полой.

10

Арсений приглашает их за стол
И с ними речь приветную завел;
Но странники, хоть им владелец рад,
Не много пьют и меньше говорят.
Один из них еще во цвете лет,
Другой, согбенный жизнью, худ и сед,
И по речам заметно, что привык
Употреблять не русский он язык.
И младший гость по виду был смелей:
Он не сводил пронзительных очей
С литвинки молодой, и взор его
Для многих бы не значил ничего...
Но видно, ей когда-то был знаком
Тот дикий взор с возвышенным челом!
Иль что-нибудь он ей о прошлых днях
Напоминал! как знать? — не женский страх
Ее заставил вздрогнуть, и вздохнуть,
И голову поспешно отвернуть,
И белою рукой закрыть глаза,
Чтоб изменить не смела ей слеза!..

11

«Ты побледнела, Клара?» — «Я больна!»
И в комнату свою спешит она.
Окно открывши, села перед ним,
Чтоб освежиться воздухом ночным.
Туман в широком поле, огонек
Блестит вдали, забыт и одинок;
И ветер, нарушитель тишины,
Шумит, скользя во мраке вдоль стены;
То лай собак, то колокола звон
Его дыханьем в поле разнесен.

И Клара внемлет. О, как много дум
Вмещал в себе беспечный, резвый ум;
О! если б кто-нибудь увидеть мог
Хоть половину всех ее тревог,
Он на себя, не смея измерять,
Всю тягость их решился бы принять,
Чтобы чело, где радость и любовь
Сменялись прежде, прояснилось вновь,
Чтоб заиграл румянец на щеках
Как радуга в вечерних облаках...
И что могло так деву взволновать?
Не пришлецы ль? Но где и как узнать?
Чем для души страдания сильней,
Тем вечный след их глубже тонет в ней,
Покуда все, что небом ей дано,
Не превратят в страдание одно.

12

Раздвинул тучи месяц золотой,
Как херувим духов враждебный рой,
Как упованья сладостный привет
От сердца гонит память прошлых бед.
Свидетель равнодушный тайн и дел,
Которых день узнать бы не хотел,
А тьма укрыть, он странствует один,
Небесной степи бледный властелин.
Обрисовав литвинки юный лик,
В окно светлицы луч его проник,
И, придавая чудный блеск стеклу,
Беспечно разыгрался на полу,
И озарил персидский он ковер,
Высоких стен единственный убор.
Но что за звук раздался за стеной?
Протяжный стон, исторгнутый тоской,
Подобный звуку песни... если б он
Неведомым певцом был повторен...
Но вот опять! Так точно... кто ж поет?
Ты, пленница, узнала! верно, тот,
Чей взор туманный, с пасмурным челом,
Тебя смутил, тебе давно знаком!
Несбыточным мечтаньям предана,
К окну склонившись, думает она:
В одной Литве так сладко лишь поют!

Туда, туда меня они зовут,
И им отозвался в груди моей
Такой же звук, залог счастливых дней!

13

Минувшее дышало в песни той,
Как вольность — вольной, как она — простой,
И все, чем сердцу родина мила,
В родимой песни пленница нашла.
И в этом наслажденье был упрек;
И все, что женской гордости лишь мог
Внушить позор, явилось перед ней,
Хладней презренья, мщения страшней.
Она схватила лютню, и струна
Звенит, звенит... и вдруг пробуждена
Восторгом и надеждою, в ответ
Запела дева!.. этой песни нет
Нигде. Она мгновенна лишь была,
И в чьей груди родилась — умерла.
И понял, кто внимал! Не мудрено:
Понятье о небесном нам дано,
Но слишком для земли нас создал бог,
Чтоб кто-нибудь ее запомнить мог.

14

Взошла заря, и отделился лес
Стеной зубчатой на краю небес.
Но отчего же сторож у ворот
Молчит и в доску медную не бьет?
Что терем не обходит он кругом?
Ужель он спит? Он спит — но вечным сном!
Тяжелый кинут на землю затвор;
И близ него старик: закрытый взор,
Уста и руки сжаты навсегда,
И вся в крови седая борода.
Сбежалась куча боязливых слуг;
С бездействием отчаянья вокруг
Убитого, при первом свете дня,
Они стояли, головы склоня;
И каждый состраданием пылал,
Но что начать, никто из них не знал.
И где ночной убийца? Чья рука
Не дрогнула над сердцем старика?

Кто растворил высокое окно
И узкое оттуда полотно
Спустил на двор? Чей пояс голубой
В песке затоптан маленькой ногой?
Где странники? К воротам виден след...
Понятно все... их нет! — и Клары нет!

15

И долго неожиданную весть
Никто не смел Арсению принесть.
Но наконец решились: он внимал,
Хотел вскочить, и неподвижен стал,
Как мраморный кумир, как бы мертвец,
С открытым взором встретивший конец!
И этот взор, не зря, смотрел вперед,
Блестя огнем, был холоден как лед,
Рука, сомкнувшись, кверху поднялась,
И речь от синих губ оторвалась:
На клятву походила речь его,
Но в ней никто не понял ничего;
Она была на языке родном —
Но глухо пронеслась, как дальний гром!..

16

Бежали дни, Арсений стал опять,
Как прежде, видеть, слышать, понимать,
Но сердце, пораженное тоской,
Уж было мертво, — хоть в груди живой.
Умел изгнать он из него любовь;
Но что прошло, небывшим сделать вновь
Кто под луной умеет? Кто мечтам
Назначит круг заветный, как словам?
И от души какая может власть
Отсечь ее мучительную часть?
Бежали дни, ничем уж не был он
Отныне опечален, удивлен;
Над ним висеть, чернеть гроза могла,
Не изменив обычный цвет чела;
Но если он, не зная отвести,
Удар судьбы умел перенести,
Но если показать он не желал,
Что мог страдать, как некогда страдал,

То язва, им презренная, потом
Все становилась глубже,— день за днем! —
Он Клару не умел бы пережить,
Когда бы только смерть... но изменить?
И прежде презирал уж он людей:
Отныне из безумца — стал злодей.
И чем же мог он сделаться другим,
С его умом и сердцем огневым?

17

Есть сумерки души, несчастья след,
Когда ни мрака в ней, ни света нет.
Она сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна ей и смерть страшна;
И небо обвинить нельзя ни в чем,
И как назло, все весело кругом!
В прекрасном мире — жертва тайных мук,
В созвучии вселенной — ложный звук,
Она встречает блеск природы всей,
Как встретил бы улыбку палачей
Приговоренный к казни! И назад
Она кидает беспокойный взгляд,
Но след волны потерян в бездне вод,
И лист отпавший вновь не зацветет!
Есть демон, сокрушитель благ земных,
Он радость нам дарит на краткий миг,
Чтобы удар судьбы сразил скорей.
Враг истины, враг неба и людей,
Наш слабый дух ожесточает он,
Пока страданья не умчат как сон
Все, что мы в жизни ценим только раз,
Все, что ему еще завидно в нас!..

18

Против Литвы пошел великий князь.
Его дружины, местью воспалясь,
Грозят полям и рощам той страны,
Где загорится пламенник войны.
Желая защищать свои права,
Дрожит за вольность гордая Литва,
И клевы хищных птиц, и зуб волков
Скользят уж по костям ее сынов.

19

И в русский стан, осенним, серым днем,
Явился раз, один, без слуг, пешком,
Боец, известный храбростью своей,—
И сделался предметом всех речей.
Давно не поднимал он щит и шлем,
Заржавленный покоем! И зачем
Явился он? Не честь страны родной
Он защищать хотел своей рукой;
И между многих вражеских сердец
Одно лишь поразить хотел боец.

20

Вдоль по реке с бегущею волной
Разносит ветер бранный шум и вой!
В широком поле цвет своих дружин
Свели сегодня русский и литвин.
Чертой багряной серый небосклон
От голубых полей уж отделен,
Темнеют облака на небесах,
И вихрь несет в глаза песок и прах:
Все бой кипит; и гнется русский строй,
И, окружен отчаянной толпой,
Хотел бежать... но чей знакомый глас
Все души чудной силою потряс?
Явился воин: красный плащ на нем,
Он без щита, он уронил шелом;
Вооружен секирою стальной,
Предстал — и враг валится, и другой,
С запекшеюся кровью на устах,
Упал с ним рядом. Обнял тайный страх
Сынов Литвы: ослушные кони
Браздам не верят! тщетно бы они
Хотели вновь победу удержать:
Их гонят, бьют, они должны бежать!
Но даже в бегстве, обратясь назад,
Они ударов тяжких сыплют град.

21

Арсений был чудесный тот боец.
Он кровию решился наконец
Огонь в груди проснувшийся залить.
Он ненавидит мир, чтоб не любить
Одно созданье! Кучи мертвецов
Кругом него простерты без щитов,
И радостью блистает этот взор,
Которым месть владеет с давних пор.
Арсений шел, опередив своих,
Как метеор меж облаков ночных;
Когда ж заметил он, что был один
Среди жестоких, вражеских дружин,
То было поздно! «Вижу, час настал!»—
Подумал он, и меч его искал
Своей последней жертвы. «Это он!»—
За ним воскликнул кто-то. Поражен,
Арсений обернулся,— и хотел
Проклятье произнесть, но не умел.
Как ангел брани, в легком шишаке,
Стояла Клара, с саблею в руке;
И юноши теснилися за ней,
И словом и движением очей
Распоряжая пылкою толпой,
Она была, казалось, их судьбой.
И, встретивши Арсения, она
Не вздрогнула, не сделалась бледна,
И тверд был голос девы молодой,
Когда, взмахнувши белою рукой,
Она сказала: «Воины! вперед!
Надежды нет, покуда не падет
Надменный этот русский! Перед ним
Они бегут — но мы не побежим.
Кто первый мне его покажет кровь,
Тому моя рука, моя любовь!»

22

Арсений отвернул надменный взор,
Когда он услыхал свой приговор.
«И ты против меня!»— воскликнул он;
Но это речь была скорее стон,
Как будто сердца лучшая струна
В тот самый миг была оборвана.

С презреньем меч свой бросил он потом
И обернулся медленно плащом,
Чтобы из них никто сказать не смел,
Что в час конца Арсений побледнел.
И три копья пронзили эту грудь,
Которой так хотелось отдохнуть,
Где столько лет с добром боролось зло,
И наконец оно превозмогло.
Как царь дубравы, гордо он упал,
Не вздрогнул, не взглянул, не закричал.
Хотя б молитву или злой упрек
Он произнес! Но нет! он был далек
От этих чувств: он век счастливый свой
Опередил неверящей душой;
Он кончил жизнь с досадой на челе,
Жалея, мысля об одной земле,—
Свой ад и рай он здесь умел сыскать.
Других не знал, и не хотел он знать!..

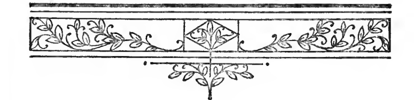
23

И опустел его высокий дом,
И странников не угощают в нем;
И двор зарос зеленою травой,
И пыль покрыла серой пеленой
Святые образа, дубовый стол
И пестрые ковры! и гладкий пол
Не скрыпнет уж под легкою ногой
Красавицы лукавой и младой.
Ни острый меч в серебряных ножнах,
Ни шлем стальной не блещут на стенах;
Они забыты в поле роковом,
Где он погиб! В покое лишь одном
Все, все как прежде: лютня у окна,
И вкруг нее обвитая струна;
И две одежды женские лежат
На мягком ложе, будто бы назад
Тому лишь день, как дева стран чужих
Сюда небрежно положила их.
И, раздувая полог парчевой,
Скользит по ним прохладный ветр ночной,
Когда сквозь тонкий занавес окна
Глядит луна — нескромная луна!

24

Есть монастырь, и там в неделю раз
За упокой молящих слышен глас,
И с честью перед набожной толпой
Арсений поминается порой.
И блещет в церкви длинный ряд гробов,
Украшенный гербом его отцов;
Но никогда меж них не будет тот,
С которым славный кончился их род.
Ни свежий дерн, ни пышный мавзолей
Не тяготит сырых его костей;
Никто об нем не плакал... лишь одна,
Монахиня!.. Бог знает, кто она?
Бог знает, что пришло на мысли ей
Жалеть о том, кто не жалел об ней!..
Увы! Он не любил, он не жалел,
Он даже быть любимым не хотел,
И для нее одной был он жесток:
Но разве лучше поступил с ним рок?
И как не плакать вечно ей о том,
Кто так обманут был, с таким умом,
Кто на земле с ней разлучен судьбой
И к счастью не воскреснет в жизни той?..
В печальном только сердце может страсть
Иметь неограниченную власть:
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает: молода
И зелена — и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит!
И часто отдыхающий пришлец
Грустит об ней, и мыслит: наконец
Порывам бурь и зною предана,
Увянет преждевременно она!..
Но что ж!— усилья вихря и дождей
Не могут обнажить ее корней,
И пыльный лист, встречая жар дневной,
Трепещет все на ветке молодой!..





АУЛ БАСТУНДЖИ

ПОСВЯЩЕНЬЕ

1

Тебе, Кавказ — суровый царь земли,—
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой,— всегда и всюду твой!..

2

Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня, лелея, ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной, как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.

3

Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые;
Когда по ним, гремя, катался гром,
И, пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры окликалися кругом,

Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..

4

Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокой,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то недоступные уму
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле... ни свет, ни шум земной
Их не убьет... я твой! я всюду твой!..

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат.
Его уж нет. Кудрявыми кустами
Покрыто поле: дикий виноград,
Цепляясь, вьется длинными хвостами
Вокруг камней, покрытых сединой,
С вершин соседних сброшенных грозой!..

II

Ни бранный шум, ни песня молодой
Черкешенки уж там не слышны боле;
И в знойный летний день табун степной
Без стражи ходит там, один, по воле;
И без оглядки с пикой за спиной
Донской казак въезжает в это поле;
И безопасно в небесах орел,
Чертя круги, глядит на тихий дол.

III

И там, когда вечерняя заря
Бледнеющим румянцем одевает
Вершины гор,—пустынная змея
Из-под камней, резвяся, выползает;

На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом, как блистает
Разбитый меч, оставленный бойцом
В густой траве на поле роковом.

IV

Сгорел аул — и слух об нем исчез.
Его сыны рассыпаны в чужбине...
Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
Порой об нем рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула *Бастунджи*?»

V

В ауле том без ближних и друзей
Когда-то жили два родные брата,
И в Пятигорье не было грозней
И не было отважней *Акбулата*.
Меньшой был слаб и нежен с юных дней,
Как цвет весенний под лучом заката!
Чуждался битв и крови он и зла,
Но искра в нем таилась... и ждала...

VI

Отец их был убит в чужом краю.
А мать *Селим* убил своим рожденьем,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, преступленьем!
Он душу не обрадовал ничью,
Он никому не мог быть утешеньем;
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!..

VII

Он рос один... по воле, без забот,
Как птичка, меж землей и небесами!
Блуждая с детства средь родных высот,
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один безбрежный свод;

Порой, в степи застигнутый мечтами,
Один сидел до поздней ночи он,
И вкруг него летал чудесный сон.

VIII

И земляки — зачем? то знает бог —
Чуждались их беседы; особливо
Паслись их кони... и за их порог
Переступали люди боязливо;
И даже молодой Селим не мог,
Свой тонкий стан, высокий и красивый,
В бешмет шелковый праздничный одев,
Привлечь одной улыбки гордых дев.

IX

Сбиралась ли ватага удальцов
Отбить табун, иль бранною забавой
Потешиться... оставя бедный кров,
Им вслед, с усмешкой горькой и лукавой,
Смотрели братья, сумрачны, без слов,
Как смотрит облак иногда двуглавый,
Засев меж скал, на светлый бег луны,
Один, исполнен грозной тишины.

X

Дивились все взаимной их любви,
И не любил никто их... оттого ли,
Что никому они дела свои
Не поверяли и надменной воли
Склонить пред чуждой волей не могли?
Не знаю,— тайна их угрюмой доли
Темнее строк, начертанных рукой
Прохожего на плите гробовой...

XI

Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленый.
Рядком блистали на стенах простых
Аркан, седло с насечкой вороненой,

Два башлыка, две шашки боевых
Да два ружья, которых ствол граненый,
Едва прикрытый шерстяным чехлом,
Был закопчен в дыму пороховом.

XII

Однажды... Акбулата ждал Селим
С охоты. Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.

XIII

Вдали тянулись розовой стеной,
Прощаясь с солнцем, горы снеговые;
Машук, склоняся лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.
С мечети слез мулла; аул дремал...
Лишь в крайней сакле огонек блистал.

XIV

И ждет Селим — сидит он час и два,
Гуляя в поле, горный ветер плачет,
И под окном колышется трава.
Но чу! далекий топот... кто-то скачет...
Примчался; фыркнул конь, заржал... Сперва
Спрыгнул один, потом другой... что это значит?
То не сайгак, не волк, не зверь лесной!
Он прискакал с добычею иной.

XV

И в саклю молча входит Акбулат,
Самодовольно взорами сверкая.
Селим к нему: «Ты загулялся, брат!
Я чай, с тобой не дичь одна лесная».

И любопытно он взглянул назад,
И видит он: черкешенка младая
Стоит в дверях, мила как херувим;
И побледнел невольно мой Селим.

XVI

И в нем, как будто пробудясь от сна,
Зашевелилось сладостное что-то.
«Люби ее! она моя жена! —
Сказал тогда Селиму брат.— Охотой
Родной аул покинула она.
Наш бедный дом храним ее заботой
Отныне будет. Зара! вот моя
Отчизна, все богатство, вся семья!..»

XVII

И Зара улыбнулась, и уста
Хотели вымолвить слова привета,
Но замерли. Вдоль по челу мечта
Промчалась тенью. По словам поэта,
Казалось, вся она была слита,
Как гурии, из сумрака и света;
Белей и чище ранних облаков
Являлась грудь, поднявшая покров;

XVIII

Черны глаза у серны молодой,
Но у нее глаза чернее были;
Сквозь тень ресниц, исполнены душой,
Они блаженством сердцу говорили!
Высокий стан искусною рукой
Был стройно перетянут без усилий;
Сквозь черный шелк витого кушака
Блистало серебро исподтишка.

XIX

Змеились косы на плечах младых,
Оплетены тесьмою золотою;
И мрамор плеч, белея из-под них,
Был разрисован жилкой голубою.

Она была прекрасна в этот миг,
Прекрасна вольной дикой простотою,
Как южный плод румяный, золотой,
Обрызганный душистою росой.

XX

Селим смотрел. Высоко билось в нем
Встревоженное сердце чем-то новым.
Как сладко, страстно пламенным челом
Прилег бы он к грудям ее перловым!
Он вздрогнул, вышел... сумрачен лицом,
Кинжал рукою стиснул. На шелковом
Ковре лениво Акбулат лежал,
Курил и думал... О! когда б он знал!..

XXI

Промчался день, другой... и много дней;
Они живут, как прежде, нелюдимо.
Но раз... шумела буря. Все черней
Утесы становились. С воем мимо,
Подобно стае скачущих зверей,
Толпою резвых жадных псов гонимой,
Неслися друг за другом облака,
Косматые, как перья шишака.

XXII

Очами Акбулат их провожал
Задумчиво с порога сакли бедной.
Вдруг шорох: он глядит... пред ним стоял
Селим, без шапки, пасмурный и бледный;
На поясе, звеня, висел кинжал,
Рука блуждала по оправе медной;
Слова кипели смутно на устах,
Как бьется пена в тесных берегах.

XXIII

И юноше с участием живым
Он молвил: «Что с тобой? — не понимаю!
Скажи!» — «Я гибну! — отвечал Селим,
Сверкая мутным взором,— я страдаю!..

Одною думой день и ночь томим!
Я гибну!.. ты ревнив, ты вспыльчив: знаю!
Безумца не захочешь ты спасти...
Так, я виновен... но прости!.. прости!..»

XXIV

«Скажи, тебя обидел кто-нибудь?
Обиду злобы кровью смыть могу я!
Иль конь пропал? Забудь об нем, забудь,
В горах коня красивее найду я!..
Иль от любви твоя пылает грудь?
И чуждой девы хочешь поцелуя?..
Ее увезть легко во тьме ночной,
Она твоя!.. но молви: что с тобой?»

XXV

«Легко спросить... но тяжко рассказать
И чувствовать!.. Молился я пророку,
Чтоб ангелам велел он ниспослать
Хоть каплю влаги пламенному оку!..
Ты видишь: есть ли слезы?.. О! не трать
Молитв напрасных... к яркому востоку
И западу взывал я... но в моей
Душе все шевелится грусть, как змей!..

XXVI

Я проклял небо — оседлал коня;
Пустился в степь. Без цели мы блуждали,
Не различал ни ночи я, ни дня...
Но вслед за мной мечты мои скакали!
Я гибну, брат!.. пойми, спаси меня!
Твоя душа не крепче бранной стали;
Когда я был ребенком, ты любил
Ребенка... помнишь это? иль забыл?..

XXVII

Послушай!.. бурно молодость во мне
Кипит, как жаркий ключ в скалах Машука!
Но ты,— в твоей суровой седине
Видна усталость жизни, лень и скука.

Пускай летать ты можешь на коне,
Звенящую стрелу бросать из лука,
Догнать оленя и врага сразить...
Но... так, как я, не можешь ты любить!..

XXVIII

Не можешь ты безмолвно целый час
Смотреть на взор живой, но безответный,
И утопать в сиянье милых глаз,
Тая в груди, как месть, огонь заветный!
Обнявши Зару, я видал не раз,
Как ты томился скукою приметной...
Я б отдал *жизнь* за поцелуй такой,
И... если б мог, не пожалел другой!..»

XXIX

Как облака, висящие над ним,
Стал мрачен лик суровый Акбулата;
Дрожь пробежала по усам седым,
Взор покраснел, как зарево заката.
«Что произнесть решился ты, Селим!» —
Воскликнул он. Селим не слушал брата.
Как бедный раб, он пал к его ногам
И волю дал страданью и мольбам.

XXX

«Ты видишь: я погиб!.. спасенья нет...
Отчаянье, любовь... везде! повсюду!..
О! ради прежней дружбы... прежних лет...
Отдай мне Зару!.. уступи!.. я буду
Твоим рабом... послушай: сжалься!.. нет,
Нет!.. ты меня как ветхую посуду
С презреньем гордым кинешь за порог...
Но, видишь: вот кинжал! — а там: есть бог!..

XXXI

Когда б хотел, я б мог давно, поверь,
Упиться счастьем, презреть все святое!
Но я подумал: нет! как лютый зверь,
Он растерзает сердце молодое!

И вот пришло раскаянье теперь,
Пришло — но поздно! я ошибся вдвое,
Я, как глупец, остался на земли,
Один, один... без дружбы и любви!..

XXXII

Что медлить: я готов — не размышляй!
Один удар — и мы спокойны оба.
Увы! минута с ней — небесный рай!
Жизнь без нее — скучней, страшнее гроба!
Я здесь, у ног твоих... решись иль знай:
Любовь хитрей, чем ревность или злоба;
Я вырву Зару из твоих когтей,
Она моя — и быть должна моей!»

XXXIII

Умолк. Бледней снегов был нежный лик,
В очах дрожали слезы исступленья;
Меж губ слова слились в невнятный крик,
Мучительный, ужасный... сожаленье
Угрюмый брат почувствовал на миг.
«Пройдет,— сказал он,— время заблужденья!
Есть много звезд: одна другой светлей;
Красавиц много без жены моей!..

XXXIV

Что дал мне бог, того не уступлю;
А что сказал я, то исполню свято.
Пророк зрит мысль и слышит речь мою!
Меня не тронут ни мольбы, ни злато!..
Прощай... но если! если...» — «Я люблю,
Люблю ее! — сказал Селим, объятый
Тоской и злобой,— я просил, скорбел...
Ты не хотел!.. так помни ж: не хотел!»

XXXV

Его уста скривил холодный смех;
Он продолжал: «Все кончено отныне!
Нет для меня ни дружбы, ни утех!..

Благодарю тебя!.. ты, как об сыне,
Об юности моей пекся: сказать не грех...
По воле нежил ты цветок в пустыне,
По воле оборвал его листы...
Я буду помнить — помни только ты!..»

XXXVI

Он отвернулся и исчез как тень.
Стоял недвижим Акбулат смущенный,
Мрачней, чем громом опаленный пень,
Шумела буря. Ветром наклоненный,
Скрипел полуразрушенный плетень;
Да иногда, грозою заглушенный,
Из бедной сакли раздавался вдруг
Беспечной, нежной, вольной песни звук!..

XXXVII

Так иногда, одна в степи чужой
Залетная певица, птичка юга,
Поет на ветке дикой и сухой,
Когда вокруг шумит, бушует вьюга.
И путник внемлет с тайною тоской
И думает: то, верно, голос друга!
Его душа, живущая в раю,
Сошла печаль приветствовать мою!..

XXXVIII

Селим седлает верного коня,
Гребенкой медной гриву разбирая;
Кубанскою оправою звеня,
Уздечка блещет; крепко обвивая
Седло с конем, сцепились два ремня.
Стремёна ровны; плетка шелковàя
На арчаге мотается. Храпит,
Косится конь... Пора, садись, джигит.

XXXIX

Горяч и статен конь твой вороной!
Как красный угль, его сверкает око!
Нога стройна, косматый хвост трубой;

И лоснится хребет его высокой,
Как черный камень, сглаженный волной!
Как саранча, легко в степи широкой
Порхает он под легким седоком,
И голос твой давно ему знаком!..

XL

И молча на коня вскочил Селим:
Нагайкою махнул, привстал немного
На стременах... затрепетал под ним
И захрапел товарищ быстроногой!
Скачок, другой... ноздрями пар как дым...
И полетел знакомою дорогой,
Как пыльный лист, оторванный грозой,
Летит крутясь по степи голубой!..

XLI

Размашисто скакал он, и кремни,
Как брызги рассыпаяся, трещали
Под звонкими копытами. Они
Сырую землю мерно поражали;
И долго вслед ущелия одни
Друг другу этот звук передавали,
Пока вдали, мгновенный, как Симун,
Не скрылся всадник и его скакун...

XLII

Как дух изгнанья быстро он исчез
За пеленой волнистого тумана!..
У табуна сторожевой черкес,
Дивяся, долго вслед ему с кургана
Смотрел и думал: «Много есть чудес!..
Велик аллах!.. ужасна власть шайтана!
Кто скажет мне, что этого коня
Хозяин мрачный — сын земли, как я?»

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Меж виноградных лоз нагорный ключ
От мирного аула недалеко
Бежал по камням, светел и гремуч.
Небес восточных голубое око
Гляделось в нем; и плавал жаркий луч
В его волне студеной и глубокой;
И мелкий дождь серебряных цветов
В него с прибрежных сыпался дерев.

II

Вот мирный час, когда на водопой
Бежит к потоку серн пугливых стая,
Шумя по листьям и траве густой.
Вот час, когда черкешенка младая
Идет купаться тайною тропой.
Нагую ножку в воду погружая,
Она дрожит, смеется... и вокруг
Кидает взгляд, где дышит страсть и юг!

III

Не бойся, Зара! — всюду тишина;
Присядь на камень, сбрось покров узорный!
Вода в ручье прозрачна, холодна;
Смирит волненье груди непокорной
И освежит твой смуглый стан она.
Но, чу!.. постой!.. чей это шаг проворный
Не в добрый час раздался меж кустов?..
Святой пророк! Скорей, где твой покров?

IV

Но сильно чья-то жаркая рука
Хватает руку Зары. Страстен, молод
Огонь руки сей!.. Сакля далека...
Что делать? В грудь ее смертельный холод
Проник, как пуля меткого стрелка,
И сердце громко билось в ней, как молот!
«Селим, ты здесь? злой дух тебя принес!
Зачем пришел ты?» — «Я?.. Какой вопрос!»

V

«Селим!.. о!.. я погибла!..» — «Может быть,
Так что ж!» — «Ужель! ни капли сожаленья!
Чего ты хочешь?» — «Я хочу любить!
Хочу! — ты видишь: краткие мученья
Меня уж изменили... скучно жить,
Как зверю, одному... часам терпенья
Настал последний срок! — я снова здесь.
Я твой навек, душой и телом,— весь!

VI

Я знал, что ваш пророк — не мой пророк,
Что люди мне — чужие, а не братья;
И странствовал в пустыне одинок
И сумрачен, как див, дитя проклятья!
Без страху я давно б в могилу слег;
Но холодны сырой земли объятья...
Ах! я мечтал хоть миг один заснуть,
Мою главу склонив к тебе на грудь!..

VII

Беги со мной!.. оставь свой бедный дом.
Я молод, свеж; твой муж — старик суровый!
Решись, спеши: мне тайный путь знаком;
Мое ружье верней стрелы громовой;
Кинжал мой блещет гибельным лучом;
Моя рука быстрей, чем взгляд и слово;
И у меня жилище есть в горах,
Где отыскать нас может лишь аллах!

VIII

Мой дом изрыт в расселинах скалы:
В нем до меня два барса дружно жили.
Узнав пришельца, голодны и злы,
Они, воспрянув, бросились, завыли...
Я их убил — и в тот же день орлы
Кровавые их кости растащили;
И кожи их у входа, по бокам,
Висят, как тени, в страх другим зверям.

IX

Там ложе есть из моха и цветов,
Там есть родник, меж камней иссеченный;
Его питает влага облаков,
И брызжет он журча струею пленной.
Беги со мной!.. никто твоих следов
Не различит в степи, мой друг бесценный!
И только месяц с солнцем золотым
Узнают, как и кто тобой любим!..»

X

Обнявши стан ее полунагой,
Едва дыша, склонившись к ней устами,
Он ждал ответа с страхом и тоской:
Она молчала — шаткими ветвями
Шумел над ними ветер полевой,
И тени листьев темными рядами
Бродили по челу ее: она,
Как мраморный кумир, была бледна.

XI

«Решись же, Зара: ждать я не могу!..
Ты побледнела?.. что такое?.. слезы?
Но разве здесь ты предана врагу?
Иль речь любви похожа на угрозы?
Иль ты меня не любишь? нет! я лгу...
Твои уста нежней иранской розы:
Они не могут это произнесть!..
Пусть нет в тебе любви... но... жалость есть!

XII

О, как я был бы счастлив, как богат,
Под звездами аллы, один с тобою!..
Скажи: тебя не любит Акбулат?
Он зол, ревнив, он пасмурен душою,
И речь его хладнее, чем булат?..
Он для тебя постыл... беги со мною...
Но ты качаешь молча головой...
Не он тобой любим!! но кто ж другой?

XIII

Скорей: откуда? где он? назови —
Я вытержу зловещее прозванье...
Я обниму как брата — и в крови
Запечатлею братское лобзанье.
Кто ж он, счастливый царь твоей любви?
Пускай придет дразнить мое страданье,
При мне тебя и нежить и ласкать...
Я рад смотреть, клянусь... и рад молчать!..»

XIV

И он склонил мятежную главу,
И он закрыл лицо свое руками,
И видно было ей, как на траву
Упали две слезы двумя звездами.
Без смысла и без звука, наяву,
Как бы во сне, он шевелил устами
И наконец припал к земле сырой,
Как та земля, и хладный и немой.

XV

Ей стало жаль; она сказала вдруг:
«Не плачь!.. ужасен вид твоей печали!
Отец мой был великий воин: юг,
И север, и восток об нем слыхали.
Он был свирепый враг, но верный друг,
И низкой лжи уста его не знали...
Я дочь его, и честь его храню:
Умру, погибну — но не изменю!..

XVI

Оставь меня! Я счастлива с другим!» —
«Неправда!» — «Я люблю его!» — «Конечно!!!
Он мой злодей, мой враг!!» — «Селим! Селим!
Кто ж виноват?» — «Он прав?» — «Ужели вечно
Не примиритесь вы?» — «Мириться? с ним?
Да кто же я, чтоб злобой скоротечной
Дразнить людей и небо!» — «Ты жесток!» —
«Как быть? такую душу дал мне рок!

XVII

Прощай! уж поздно! Бог рассудит нас!
Но если я с тобой увижусь снова,
То это будет — знай — в последний раз!..»
Он тихо встал, и более ни слова,
И тихо удалился. День угас;
Лишь бледный луч из-за Бешту крутого
Едва светил прощальною струей
На бледный лик черкешенки младой!

XVIII

Селим не возвращался. Акбулат
Спокоен. Он не видит, что порою
Его жены доселе ясный взгляд
Туманится невольною слезою.
Вот раз с охоты ехал он назад:
Аул дремал, в тени таясь от зною;
С мечети божей лишь мулла седой
Ему, смеясь, кивает головой.

XIX

И говорит: «Куда спешишь, мой сын!
Не лучше ли гулять в широком поле?
Черкес прямой — всегда, везде один,
И служит только родине да воле!
Черкес земле и небу господин,
И чуждый враг ему не страшен боле:
Но если б он послушался меня,
Жену бы кинул — а купил коня!»

XX

«Молись себе пророку, злой мулла,
И не мешайся так в дела чужие.
Твой верен глаз — моя верней стрела:
За весь табун твой не отдам жены я!»
И тот в ответ: «Я не желаю зла,
Но вспомнишь ты слова мои простые!»
Смутился Акбулат — потупил взор,
И скачет он скорей к себе на двор.

XXI

С дрожащим сердцем в саклю входит он,
Глядит: на ложе смятом и разрытом
Кинжал знакомый блещет без ножон.
Любимый конь не ржет, не бьет копытом.
Нейдет навстречу Зара: мертвый сон
Повсюду. Лишь на очаге забытом
Сверкает пламень. Он невзвидел дня:
Нет ни жены! ни лучшего коня!!!

XXII

Без сил, без дум, недвижим, как мертвец,
Пронзенный сзади пулею несмелой,
С открытым взором встретивший конец,
Присел он на порог — и что кипело
В его груди, то знает лишь творец!
Часы бежали. Небо потемнело;
С росой на землю пала тишина;
Из туч косматых прянула луна.

XXIII

Бледней луны сидел он недвижим.
Вдруг слышен топот: все ясней, яснее,
Вот мчится в поле конь. Как легкий дым,
Волною грива хлещет вдоль по шее;
И вьется что-то белое над ним,
Как покрывало... Конь летит быстрее...
Знакомый конь!.. вот близко, прискакал.
Но вдруг затрясся, захрипел — и пал.

XXIV

Издохший конь недвижимо лежит,
На нем колеблясь блещет покрывало;
Черкесской пулей тонкий холст пробит:
Кровь запеклась на нем струею алой!
К коню в смущенье Акбулат бежит;
Лицо надеждой снова заблистало:
«Спасибо, друг, не позабыл меня!»
И гладит он издохшего коня.

XXV

И покрывала белого конец
Нетерпеливой поднял он рукою;
Склонился — месяц светит: о творец,
Чей бледный труп он видит пред собою?
Глубоко в грудь, как скорпион, свинец
Впился, насытясь кровью молодою;
Ремень, обвивший нежный стан кругом,
К седлу надежным прикреплен узлом.

XXVI

Как ранний снег бела и холодна,
Бесчувственно рука ее лежала,
Обрызганная кровью... и луна
По гладкому челу, скользя, играла.
С бесцветных уст, как слабый призрак сна,
Последняя улыбка исчезала;
И, опустясь, ресницы бахромой
Бездушный взор таили под собой.

XXVII

Узнал ли ты, несчастный Акбулат,
Свою жену, подругу жизни старой?
Чей сладкий голос, чей веселый взгляд
Был одарен неведомою чарой,
Пленял тебя лишь день тому назад?
Все понял он — стоит над мертвой Зарой;
Терзает грудь и рвет одежды он,
Зовет ее — но крепок мертвых сон!

XXVIII

Да упадет проклятие людей
На жизнь Селима. Пусть в степи палящей
От глаз его сокроется ручей.
Пускай булат руке его дрожащей
Изменит в битве; и в кругу друзей
Тоска туманит взор его блестящий;
Пускай один, бродя во тьме ночной,
Он чей-то шаг все слышит за собой.

XXIX

Да упадет проклятие аллы
На голову убийцы молодого;
Пускай умрет не в битве — от стрелы
Неведомой разбойника ночного,
И полумертвый на хребте скалы
Три ночи и три дня лежит без крова;
Пусть зной палит и бьет его гроза
И хищный коршун выклюет глаза!

XXX

Когда придет, покинув выси гор,
Его душа к обещанному раю,
Пускай пророк свой отворотит взор
И грозно молвит: «Я тебя <не> знаю!»
Тогда, поняв язвительный укор,
Воскликнет он:«Прости мне! умоляю!..»
И снова скажет грешнику пророк:
«Ты был жесток — и я с тобой жесток!»

XXXI

И в ту же ночь за час перед зарей
С мечети грянул вещий звук набата.
Народ сбежался: как маяк ночной,
Пылала ярко сакля Акбулата.
Вокруг нее огонь вился змеей,
Кидая к небу с треском искры злата;
И чей-то смех мучительный и злой
Сквозь дым и пламя вылетал порой.

XXXII

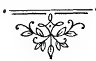
И ниц упал испуганный народ.
«Молитесь, дети! это смех шайтана!» —
Сказал мулла таинственно — и вот
Какой-то темный стих из алкорана
Запел он громко. Но огонь ревет
И мечется сильнее урагана
И, не внимая жалобным мольбам,
Расходится по крышам и стенам.

XXXIII

И зарево на дальних высотах
Трепещущим румянцем отразилось;
И серна гор, лежавшая в кустах,
Послышав крик, вздрогнула, пробудилась.
Ее невольно обнял тайный страх:
Стряхнув с себя росу, она пустилась,
И спавшие под сению скалы
Взвилися с криком дикие орлы.

XXXIV

Сгорел аул — и слух об нем исчез;
Его сыны рассыпаны в чужбине.
Лишь иногда в туманный день черкес
Об нем, вздохнув, рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула Бастунджи?..»





ХАДЖИ АБРЕК

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены:
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет,— только жалость и досада
Видна во взорах узденей.
Покрыт одеждами чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой;

И льется речь его потоком,
И вкруг себя блестящим оком
Печально водит он порой.
Рассказу старого лезгина
Внимали все. Он говорил:
«Три нежных дочери, три сына
Мне бог на старость подарил;
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин.
Увы, я стар! Мои седины
Белее снега той вершины.
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода!..
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?
В плену сестры ее увяли,
В бою неровном братья пали;
В чужбине двое, а меньшой
Пронзен штыком передо мной.
Он улыбался, умирая!
Он, верно, зрел, как дева рая
К нему слетела пред концом,
Махая радужным венцом!..
И вот пошел я жить в пустыню
С последней дочерью своей,
Ее хранил я, как святыню;
Все, что имел я, было в ней:
Я взял с собою лишь ее
Да неизменное ружье.
В пещере с ней я поселился,
Родимой хижины лишен;
К беде я скоро приучился,
Давно был к воле приучен.
Но час ударил неизбежный,
И улетел птенец мой нежный!..
Однажды ночь была глухая,
Я спал... Безмолвно надо мной
Зеленой веткою махая,
Сидел мой ангел молодой.

Вдруг просыпаюсь: слышу, шепот,—
И слабый крик,— и конский топот...
Бегу и вижу — под горой
Несется всадник с быстротой,
Схватив ее в свои объятья.
Я с ним послал свои проклятья.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!
С кровавым мщеньем, вот здесь
скрытым,
Без сил отмстить за свой позор,
Влачусь я по горам с тех пор,
Как змей, раздавленный копытом.
И нет покоя для меня
С того мучительного дня...
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто привезет мне дочь мою?»

«Я!» — молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий,
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом.
«Я знаю князя! Я решился!..
Две ночи здесь ты жди меня:
Хаджи бесстрашный не садился
Ни разу даром на коня.
Но если я не буду к сроку,
Тогда обет мой позабудь,
И об душе моей пророку
Ты помолись, пускаясь в путь».

Взошла заря. Из-за туманов
На небосклоне голубом
Главы гранитных великанов
Встают, увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.
Все дышит утром. За оврагом,
По косогору едет шагом
Черкес на борзом скакуне.
Еще ленивое светило

Росы холмов не осушило.
Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник;
Небрежно бросив повода,
Красивой плеткой он махает
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запевает,
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песни той.

Есть поворот — и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.
Оттуда он, как под ногами,
Смиренный различит аул,
И пыль, поднятую стадами,
И пробужденья первый гул;
И на краю крутого ската
Отметит саклю Бей-Булата
И, как орел, с вершины гор
Вперит на крышу светлый взор.
В тени прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидит.
Пред нею тянется дорога,
Но грустно вдаль она глядит.
Кого ты ждешь, звезда востока,
С заботой нежною такой?
Не друг ли будет издалека?
Не брат ли с битвы роковой?
От зноя утомясь дневного,
Твоя головка уж готова
На грудь высокую упасть;
Рука скользнула вдоль колена,
И неги сладостная власть
Плечо исторгнула из плена;
Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной;
В твоих щеках как метеор
Играет пламя крови южной;
Уста волшебные твои
Зовут лобзание любви.

Немым встревожена желаньем,
Обнять ты ищешь что-нибудь,
И перси слабым трепетаньем
Хотят покровы оттолкнуть.
О, где ты, сердца друг бесценный!..
Но вот — и топот отдаленный,
И пыль знакомая взвилась,
И дева шепчет: «Это князь!»

Легко надежда утешает,
Легко обманывает глаз:
Уж близко путник подъезжает...
Увы, она его не знает
И видит только в первый раз!
То странник, в поле запоздалый,
Гостеприимный ищет кров;
Дымится конь его усталый,
И он спрыгнуть уже готов...
Спрыгни же, всадник!.. Что же он
Как будто крова испугался?
Он смотрит! Краткий, грустный стон
От губ сомкнутых оторвался,
Как лист от ветви молодой,
Измятый летнею грозой!

«Что медлишь, путник, у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость — подарок бога.
Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата.
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь!»

Хаджи Абрек

Аллах спаси тебя, Леила!
Ты гостя лаской подарила;
И от отца тебе поклон
За то привез с собою он.

Леила

Как! Мой отец? Меня поныне
В разлуке долгой не забыл?
Где он живет?

Хаджи Абрек

Где прежде жил:
То в чуждой сакле, то в пустыне.

Леила

Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне...

Хаджи Абрек

Он жив.
Хотя порой дождям и стуже
Открыта голова его...
Но ты?

Леила

Я счастлива.

Хаджи Абрек *(тихо)*

Тем хуже!

Леила

А? что ты молвил?..

Хаджи Абрек

Ничего!

Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном
Пред ним не тронуты доселе
Стоят! Он странен, в самом деле!
Как на челе его крутом
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины
Проведены они по нем?

Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза как звезды блещут,
И груди полные трепещут;
Восторгом детским, но живым
Душа невинная объята:
Она кружится перед ним,
Как мотылек в лучах заката.

И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками;
Вертит его над головой
И тихо черными очами
Поводит,— и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе — все мечта!»

Хаджи Абрек

Довольно! Перестань, Леила;
На миг веселость позабудь:
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? отвечай.

Леила

Нет! Что мне хладная могила?
Я на земле нашла свой рай.

Хаджи Абрек

Еще вопрос: ты не грустила
О дальней родине своей,
О светлом небе Дагестана?

Леила

К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
Везде прекрасен божий свет,
Отечества для сердца нет!
Оно насилья не боится,
Как птичка вырвется, умчится.
Поверь мне — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!

Хаджи Абрек

Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто все похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любови
И только хочет слез да крови.
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;

В нем преступлений сладострастье,
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бессменно;
То мучит, то ласкает нас.
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы вселенной!

Леила

Ты бледен?

Хаджи Абрек

Выслушай. Давно
Тому назад имел я брата;
И он,— так было суждено,—
Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою,
Как зверь лесной,— врага не зная;
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»
Свершилось наконец. Пора!
Твой час пробил еще вчера.
Смотри, уж блещет луч заката!..
Пора! я слышу голос брата.
Когда сегодня в первый раз
Я увидал твой образ нежный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, как адом, вся зажглась.
Но это чувство улетело...
Валла́х! Исполню клятву смело!

Как зимний снег в горах, бледна,
Пред ним повергнулась она
На ослабевшие коле́ни;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Перед жестоким излились.

«Ох, ты ужасен с этим взглядом!
Нет, не смотри так! Отвернись!
По мне текут холодным ядом
Слова твои... О, боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?
Ответствуй! ничего не значат
Невинных слезы пред тобой?
О, сжалься!.. Говори — как плачут
В твоей родимой стороне?
Погибнуть рано, рано мне!..
Оставь мне жизнь! оставь мне младость!
Ты знал ли, что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?.. О, верно нет!»

Хаджи в молчанье роковом
Стоял с нахмуренным челом.

«В твоих глазах ни сожаленья,
Ни слез, жестокий, не видать!..
Ах!.. Боже!.. Ай!.. дай подождать!
Хоть час один... одно мгновенье!!»

Блеснула шашка. Раз — и два!
И покатилась голова...
И окровавленной рукою
С земли он приподнял ее.
И острой шашки лезвеё
Обтер волнистою косою.
Потом, бездушное чело
Одевши буркою косматой,
Он вышел и прыгнул в седло.
Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним:
Щетиной грива,— ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.

Заря бледнеет; поздно, поздно,
Сырая ночь недалека!
С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака:

Игру бессвязную заводят,
В провалы душные заходят,
Задев колючие кусты,
Бросают жемчуг на листы.
Ручей катится — мутный, серый,
В нем пена бьет из-под травы;
И блещет сквозь туман пещеры,
Как очи мертвой головы.
Скорее, путник одинокой!
Закройся буркою широкой,
Ремянный повод натяни,
Ремянной плеткою махни.
Тебе вослед еще не мчится
Ни горный дух, ни дикий зверь,
Но если можешь ты молиться,
То не мешало бы — теперь.

«Скачи, мой конь! Пугливым оком
Зачем глядишь перед собой?
То камень, сглаженный потоком!..
То змей блистает чешуей!..
Твоею гривой в поле брани
Стирал я кровь с могучей длани;
В степи глухой, в недобрый час,
Уже не раз меня ты спас.
Мы отдохнем в краю родном;
Твою уздечку еще боле
Обвешу русским серебром;
И будешь ты в зеленом поле.
Давно ль, давно ль ты изменился,
Скажи, товарищ, дорогой?
Что рано пеною покрылся?
Что тяжко дышишь подо мной?
Вот месяц выйдет из тумана,
Верхи дерев осеребрит,
И нам откроется поляна,
Где наш аул во мраке спит;
Заблещут, издали мелькая,
Огни джематских пастухов,
И различим мы, подъезжая,
Глухое ржанье табунов;
И кони вкруг тебя столпятся...
Но стоит мне лишь приподняться,
Они в испуге захрапят,

И все шарахнутся назад:
Они почуют издалека,
Что мы с тобою дети рока!..»

Долины ночь еще объемлет,
Аул Джемат спокойно дремлет;
Один старик лишь в нем не спит.
Один, как памятник могильный,
Недвижим, близ дороги пыльной,
На сером камне он сидит.
Его глаза на путь далекой
Устремлены с тоской глубокой.

«Кто этот всадник? Бережливо
Съезжает он с горы крутой;
Его товарищ долгогривый
Поник усталой головой.
В руке, под буркою дорожной,
Он что-то держит осторожно
И бережет как свет очей».
И думает старик согбенный:
«Подарок, верно, драгоценный
От милой дочери моей!»

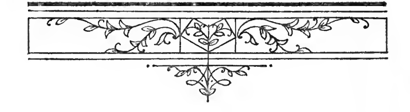
Уж всадник близко: под горою
Коня он вдруг остановил;
Потом дрожащею рукою
Он бурку темную открыл;
Открыл,— и дар его кровавый
Скатился тихо на траву.
Несчастный видит,— боже правый!
Своей Леилы голову!..
И он, в безумном восхищенье,
К своим устам ее прижал!
Как будто ей передавал
Свое последнее мученье.
Всю жизнь свою в единый стон,
В одно лобзанье вылил он.
Довольно люди <и> печали
В нем сердце бедное терзали!
Как нить, истлевшая давно,
Разорвалося вдруг оно,
И неподвижные морщины
Покрылись бледностью кончины.

Душа так быстро отлетела,
Что мысль, которой до конца
Он жил, черты его лица
Совсем оставить не успела.

Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился:
Взглянул на шашку, на коня —
И быстро в горы удалился.

Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая, путники нашли
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!
Быть может, то одна мечта,
Но бедным странникам казалось,
Что их лицо порой менялось,
Что всё грозили их уста.
Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал:
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.





БОЯРИН ОРША

ГЛАВА I

Then burst her heart in one long shriek,
And to the earth she fell like stone
Or statue from its base o'erthrown.

Byron[1]

Во время оно жил да был
В Москве боярин Михаил,
Прозваньем Орша. Важный сан
Дал Орше Грозный Иоанн;
Он дал ему с руки своей
Кольцо, наследие царей;
Он дал ему в веселый миг
Соболью шубу с плеч своих;
В день воскресения Христа
Поцеловал его в уста
И обещался в тот же день
Дать тридцать царских деревень
С тем, чтобы Орша до конца
Не отлучался от дворца.

Но Орша нравом был угрюм:
Он не любил придворный шум,
При виде трепетных льстецов
Щипал концы седых усов,

[1] Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике,
И на землю она упала, как камень
Или статуя, сброшенная с своего пьедестала.

Байрон (англ.)

И раз, опричным огорчен,
Так Иоанну молвил он:
«Надежа-царь! пусти меня
На родину — я день от дня
Все старе — даже не могу
Обиду выместить врагу:
Есть много слуг в дворце твоем.
Пусти меня! — мой старый дом
На берегу Днепра крутом
Близ рубежа Литвы чужой
Оброс могильною травой;
Пробудь я здесь еще хоть год,
Он догниет — и упадет;
Дай поклониться мне Днепру...
Там я родился — там умру!»

И он узрел свой старый дом.
Покои темные кругом
Уставил златом и сребром;
Икону в ризе дорогой
В алмазах, в жемчуге, с резьбой
Повесил в каждом он углу,
И запестрелись на полу
Узоры шелковых ковров.
Но лучше царских всех даров
Был божий дар — младая дочь;
Об ней он думал день и ночь,
В его глазах она росла
Свежа, невинна, весела,
Цветок грядущего святой,
Былого памятник живой!
Так средь развалин иногда
Растет береза: молода,
Мила над плитами гробов
Игрою шепчущих листов,
И та холодная стена
Ее красой оживлена!..

. . . .

Туманно в поле и темно,
Одно лишь светится окно
В боярском доме — как звезда
Сквозь тучи смотрит иногда.
Тяжелый звякнул уж затвор,
Угрюм и пуст широкий двор.

Вот, испытав замки дверей,
С гремучей связкою ключей
К калитке сторож подошел
И взоры на небо возвел:
«А завтра быть грозе большой! —
Сказал, крестясь, старик седой,—
Смотри-ка, молния вдали
Так и доходит до земли,
И белый месяц, как монах,
Завернут в черных облаках;
И воет ветер, будто зверь.
Дай кучу злата мне теперь,
С конюшни лучшего коня
Сейчас седлайте для меня —
Нет, не отъеду от крыльца
Ни для родимого отца!» —
Так рассуждая сам с собой,
Кряхтя, старик пошел домой.
Лишь вдалеке едва гремят
Его ключи — вокруг палат
Все снова тихо и темно,
Одно лишь светится окно.

Все в доме спит — не спит один
Его угрюмый властелин
В покое пышном и большом
На ложе бархатном своем.
Полусгоревшая свеча
Пред ним, сверкая и треща,
Порой на каждый льет предмет
Какой-то странный полусвет.
Висят над ложем образа;
Их ризы блещут, их глаза
Вдруг оживляются, глядят —
Но с чем сравнить подобный взгляд?
Он непонятней и страшней
Всех мертвых и живых очей!
Томит боярина тоска;
Уж поздно. Под окном река
Шумит — и с бурей заодно
Гремучий дождь стучит в окно.
Чернеет тень во всех углах —
И — странно — Оршу обнял страх!
Бывал он в битвах, хоть и стар,

Против поляков и татар,
Слыхал он грозный царский глас,
Встречал и взор, в недобрый час:
Ни разу дух его крутой
Не ослабел перед бедой;
Но тут — он свистнул, и взошел
Любимый раб его, *Сокол*.

И молвил Орша: «Скучно мне,
Всё думы черные одне.
Садись поближе на скамью
И речью грусть рассей мою...
Пожалуй, сказку ты начни
Про прежние златые дни,
И я, припомнив старину,
Под говор слов твоих засну».

И на скамью присел Сокол,
И речь такую он завел:

«Жил-был за тридевять земель
В тридцатом княжестве отсель
Великий и премудный царь.
Ни в наше времечко, ни встарь
Никто не видывал пышней
Его палат — и много дней
В веселье жизнь его текла,
Покуда дочь не подросла.

Тот царь был слаб и хил и стар,
А дочь непрочный ведь товар!
Ее, как лучший свой алмаз,
Он скрыл от молодецких глаз;
И на его царевну-дочь
Смотрел лишь день да темна ночь,
И целовать красотку мог
Лишь перелетный ветерок.

И царь тот раза три на дню
Ходил смотреть на дочь свою;
Но вздумал вдруг он в темну ночь
Взглянуть, как спит младая дочь.
Свой ключ серебряный он взял,

Сапожки шелковые снял,
И вот приходит в башню ту,
Где скрыл царевну-красоту!..

Вошел — в светлице тишина;
Дочь сладко спит, но не одна;
Припав на грудь ее главой,
С ней царский конюх молодой.
И прогневился царь тогда,
И повелел он без суда
Их вместе в бочку засмолить
И в сине море укатить...»

И быстро на устах раба,
Как будто тайная борьба
В то время совершалась в нем,
Улыбка вспыхнула — потом
Он очи на небо возвел,
Вздохнул и смолк. «Ступай, Сокол! —
Махнув дрожащею рукой,
Сказал боярин,— в час иной
Расскажешь сказку до конца
Про оскорбленного отца!»

И по морщинам старика,
Как тени облака, слегка
Промчались тени черных дум,
Встревоженный и быстрый ум
Вблизи предвидел много бед.
Он жил: он знал людей и свет,
Он злом не мог быть удивлен;
Добру ж давно не верил он,
Не верил, только потому
Что верил некогда всему!

И вспыхнул в нем остаток сил,
Он с ложа мягкого вскочил,
Соболью шубу на плеча
Накинул он — в руке свеча,
И вот, дрожа, идет скорей
К светлице дочери своей.
Ступени лестницы крутой
Под тяжкою его стопой
Скрыпят — и свечка раза два
Из рук не выпала едва.

Он видит, няня в уголке
Сидит на старом сундуке
И спит глубоко и порой
Во сне качает головой;
На ней, предчувствием объят,
На миг он удержал свой взгляд
И мимо — но послыша стук,
Старуха пробудилась вдруг,
Перекрестилась, и потом
Опять заснула крепким сном,
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.

Стоит боярин у дверей
Светлицы дочери своей.
И чутким ухом он приник
К замку — и думает старик:
«Нет! непорочна дочь моя,
А ты, Сокол, ты раб, змея,
За дерзкий, хитрый свой намек
Получишь гибельный урок!»
Но вдруг... о горе, о позор!
Он слышит тихий разговор!..

1-й голос

О! погоди, Арсений мой!
Вчера ты был совсем другой.
День без меня — и миг со мной?..

2-й голос

Не плачь... утешься! — близок час
И будет мир ничто для нас.
В чужой, но близкой стороне
Мы будем счастливы одне,
И не раба обнимешь ты
Среди полночной темноты.
С тех пор, ты помнишь, как чернец
Меня привез, и твой отец
Вручил ему свой кошелек,
С тех пор задумчив, одинок,
Тоской по вольности томим,
Но нежным голосом твоим
И блеском ангельских очей
Прикован у тюрьмы моей,

Задумал я свой край родной
Навек оставить, но с тобой!..
И скоро я в лесах чужих
Нашел товарищей лихих,
Бесстрашных, твердых, как булат.
Людской закон для них не свят,
Война их рай, а мир их ад.
Я отдал душу им в заклад,
Но ты моя — и я богат!..

И голоса замолкли вдруг.
И слышит Орша тихий звук,
Звук поцелуя... и другой...
Он вспыхнул, дверь толкнул рукой
И исступленный и немой
Предстал пред бледною четой...
. . . .

Боярин сделал шаг назад,
На дочь он кинул злобный взгляд,
Глаза их встретились — и вмиг
Мучительный, ужасный крик
Раздался, пролетел — и стих.
И тот, кто крик сей услыхал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.
И тяжко на цветной ковер,
Как труп бездушный с давних пор,
Упало что-то. И на зов
Боярина толпа рабов,
Во всем послушная орда,
Шумя сбежалася тогда,
И без усилий, без борьбы
Схватили юношу рабы.

Нем и недвижим он стоял,
Покуда крепко обвивал
Все члены, как змея, канат;
В них проникал могильный хлад,
И сердце громко билось в нем
Тоской, отчаяньем, стыдом.

Когда ж безумца увели
И шум шагов умолк вдали,

И с ним остался лишь Сокол,
Боярин к двери подошел;
В последний раз в нее взглянул,
Не вздрогнул, даже не вздохнул
И трижды ключ перевернул
В ее заржавленном замке...
Но... ключ дрожал в его руке!
Потом он отворил окно:
Все было на небе темно,
А под окном меж диких скал
Днепр беспокойный бушевал.
И в волны ключ от двери той
Он бросил сильною рукой,
И тихо ключ тот роковой
Был принят хладною рекой.

Тогда, решив свою судьбу,
Боярин верному рабу
На волны молча указал,
И тот поклоном отвечал...
И через час уж в доме том
Все спало снова крепким сном,
И только не спал в нем один
Его угрюмый властелин.

ГЛАВА II

The rest thou dost already know,
And all my sins, and half mu woe,
But talk no more of penitence...

Byron[1]

Народ кипит в монастыре;
У врат святых и на дворе
Рабы боярские стоят.
Их копья медные горят,
Их шапки длинные кругом
Опушены густым бобром;
За кушаком блестят у них
Ножны кинжалов дорогих.

[1] Остальное тебе уже известно,
И грехи мои — целиком, и скорбь моя — наполовину,
Но не говори мне более о покаянии...

Байрон (англ.)

Меж них стремянный молодой,
За гриву правою рукой
Держа боярского коня,
Стоит; по временам, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истерт ногами седока
В пыли малиновый чепрак;
Весь в мыле серый аргамак,
Мотает гривою густой,
Бьет землю жилистой ногой,
Грызет с досады удила,
И пена легкая, бела,
Чиста, как первый снег в полях,
С железа падает на прах.

Но вот обедня отошла,
Гудят, ревут колокола;
Вот слышно пенье — из дверей
Мелькает длинный ряд свечей;
Вослед игумену-отцу
Монахи сходят по крыльцу
И прямо в трапезу идут:
Там грозный суд, последний суд
Произнесет отец святой
Над бедной грешной головой!

Безмолвна трапеза была.
К стене налево два стола
И пышных кресел полукруг,
Изделье иноческих рук,
Блистали тканью парчевой;
В большие окна свет дневной,
Врываясь белой полосой,
Дробяся в искры по стеклу,
Играл на каменном полу.
Резьбою мелкою стена
Была искусно убрана,
И на двери в кружках златых
Блистали образа святых.
Тяжелый, низкий потолок
Расписывал как знал, как мог
Усердный инок... жалкий труд!

Отнявший множество минут
У бога, дум святых и дел:
Искусства горестный удел!..

На мягких креслах пред столом
Сидел в бездействии немом
Боярин Орша. Иногда
Усы седые, борода,
С игривым встретившись лучом,
Вдруг отливали серебром,
И часто кудри старика
От дуновенья ветерка
Приподымалися слегка.
Движеньем пасмурных очей
Нередко он искал дверей,
И в нетерпении порой
Он по столу стучал рукой.

В конце противном залы той
Один, в цепях, к нему спиной,
Покрыт одеждою раба,
Стоял Арсений у столба.
Но в молодом лице его
Вы не нашли б ни одного
Из чувств, которых смутный рой
Кружится, вьется над душой
В час расставания с землей.
Хотел ли он перед врагом
Предстать с бесчувственным челом,
С холодной важностью лица
И мстить хоть этим до конца?
Иль он невольно в этот миг
Глубокой мыслию постиг,
Что он в цепи существ давно
Едва ль не лишнее звено?..
Задумчив, он смотрел в окно
На голубые небеса;
Его манила их краса;
И кудри легких облаков,
Небес серебряный покров,
Неслись свободно, быстро там,
Кидая тени по холмам;
И он увидел: у окна,

Заботой резвою полна,
Летала ласточка — то вниз,
То вверх под каменный карниз
Кидалась с дивной быстротой
И в щели пряталась сырой;
То, взвившись на небо стрелой,
Тонула в пламенных лучах...
И он вздохнул о прежних днях,
Когда он жил, страстям чужой,
С природой жизнию одной.
Блеснули тусклые глаза,
Но это блеск был — не слеза;
Он улыбнулся, но жесток
В его улыбке был упрек!

И вдруг раздался звук шагов,
Невнятный говор голосов,
Скрып отворяемых дверей...
Они! — взошли! — толпа людей
В высоких, черных клобуках,
С свечами длинными в руках.
Согбенный тягостью вериг
Пред ними шел слепой старик,
Отец игумен. Сорок лет
Уж он не знал, что божий свет;
Но ум его был юн, богат,
Как сорок лет тому назад.
Он шел, склонясь на посох свой,
И крест держал перед собой;
И крест осыпан был кругом
Алмазами и жемчугом.
И трость игумена была
Слоновой кости, так бела,
Что лишь с седой его брадой
Могла равняться белизной.

Перекрестясь, он важно сел,
И пленника подвесть велел,
И одного из чернецов
Позвал по имени — суров
И холоден был вид лица
Того святого чернеца.
Потом игумен, наклонясь,
Сказал боярину, смеясь,

Два слова на ухо. В ответ
На сей вопрос или совет
Кивнул боярин головой...
И вот слепец махнул рукой!
И понял данный знак монах,
Укор готовый на устах
Словами книжными убрал
И так преступнику вещал:
«Безумный, бренный сын земли!
Злой дух и страсти привели
Тебя медовою тропой
К границе жизни сей земной.
Грешил ты много, но из всех
Грехов страшней последний грех.
Простить не может суд земной,
Но в небе есть судья иной:
Он милосерд — ему теперь
При нас дела свои поверь!»

Арсений

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел! — благодарю.
Не понимаю, что была
У вас за мысль? — мои дела
И без меня ты должен знать,
А душу можно ль рассказать?
И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я бессовестный злодей!
Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин!
Когда б сквозь бедный мой наряд
Не проникал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват.
Но всех равно влечет судьба:
И под одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человек, как и другой.
И ты, и ты, слепой старик,

Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне;
И в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
И клятвы б грозные забыл,
И перенесть бы счастлив был
За слово, ласку или взор
Мое мученье, мой позор!..

Орша

Не поминай теперь об ней;
Напрасно!.. у груди моей,
Хоть ныне поздно вижу я,
Согрелась, выросла змея!..
Но ты заплатишь мне теперь
За хлеб и соль мою, поверь.
За сердце ж дочери моей
Я заплачу тебе, злодей,
Тебе, найденыш без креста,
Презренный раб и сирота!..

Арсений

Ты прав... не знаю, где рожден!
Кто мой отец, и жив ли он?
Не знаю... люди говорят,
Что я тобой ребенком взят,
И был я отдан с ранних пор
Под строгий иноков надзор,
И вырос в тесных я стенах
Душой дитя — судьбой монах!
Никто не смел мне здесь сказать
Священных слов: «отец» и «мать»!
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен?
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Но нынче сам я не хочу
Предать их имя палачу
И все, что славно было б в нем,

Облить и кровью и стыдом:
Умру, как жил, твоим рабом!..
Нет, не грози, отец святой;
Чего бояться нам с тобой?
Обоих нас могила ждет...
Не все ль равно, что день, что год?
Никто уж нам не господин;
Ты в рай, я в ад — но путь один!
С тех пор, как длится жизнь моя,
Два раза был свободен я:
Последний ныне. В первый раз,
Когда я жил еще у вас,
Среди молитв и пыльных книг,
Пришло мне в мысли хоть на миг
Взглянуть на пышные поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы!
И в час ночной, в ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
При блеске молний роковых
Я убежал из стен святых;
Боязнь с одеждой кинул прочь,
Благословил и хлад и ночь,
Забыл печали бытия
И бурю братом назвал я.
Восторгом бешеным объят,
С ней унестись я был бы рад,
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил!
О старец, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

Игумен

На что нам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!
В другом ты ныне обвинен,
И хочет истины закон.
Открой же нам друзей своих,
Убийц, разбойников ночных,

Которых страшные дела
Смывает кровь и кроет мгла,
С которыми, забывши честь,
Ты мнил несчастную увезть.

Арсений

Мне их назвать? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной.
О нет, их тайну — не мою —
Я неизменно сохраню,
Пока земля в урочный час
Как двух друзей не примет нас.
Пытай железом и огнем,
Я не признаюся ни в чем;
И если хоть минутный крик
Изменит мне... тогда, старик,
Я вырву слабый мой язык!..

Монах

Страшись упорствовать, глупец!
К чему? уж близок твой конец,
Скорее тайну нам предай.
За гробом есть и ад и рай,
И вечность в том или другом!..

Арсений

Послушай, я забылся сном
Вчера в темнице. Слышу вдруг
Я приближающийся звук,
Знакомый, милый разговор,
И будто вижу ясный взор...
И, пробудясь во тьме, скорей
Ищу тех звуков, тех очей...
Увы! они в груди моей!
Они на сердце, как печать,
Чтоб я не смел их забывать,
И жгут его, и вновь живят...
Они мой рай, они мой ад!
Для вспоминания об них
Жизнь — ничего, а вечность — миг!

Игумен

Богохулитель, удержись!
Пади на землю, плачь, молись,
Прими святую в грудь боязнь...

Мечтанья злые — божья казнь!
Молись ему...

Арсений

Напрасный труд!
Не говори, что божий суд
Определяет мне конец:
Всё люди, люди, мой отец!
Пускай умру... но смерть моя
Не продолжит их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить — и в крови,
Неправой казнью пролитой,
В крови безумца молодой
Им разогреть не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам;
И тень несчастного, поверь,
Не отопрет им рая дверь!..
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне!
Я молод, молод — знал ли ты,
Что́ значит молодость, мечты?
Или не знал? Или забыл,
Как ненавидел и любил?
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой трещине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?..
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл... ты слеп, ты сед,
И от желаний ты о́твык...
Что за нужда? ты жил, старик;
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил — я также мог бы жить!..

Но тут игумен с места встал,
Речь нечестивую прервал,
И негодуя все вокруг
На гордый вид и гордый дух,
Столь непреклонный пред судьбой,
Шептались грозно меж собой,
И слово «пытка» там и там
Вмиг пробежало по устам;
Но узник был невозмутим,
Бесчувственно внимал он им.
Так бурей брошен на песок,
Худой, увязнувший челнок,
Лишенный весел и гребцов,
Недвижим ждет напор валов.
. . . .
. . . .
. . . .

...Светает. В поле тишина.
Густой туман, как пелена
С посеребренною каймой,
Клубится над Днепром-рекой.
И сквозь него высокий бор,
Рассыпанный по скату гор,
Безмолвно смотрится в реке,
Едва чернея вдалеке.
И из-за тех густых лесов
Выходят стаи облаков,
А из-за них, огнем горя,
Выходит красная заря.
Блестят кресты монастыря;
По длинным башням и стенам
И по расписанным вратам
Прекрасный, чистый и живой,
Как счастье жизни молодой,
Играет луч ее златой.

Унылый звон колоколов
Созвал уж в храм святых отцов;
Уж дым кадил между столбов,
Вился струей, и хор звучал...
Вдруг в церковь служка прибежал,
Отцу игумену шепнул
Он что-то скоро — тот вздрогнул

И молвил: «Где же казначей?
Поди спроси его скорей,
Не затерял ли он ключей!»
И казначей из алтаря
Пришел, дрожа и говоря,
Что все ключи еще при нем,
Что не виновен он ни в чем!
Засуетились чернецы,
Забегали во все концы,
И свод нередко повторял
Слова: бежал! кто? как бежал?
И в монастырскую тюрьму
Пошли один по одному,
Загадкой мучаясь простой,
Жильцы обители святой!..

Пришли, глядят: распилена
Решетка узкого окна,
Во рву притоптанный песок
Хранил следы различных ног;
Забытый на песке лежал
Стальной, зазубренный кинжал,
И польский шелковый кушак
Изорван, скручен кое-как,
К ветвям березы под окном
Привязан крепким был узлом.

Пошли прилежно по следам:
Они вели к Днепру — и там
Могли заметить на мели
Рубец отчалившей ладьи.
Вблизи, на прутьях тростника
Лоскут того же кушака
Висел в воде одним концом,
Колеблем ранним ветерком.

«Бежал! Но кто ж ему помог?
Конечно, люди, а не бог!..
И где же он нашел друзей?
Знать, точно он большой злодей!» —
Так, собираясь, меж собой
Твердили иноки по́рой.

ГЛАВА III

'Tis he! 'tis he! I know him now;
I know him by his pallid brow...

Byron[1]

Зима! из глубины снегов
Встают, чернея, пни дерёв,
Как призраки, склонясь челом
Над замерзающим Днепром.
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин — и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц крадется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет;
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой,
Когда, голодный и худой,
Обходит волк вокруг гумна.
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги,
И скрып, и щелканье зубов;
И каждый вечер меж кустов
Сто ярких глаз, как свечи в ряд,
Во мраке прыгают, блестят...

Но вьюги зимней не страшась,
Однажды в ранний утра час
Боярин Орша дал приказ
Собраться челяди своей,
Точить ножи, седлать коней;
И разнеслась везде молва,
Что беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.
От войска русского гонцы
Во все помчалися концы.
Зовут бояр и их людей
На славный пир — на пир мечей!

---

[1] Это он, это он! Я теперь узнаю его;
Я узнаю его по бледному челу...

Байрон (англ.)

Садится Орша на коня,
Дал знак рукой гремя, звеня,
Средь вопля женщин и детей
Все повскакали на коней,
И каждый с знаменьем креста
За ним проехал в ворота;
Лишь он, безмолвный, не крестясь,
Как бусурман, татарский князь,
К своим приближась воротам,
Возвел глаза — не к небесам;
Возвел он их на терем тот,
Где прежде жил он без забот,
Где нынче ветер лишь живет
И где, качая изредка
Дверь без ключа и без замка,
Как мать качает колыбель,
Поет гульливая метель!..

*

. . . .
. . . .
. . . .
Умчался дале шумный бой,
Оставя след багровый свой...
Между поверженных коней,
Обломков копий и мечей
В то время всадник разъезжал;
Чего-то, мнилось, он искал,
То низко голову склоня,
До гривы черного коня,
То вдруг привстав на стременах...
Кто ж он? не русский! и не лях —
Хоть платье польское на нем
Пестрело ярко серебром,
Хоть сабля польская, звеня,
Стучала по ребрам коня!
Чела крутого смуглый цвет,
Глаза, в которых мрак и свет
В борьбе сменялися не раз,
Почти могли б уверить вас,
Что в нем кипела кровь татар...
Он был не молод — и не стар.
Но, рассмотрев его черты,

Не чуждые той красоты
Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где все что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле,—
Вздохнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше, чем страдал.

Среди долины был курган.
Корнистый дуб, как великан,
Его пятою попирал
И горделиво расстилал
Над ним по прихоти своей
Шатер чернеющих ветвей.
Тут бой ужасный закипел,
Тут и затих. Громада тел,
Обезображенных мечом,
Пестрела на кургане том,
И снег, окрашенный в крови,
Кой-где протаял до земли;
Кора на дубе вековом
Была изрублена кругом,
И кровь на ней видна была,
Как будто бы она текла
Из глубины сих новых ран...
И всадник взъехал на курган,
Потом с коня он соскочил
И так в раздумье говорил:
«Вот место — мертвый иль живой
Он здесь... вот дуб — к нему спиной
Прижавшись, бешеный старик
Рубился — видел я хоть миг,
Как, окружен со всех сторон,
С пятью рабами бился он,
И дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова!..
Здесь сквозь толпу, издалека
Я видел, как его рука
Три раза с саблей поднялась
И опустилась — каждый раз,
Когда она являлась вновь,
По ней ручьем бежала кровь...

Четвертый взмах я долго ждал!
Но с поля он не побежал,
Не мог бежать, хотя б желал!..»
И вдруг он внемлет слабый стон,
Подходит, смотрит: «Это он!»
Главу, омытую в крови,
Боярин приподнял с земли
И слабым голосом сказал:
«И я узнал тебя! узнал!
Ни время, ни чужой наряд
Не изменят зловещий взгляд
И это бледное чело,
Где преступление и зло
Печать оставили свою.
Арсений! Так, я узнаю,
Хотя могилы на краю,
Улыбку прежнюю твою
И в ней шипящую змею!
Я узнаю и голос твой
Меж звуков стороны чужой,
Которыми ты, может быть,
Его желаешь изменить.
Твой умысел постиг я весь,
Я знаю, для чего ты здесь.
Но верный родине моей,
Не отверну теперь очей,
Хоть ты б желал, изменник-лях,
Прочесть в них близкой смерти страх,
И сожаленье, и печаль...
Но знай, что жизни мне не жаль,
А жаль лишь то, что час мой бил,
Покуда я не отомстил;
Что не могу поднять меча,
Что на руках моих, с плеча
Омытых кровью до локтей
Злодеев родины моей,
Ни капли крови нет твоей!..»

«Старик! о прежнем позабудь...
Взгляни сюда, на эту грудь,
Она не в ранах, как твоя,
Но в ней живет тоска-змея!
Ты отомщен вполне, давно,
А кем и как — не все ль равно?

Но лучше мне скажи, молю,
Где отыщу я дочь твою?
От рук врагов земли твоей,
Их поцелуев и мечей,
Хоть сам теперь меж ними я,
Ее спасти я поклялся!»

«Скачи скорей в мой старый дом.
Там дочь моя; ни ночь, ни днем
Не ест, не спит, все ждет да ждет,
Покуда милый не придет!
Спеши... уж близок мой конец,
Теперь обиженный отец
Для вас лишь страшен как мертвец!»
Он дальше говорить хотел,
Но вдруг язык оцепенел;
Он сделать знак хотел рукой,
Но пальцы сжались меж собой.
Тень смерти мрачной полосой
Промчалась на его челе;
Он обернул лицо к земле,
Вдруг протянулся, захрипел,
И — дух от тела отлетел!

К нему Арсений подошел,
И руки сжатые развел,
И поднял голову с земли:
Две яркие слезы текли
Из побелевших мутных глаз,
Собой лишь светлы, как алмаз.
Спокойны были все черты,
Исполнены той красоты,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.

И долго юноша над ним
Стоял, раскаяньем томим,
Невольно мысля о былом,
Прощая — не прощен ни в чем!
И на груди его потом
Он тихо распахнул кафтан:
Старинных и последних ран

На ней кровавые следы
Вились, чернели, как бразды.
Он руку к сердцу приложил,
И трепет замиравших жил
Ему неясно возвестил,
Что в буйном сердце мертвеца
Кипели страсти до конца,
Что блеск печальный этих глаз
Гораздо прежде их погас!..

Уж время шло к закату дня,
И сел Арсений на коня,
Стальные шпоры он в бока
Ему вонзил — и в два прыжка
От места битвы роковой
Он был далеко.
Пеленой
Широкою за ним луга
Тянулись: яркие снега
При свете косвенных лучей
Сверкали тысячью огней.
Пред ним стеной знакомый лес
Чернеет на краю небес;
Под сень дерев въезжает он:
Все тихо, всюду мертвый сон,
Лишь иногда с седого пня,
Послыша близкий храп коня,
Тяжелый ворон, царь степной,
Слетит и сядет на другой,
Свой кровожадный чистя клев
О сучья жесткие дерев;
Лишь отдаленный вой волков,
Бегущих жадною толпой
На место битвы роковой,
Терялся в тишине степей...
Сыпучий иней вкруг ветвей
Берез и сосен, над путем
Прозрачным свившихся шатром,
Висел косматой бахромой;
И часто, шапкой иль рукой
Когда за них он задевал,
Прах серебристый осыпал
Его лицо... и быстро он
Скакал, в раздумье погружен.

Измучил непривычный бег
Его коня — в глубокий снег
Он вязнет часто... труден путь!
Как печь, его дымится грудь,
От нетерпенья седока
В крови и пене все бока.
Но близко, близко... вот и дом
На берегу Днепра крутом
Пред ним встает из-за горы,
Заборы, избы и дворы
Приветливо между собой
Теснятся пестрою толпой,
Лишь дом боярский между них,
Как призрак, сумрачен и тих!..

Он въехал на широкий двор.
Все пусто... будто глад иль мор
Недавно пировали в нем.
Он слез с коня, идет пешком...
Толпа играющих детей,
Испуганных огнем очей,
Одеждой чуждой пришлеца
И бледностью его лица,
Его встречает у крыльца
И с криком убегает прочь...
Он входит в дом — в покоях ночь,
Закрыты ставни, пол скрыпит,
Пустая утварь дребезжит
На старых полках; лишь порой
Широкой, белой полосой
Рисуясь на печи большой,
Проходит в трещину ставней
Холодный свет дневных лучей!

И лестницу Арсений зрит
Сквозь сумрак; он бежит, летит
Наверх, по шатким ступеням.
Вот свет блеснул его очам,
Пред ним замерзшее окно:
Оно давно растворено,
Сугробом собрался большим
Снег, не растаявший под ним.
Увы! знакомые места!
Налево дверь — но заперта.

Как кровью, ржавчиной покрыт,
Большой замок на ней висит,
И, вынув нож из кушака,
Он всунул в скважину замка,
И, затрещав, распался тот...
И тихо дверь толкнув вперед,
Он входит робкою стопой
В светлицу девы молодой.

Он руки с трепетом простер,
Он ищет взором милый взор,
И слабый шепчет он привет:
На взгляд, на речь ответа нет!
Однако смято ложе сна,
Как будто бы на нем она
Тому назад лишь день, лишь час
Главу покоила не раз,
Младенческий вкушая сон.
Но, приближаясь, видит он
На тонких белых кружевах
Чернеющий слоями прах,
И ткани паутин седых
Вкруг занавесок парчевых.

Тогда в окно светлицы той
Упал заката луч златой,
Играя, на ковер цветной;
Арсений голову склонил...
Но вдруг затрясся, отскочил
И вскрикнул, будто на змею
Поставил он пяту свою...
Увы! теперь он был бы рад,
Когда б быстрей, чем мысль иль взгляд,
В него проник смертельный яд!..

Громаду белую костей
И желтый череп без очей
С улыбкой вечной и немой —
Вот что узрел он пред собой.
Густая, длинная коса,
Плеч беломраморных краса,
Рассыпавшись, к сухим костям
Кой-где прилипнула... и там,
Где сердце чистое такой
Любовью билось огневой,

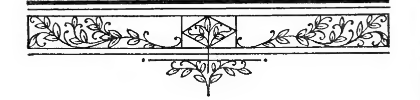
Давно без пищи уж бродил
Кровавый червь — жилец могил!
. . . .

«Так вот все то, что я любил!
Холодный и бездушный прах,
Горевший на моих устах,
Теперь без чувства, без любви
Сожмут объятия земли.
Душа прекрасная ее,
Приняв другое бытие,
Теперь парит в стране святой,
И как укор передо мной
Ее минутной жизни след!
Она погибла в цвете лет
Средь тайных мук иль без тревог,
Когда и как, то знает бог.
Он был отец — но был мой враг:
Тому свидетель этот прах,
Лишенный сени гробовой,
На свете признанный лишь мной!

Да, я преступник, я злодей —
Но казнь равна ль вине моей?
Ни на земле, ни в свете том
Нам не сойтись одним путем...
Разлуки первый грозный час
Стал веком, вечностью для нас,
О, если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде, чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там среди святых
Погибший рай надежд моих.
Творец! отдай ты мне назад
Ее улыбку, нежный взгляд,
Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта,
Один лишь слабый звук отдай...
Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм — без божества!..

Теперь осталось мне одно:
Иду! — куда? не все ль равно,
Та иль другая сторона?
Здесь прах ее, но не она!
Иду отсюда навсегда
Без дум, без цели и труда,
Один с тоской во тьме ночной,
И вьюга след завеет мой!..»





САШКА

Нравственная поэма

1

Наш век смешон и жалок,— все пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам;
Но нынче я не тот уж, как бывало,—
Пою, смеюсь. Герой мой добрый малый.

2

Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год,
Но я за то нимало не сердился
И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив — глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне «ты»;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили.

3

Он был мой друг. Уж нет таких друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Пусть спит оно в земле чужих полей,
Не тронуто никем, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.

4

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга —
Как разгадать? Что может в час такой
Наполнить сердце, жившее так много
И так недолго с смутною тревогой?
Один лишь друг умел тебя понять
И ныне может, должен рассказать
Твои мечты, дела и приключенья —
Глупцам в забаву, мудрым в поученье.

5

Будь терпелив, читатель милый мой!
Кто б ни был ты: внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой,—
Картина будет; это — только рама!
От правил, утвержденных стариной,
Не отступлю,— я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так много...
Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет,
Тот, верно, не видал людей и свет,
О наслажденьях знает лишь по слухам
И предан был учителям да мукам.

6

Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
Там (я весь мир в свидетели возьму)
Веселье вредно русскому карману,
Занятья вредны русскому уму.
Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Москва — не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский,— сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец; ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
Заветное преданье поколений.
Бывало, я у башни угловой
Сижу в тени, и солнца луч осенний
Играет с мохом в трещине сырой,
И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают, верхом, низом
Кружатся, вьются, чуждые людей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной,
Как упованье вольной поднебесной.

9

Я не философ — боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом пташки
Я не гонюсь, хотя в былые дни
Не вовсе чужд был глупой сей замашки.
Ну, муза,— ну, скорее,— разверни
Запачканный листок свой подорожный!..
Не завирайся,— тот зоил безбожный...
Куда теперь нам ехать из Кремля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? «На Пресню погоняй, извозчик!»
«Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
Сравненье дерзко, но люблю я страх
Все дерзости, по вольности дворянской.
Спокойствия рачитель на часах
У будки пробудился, восклицая:
«Кто едет?» — «Муза!» — «Что за черт! Какая?»
Ответа нет. Но вот уже пруды...
Белеет мост, по сторонам сады
Под инеем пушистым спят унылы;
Луна сребрит железные перилы.

11

Гуляка праздный, пьяный молодец,
С осанкой важной, в фризовой шинели,
Держась за них, бредет — и вот конец
Перилам. «Всё направо!» Заскрипели
Полозья по сугробам, как резец
По мрамору... Лачуги, цепью длинной
Мелькая мимо, кланяются чинно...
Вдали мелькнул знакомый огонек...
«Держи к воротам... Стой,— сугроб глубок!..
Пойдем по снегу, муза, только тише
И платье подними как можно выше».

12

Калитка — скрып... Двор темен. По доскам
Идти неловко... Вот насилу сени
И лестница; но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить ногам.
Взошли. Толкнули дверь — и свет огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,
Прищурясь, заграждает путь гостям
И вопрошает: «Что угодно вам?» —
И, услыхав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится неучтиво...

13

Но, несмотря на это, мы взойдем:
Вы знаете, для музы и поэта,
Как для хромого беса, каждый дом
Имеет вход особый; ни секрета,
Ни запрещенья нет для нас ни в чем...
У столика, в одном углу светлицы,
Сидели две... девицы — не девицы...
Красавицы... названье тут как раз!..
Чем выгодней, узнать прошу я вас
От наших дам, в деревне и столице
Красавицею быть или девицей?

14

Красавицы сидели за столом,
Раскладывая карты, и гадали
О будущем. И ум их видел в нем
Надежды (то, что мы и все видали).
Свеча горела трепетным огнем,
И часто, вспыхнув, луч ее мгновенный
Вдруг обливал и потолок и стены.
В углу переднем фольга образов
Тогда меняла тысячу цветов,
И верба, наклоненная над ними,
Блистала вдруг листами золотыми.

15

Одна из них (красавиц) не вполне
Была прекрасна, но зато другая...
О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув — о небесах мечтая!
Слегка головку приклонив к стене
И устремив на столик взор прилежный,
Она сидела несколько небрежно.
В ответ на речь подруги иногда
Из уст ее пустое «нет» иль «да»
Едва скользило, если предсказанья
Премудрой карты стоили вниманья.

16

Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна;
Но вместе с этим гордый вид чела
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным взором,
Такая смесь не может быть укором.
В том вы должны поверить мне в кредит,
Тем боле что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-под Праги...
И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

17

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
Несчастный жид,— он умер не под палкой!»
Его жена пять месяцев спустя
Произвела на божий свет дитя,
Хорошенькую Тирзу. Имя это
Дано по воле одного корнета.

18

Под рубищем простым она росла
В невежестве, как травка полевая
Прохожим не замечена,— ни зла,
Ни гордой добродетели не зная.
Но час настал — пора любви пришла.
Какой-то смертный ей сказал два слова:
Она в объятья божества земного
Упала; но увы, прошло дней шесть,
Уж полубог успел ей надоесть;
И с этих пор, чтоб избежать ошибки,
Она дарила всем свои улыбки...

19

Мечты любви умчались, как туман.
Свобода стала ей всего дороже.
Обманом сердце платит за обман
(Я так слыхал, и вы слыхали тоже).
В ее лице характер южных стран
Изображался резко. Не наемный
Огонь горел в очах; без цели, томно,
Покрыты светлой влагой, иногда
Они блуждали, как порой звезда
По небесам блуждает,— и, конечно,
Был это знак тоски немой, сердечной.

20

Безвестная печаль сменялась вдруг
Какою-то веселостью недужной...
(Дай бог, чтоб всех томил такой недуг!)
Волной вставала грудь, и пламень южный
В ланитах рделся, белый полукруг
Зубов жемчужных быстро открывался;
Головка поднималась, развивался
Душистый локон, и на лик младой
Катился, лоснясь, черною струей;
И ножка, разрезвясь, не зная плена,
Бесстыдно обнажалась до колена.

21

Когда шалунья навзничь на кровать
Шутя, смеясь, роскошно упадала,
Не спорю, мудрено ее понять,—
Она сама себя не понимала,—
Ей было трудно сердцу приказать,
Как баловню-ребенку. Надо было
Кому-нибудь с неведомою силой
Явиться и приветливой душой
Его согреть... Явился ли герой,
Или вотще остался ожидаем,
Все это мы со временем узнаем.

22

Теперь к ее подруге перейдем,
Чтоб выполнить начатую картину.
Они недавно жили тут вдвоем,
Но души их сливались во едину
И мысли их встречалися во всем.
О, если б знали, сколько в этом званье
Сердец отличных, добрых! Но вниманье
Увлечено блистаньем модных дам.
Вздыхая, мы бежим по их следам...
Увы, друзья, а наведите справки,
Вся прелесть их... в кредит из модной лавки!

23

Она была свежа, бела, кругла,
Как снежный шарик; щеки, грудь и шея,
Когда она смеялась или шла,
Дрожали сладострастно; не краснея,
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидела юбка; но плутовка
Поднять умела грудь, открыть плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства...

24

Она звалась Варюшею. Но я
Желал бы ей другое дать названье:
Скажу ль, при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея;
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца. Я тогда печален,
Сердит,— молчу или браню весь дом,
И рад прибить за слово чубуком.
Итак, для избежанья зла, мы нашу
Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

25

Увы, минувших лет безумный сон
Со смехом повторить не смеет лира!
Живой водой печали окроплен,
Как труп давно застывшего вампира,
Грозя перстом, поднялся молча он,
И мысль к нему прикована... Ужели
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук иных —
Волшебный стан и пару глаз больших?
(Хоть, признаюсь вам, разбирая строго,
Получше их видал я после много.)

26

Да, много лет и много горьких мук
С тех пор отяготело надо мною;
Но первого восторга чудный звук
В груди не умирает,— и порою,
Сквозь облако забот, когда недуг
Мой слабый ум томит неугомонно,
Ее глаза мне светят благосклонно.
Так в час ночной, когда гроза шумит
И бродят облака, — звезда горит
В дали эфирной, не боясь их злости,
И шлет свои лучи на землю в гости.

27

Пред нагоревшей сальною свечой
Красавицы, раздумавшись, сидели,
И заставлял их вздрагивать порой
Унылый свист играющей метели.
И как и вам, читатель милый мой,
Им стало скучно... Вот, наместо знака
Условного, залаяла собака,
И у калитки брякнуло кольцо.
Вот чей-то голос... Идут на крыльцо...
Параша потянулась и зевнула
Так, что едва не бухнулась со стула,

28

А Тирза быстро выбежала вон,
Открылась дверь. В плаще, закидан снегом,
Явился гость... Насмешливый поклон
Отвесил и, как будто долгим бегом
Или волненьем был он утомлен,
Упал на стул... Заботливой рукою
Сняла Параша плащ, потом другою
Стряхнула иней с шелковых кудрей
Пришельца. Видно, нравился он ей...
Все нравится, что молодо, красиво
И в чем мы видим прибыль особливо.

29

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надушен был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казалися покрыты
Его чело и нежные ланиты,—
Не знаю, мук ли то последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет,—
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.

30

Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней...
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальных
Презренье, гордость; хоть он не был горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

31

Борьба рождает гордость. Воевать
С людскими предрассудками труднее,
Чем тигров и медведей поражать
Иль со штыком на вражьей батарее
За белый крестик жизнью рисковать...
Клянусь, иметь великий надо гений,
Чтоб разом сбросить цепь предубеждений,
Как сбросил бы я платье, если б вдруг
Из севера всевышний сделал юг.
Но ныне нас противное пугает:
Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

32

Да кто же этот гость?.. Pardon, сейчас!..
Рассеянность... Monsieur, рекомендую:
Герой мой, друг мой — Сашка!.. Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас такую
И в этом месте... Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещенья
О нем дадут весьма дурное мненье.
Я говорил,— он слушал, он был весь
Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..
И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

33

Герой мой Сашка тихо развязал
Свой галстук... «Сашка» — старое названье!
Но «Сашка» тот печали не видал,
И, недозревший, он угас в изгнанье.
Мой Сашка меж друзей своих не знал
Другого имя,— дурно ль, хорошо ли,
Разуверять друзей не в нашей воле.
Он галстук снял рассеянно перстом
Провел по лбу, поморщился, потом
Спросил: «Где Тирза?» — «Дома».— «Что
ж не видно
Ее?» — «Уснула».— «Как ей спать не стыдно!»

34

И он поспешно входит в тот покой,
Где часто с Тирзой пламенные ночи
Он проводил... Все полно тишиной
И сумраком волшебным; прямо в очи
Недвижно смотрит месяц золотой
И на стекле в узоры ледяные
Кидает искры, блески огневые,
И голубым сиянием стена
Игриво и светло озарена.
И он (не месяц, но мой Сашка) слышит,
В углу на ложе кто-то слабо дышит.

35

Он руку протянул,— его рука
Попала в стену; протянул другую —
Ощупал тихо кончик башмачка.
Схватил потом и ножку, но какую?!
Так миньятюрна, так нежна, мягка
Казалась эта ножка, что невольно
Подумал он, не сделал ли ей больно.
Меж тем рука все далее ползет,
Вот круглая коленочка... и вот,
Вот — для чего смеетесь вы заране? —
Вот очутилась на двойном кургане...

36

Блаженная минута!.. Закипел
Мой Александр, склонившись к деве спящей.
Он поцелуй на грудь напечатлел
И стан ее обвил рукой дрожащей.
В самозабвенье пылком он не смел
Дохнуть... Он думал: «Тирза дорогая!
И жизнию и чувствами играя,
Как ты, я чужд общественных связей,—
Как ты, один с свободою моей,
Не знаю в людях ни врага, ни друга,—
Живу, чтоб жить как ты, моя подруга!

37

Судьба вчера свела случайно нас,
Случайно завтра разведет навечно —
Не все ль равно, что год, что день, что час,
Лишь только б я провел его беспечно?..»
И не сводил он ярких черных глаз
С своей жидовки и не знал, казалось,
Что резвое созданье притворялось.
Меж тем почла за нужное она
Проснуться и была удивлена,
Как надлежало... (Страх и удивленье
Для женщин в важных случаях спасенье.)

38

И, прежде потерев глаза рукой,
Она спросила: «Кто вы?» — «Я, твой Саша!»
«Неужто?.. Видишь, баловник какой!
Ступай, давно там ждет тебя Параша!..
Нет, надо разбудить меня... Постой,
Я отомщу». И за руку схватила
Его проворно и... и укусила,
Хоть это был скорее поцелуй.
Да, мерзкий критик, что ты ни толкуй,
А есть уста, которые украдкой
Кусать умеют сладко, очень сладко!..

39

Когда бы Тирзу видел Соломон,
То, верно б, свой престол украсил сю,—
У ног ее и царство, и закон,
И славу позабыл бы... Но не смею
Вас уверять, затем, что не рожден
Владыкой, и не знаю, в низкой доле,
Как люди ценят вещи на престоле;
Но знаю только то, что Сашка мой
За целый мир не отдал бы порой
Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
Достойные любой восточной сказки.

40

«Откуда ты?» — «Не спрашивай, мой друг!
Я был на бале!» — «Бал! а что такое?»
«Невежда! это — говор, шум и стук,
Толпа глупцов, веселье городское,—
Наружный блеск, обманчивый недуг;
Кружатся девы, чванятся нарядом,
Притворствуют и голосом и взглядом,
Кто ловит душу, кто пять тысяч душ...
Все так невинны, но я им не муж.
И как ни уважаю добродетель,
А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

41

Каким-то новым чувством смущена,
Его слова еврейка поглощала.
Сначала показалась ей смешна
Жизнь городских красавиц, но... сначала.
Потом пришло ей в мысль, что и она
Могла б кружиться ловко пред толпою,
Терзать мужчин надменной красотою,
В высокие смотреться зеркала
И уязвлять, но не желая зла,
Соперниц гордой жалостью, и в свете
Блистать, и ездить четверней в карете.

42

Она прижалась к юноше. Листок
Так жмется к ветке, бурю ожидая.
Стучало сердце в ней, как молоток,
Уста полураскрытые, пылая,
Шептали что-то. С головы до ног
Она горела. Груди молодые
Как персики являлись наливные
Из-под сорочки... Сашкина рука
По ним бродила медленно, слегка...
Но... есть во мне к стыдливости вниманье —
И целый час я пропущу в молчанье.

43

Все было тихо в доме. Облака
Нескромный месяц дымкою одели,
И только раздавались изредка
Сверчка ночного жалобные трели;
И мышь в тени родного уголка
Скреблась в обои старые прилежно.
Моя чета, раскинувшись небрежно,
Покоилась, не думая о том,
Что небеса грозили близким днем,
Что ночь... Вы на веку своем едва ли
Таких ночей десяток насчитали...

44

Но Тирза вдруг молчанье прервала
И молвила: «Послушай, прочь все шутки!
Какая мысль мне странная пришла:
Что если б ты, откинув предрассудки
(Она его тут крепко обняла),
Что если б ты, мой милый, мой бесценный,
Хотел меня утешить совершенно,
То завтра или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с собой.
Известно мне, все для тебя возможно,
А отказать в безделице безбожно».

45

«Пожалуй!» — отвечал ей Саша. Он
Из слов ее расслушал половину,—
Его клонил к подушке сладкий сон,
Как птица клонит слабую тростину.
Блажен, кто может спать! Я был рожден
С бессонницей. В теченье долгой ночи,
Бывало, беспокойно бродят очи
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж прошло,
Блуждая в мире вымысла без пищи,
Как лазарони или русский нищий...

46

И жадный червь ее грызет, грызет,—
Я думаю, тот самый, что когда-то
Терзал Саула; но порой и тот
Имел отраду: арфы звук крылатый,
Как ангела таинственный полет,
В нем воскрешал и слезы и надежды;
И опускались пламенные вежды,
С гармонией сливалася мечта,
И злобный дух бежал, как от креста.
Но этих звуков нет уж в поднебесной,—
Они исчезли с арфою чудесной...

47

И все исчезнет. Верить я готов,
Что наш безлучный мир — лишь прах могильный
Другого,— горсть земли, в борьбе веков
Случайно уцелевшая и сильно
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного платья,
И по сродству имеют в добрый час
Влиянье благотворное на нас...
А дай сойтись, так заварится каша,—
В кулачки, и... прощай планета наша.

48

И пусть они блестят до той поры,
Как ангелов вечерние лампады.
Придет конец воздушной их игры,
Печальная разгадка сей шарады...
Любил я с колокольни иль с горы,
Когда земля молчит и небо чисто,
Теряться взором в их степи огнистой,—
И мнится, что меж ними и землей
Есть путь, давно измеренный душой,—
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их света.

49

Итак, герой наш спит, приятный сон,
Покойна ночь, а вы, читатель милый,
Пожалуйте,— иначе принужден
Я буду удержать вас силой...
Роман, вперед!.. Не йдет? Ну, так он
Пойдет назад. Герой наш спит покуда,
Хочу я рассказать, кто он, откуда,
Кто мать его была, и кто отец,
Как он на свет родился, наконец,
Как он попал в позорную обитель,
Кто был его лакей и кто учитель.

50

Его отец — симбирский дворянин,
Иван Ильич NN-ов, муж дородный,
Богатого отца любимый сын.
Был сам богат; имел он ум природный
И, что ума полезней, важный чин;
С четырнадцати лет служил и с миром
Уволен был в отставку бригадиром;
А бригадир блаженных тех времен
Был человек и, следственно, умен.
Иван Ильич наш слыл, по крайней мере,
Любезником в своей симбирской сфере.

51

Он был врагом писателей и книг,
В делах судебных почерпнул познанья.
Спал очень долго, ел за четверых;
Ни на кого не обращал вниманья
И не носил приличия вериг.
Однако же пред знатью горделивой
Умел он гнуться скромно и учтиво.
Но в этот век учтивости закон
Для исполненья трсбовал поклон;
А кланяться закону иль вельможе
Считалося тогда одно и то же.

52

Он старших уважал. зато и сам
Почтительность вознаграждал улыбкой,
И, ревностный хотя угодник дам,
Женился, по словам его, ошибкой.
В чем он ошибся, не могу я вам
Открыть, а знаю только (не соврать бы),
Что был он грустен на другой день свадьбы
И что печаль его была одна
Из тех, какими жизнь мужей полна.
По мне они большие эгоисты —
Всё жен винят, как будто сами чисты.

53

Благодари меня, о женский пол!
Я — Демосфен твой: за твою свободу
Я рад шуметь; я непомерно зол
На всю, на всю, рогатую породу!
Кто власть им дал?.. Восстаньте,— час пришел!
Я поднимаю знамя возмущенья.
Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье!
Конец всему есть! Беззаботно, явно
Идите вслед за Марьей Николавной!
Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах — кровь, не молоко,
И вы краснеть умеете уж кстати
От взоров и намеков нашей братьи.

54

Иван Ильич стерег жену свою
По старому обычаю. Без лести
Сказать, он вел себя, как я люблю,
По правилам тогдашней старой чести.
Проказница ж жена (не утаю)
Читать любила жалкие романы
Или смотреть на светлый шар Дианы,
В беседке темной сидя до утра.
А месяц и романы до добра
Не доведут,— от них мечты родятся...
А искушенью только бы добраться!

55

Она была прелакомый кусок
И многих дум и взоров стала целью.
Как быть: пчела садится на цветок,
А не на камень; чувствам и веселью
Казенных не назначено дорог.
На брачном ложе Марья Николавна
Была, как надо, ласкова, исправна.
Но, говорят (хоть, может быть, и лгут),
Что долг супруги — только лишний труд.
Мужья у жен подобных (не в обиду
Будь сказано), как вывеска, для виду.

56

Иван Ильич имел в Симбирске дом
На самой на горе, против собора.
При мне давно никто уж не жил в нем,
И он дряхлел, заброшен без надзора,
Как инвалид, с георгьевским крестом.
Но некогда с кудрявыми главами,
Вдоль стен колонны высились рядами.
Прозрачною решеткой окружен,
Как клетка, между них висел балкон,
И над дверьми стеклянными в порядке
Виднелися гардин прозрачных складки.

57

Внутри все было пышно; на столах
Пестрели разноцветные клеенки,
И люстры отражались в зеркалах,
Как звезды в луже; моськи и болонки
Встречали шумно каждого в дверях,
Одна другой несноснее, а дале
Зеленый попугай, порхая в зале,
Кричал бесстыдно: «Кто пришел?.. Дурак!»
А гость с улыбкой думал: «Как не так!»
И, ласково хозяйкой принимаем,
Чрез пять минут мирился с попугаем.

58

Из окон был прекрасный вид кругом:
Налево, то есть к западу, рядами
Блистали кровли, трубы и потом
Меж ними церковь с круглыми главами,
И кое-где в тени — отрада днем —
Уютный сад, обсаженный рябиной,
С беседкою, цветами и малиной,
Как детская игрушка, если вам
Угодно, или как меж знатных дам
Румяная крестьянка — дочь природы,
Испуганная блеском гордой моды.

59

Под глинистой утесистой горой,
Унизанной лачужками, направо,
Катилася широкой пеленой
Родная Волга, ровно, величаво...
У пристани двойною чередой
Плоты и барки, как табун, теснились,
И флюгера на длинных мачтах бились,
Жужжа на ветре, и скрипел канат
Натянутый; и, серой мглой объят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной мели.

60

Нестройный говор грубых голосов
Между судов перебегал порою;
Смех, песни, брань, протяжный крик пловцов —
Все в гул один сливалось над водою.
И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветр и день был на закате,
Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто, сев к окну,
Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и отливы,
Их мерный бег, их золотые гривы.

61

Два года жил Иван Ильич с женой,
И все не тесны были ей корсеты.
Ее ль сложенье было в том виной,
Или его немолодые леты?..
Не мне в делах семейных быть судьей!
Иван Ильич иметь желал бы сына
Законного: хоть правом дворянина
Он пользовался часто, но детей,
Вне брака прижитых, злодей,
Раскидывал по свету, где случится,
Страшась с своей деревней породниться.

62

Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной —
Оставить в мире след и, наконец,
Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно,—
Злодеем потому, что жизнь — венец
Терновый, тяжкий, так, по крайней мере,
Должны мы рассуждать по нашей вере...
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она, бесспорно, скверное наследство.

63

Бывало, этой думой удручен,
Я прежде много плакал, и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как туча над степями;
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу, вместо слез, бурь тех,
Один лишь отзыв — звучный, горький смех...
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни — и блещут, но не живы!

64

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал, Поэт породы птичей,
Любовник роз, над розовым кустом
Урчит и свищет меж листов душистых.
Об чем? Какая цель тех звуков чистых?
Прошу хоть раз спросить у соловья.
Он вам ответит песнью... Так и я
Пишу, что мыслю, мыслю, что придется,
И потому мой стих так плавно льется.

65

Прошло два года. Третий год
Обрадовал супругов безнадежных:
Желанный сын, любви взаимной плод,
Предмет забот мучительных и нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были пьяны
Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медвежонок.

66

Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обещает.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? —небо знает!
К тому же полуночный вой собак
И страшный шум на чердаке высоком —
Приметы злые, но не быв пророком,
Я только покачаю головой.
Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых»,— как же мне, поэту,
Не верить можно тайнам и Гамлету?..

67

Младенец рос милее с каждым днем:
Живые глазки, белые ручонки
И русый волос, вьющийся кольцом,—
Пленяли всех знакомых; уж пеленки
Рубашечкой сменилися на нем;
И, первые проказы начиная,
Уж он дразнил собак и попугая...
Года неслись, а Саша рос, и в пять
Добро и зло он начал понимать;
Но, верно, по врожденному влеченью,
Имел большую склонность к разрушенью.

68

Он рос... Отец его бранил и сек —
Затем, что сам был с детства часто сечен,
А слава богу вышел человек:
Не стыд семьи, не туп, не изувечен.
Понятья были низки в старый век...
Но Саша с гордой был рожден душою
И желчного сложенья,— пред судьбою,
Перед бичом язвительной молвы
Он не склонял и после головы.
Умел он помнить, кто его обидел,
И потому отца возненавидел.

69

Великий грех!.. Но чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства — злоба, гордость и любовь,
Как дерева под небом юга знойным.
Шалун мой хмурил маленькую бровь,
Встречаясь с нежным папенькой; от взгляда
Он вздрагивал, как будто б капля яда
Лилась по жилам. Это, может быть,
Смешно,— что ж делать! — он не мог любить,
Как любят все гостиные собачки
За лакомства, побои и подачки.

70

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать,
И что отец, немного с ним поспоря,
Велел его посечь... (конечно, с горя).

71

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный
И в нем терялся мыслию послушной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы на нем от зноя все увянут...

72

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
Они летали над его главой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и страсти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
Достойной жертвы,— и в пустыне света
На дружний зов не встретил он ответа.

73

О, если б мог он, как бесплотный дух,
В вечерний час сливаться с облаками,
Склонять к волнам кипучим жадный слух,
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!
В глуши степей дышать со всей природой
Одним дыханьем, жить ее свободой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить свет!..
(Но, к счастию для вас, читатель милый,
Он не был одарен подобной силой.)

74

Я не берусь вполне, как психолог,
Характер Саши выставить наружу
И вскрыть его, как с труфлями пирог.
Скорей судей молчаньем я принужу
К решению... Пусть суд их будет строг!
Пусть журналист всеведущий хлопочет,
Зачем тот плачет, а другой хохочет!..
Пусть скажет он, что бесом одержим
Был Саша,— я и тут согласен с ним,
Хотя, божусь, приятель мой, повеса,
Взбесил бы иногда любого беса.

75

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess[1]. Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что́ кстати, что́ некстати.

76

Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

77

И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца... Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье:
Там слышал он святых голов паденье,
Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!» —
И, в недостатке хлеба или злата,
Просил одной лишь крови у Марата.

---

[1] Маркиз де Тесс *(фр.)*.

78

Там видел он высокий эшафот;
Прелестная на звучные ступени
Всходила женщина... Следы забот,
Следы живых, но тайных угрызений
Виднелись на лице ее. Народ
Рукоплескал... Вот кудри золотые
Посыпались на плечи молодые;
Вот голова, носившая венец,
Склонилася на плаху... О, творец!
Одумайтесь! Еще момент, злодеи!..
И голова оторвана от шеи...

79

И кровь с тех пор рекою потекла,
И загремела жадная секира...
И ты, поэт, высокого чела
Не уберег! Твоя живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Все, все что ты считал своей душою,—
Слова, мечты с надеждой и тоскою...
Напрасно!.. Ты прошел кровавый путь.
Не отомстив, и творческую грудь
Ни стих язвительный, ни смех холодный
Не посетил — и ты погиб бесплодно...

80

И Франция упала за тобой
К ногам убийц бездушных и ничтожных.
Никто не смел возвысить голос свой;
Из мрака мыслей гибельных и ложных
Никто не вышел с твердою душой,—
Меж тем как втайне взор Наполеона
Уж зрел ступени будущего трона...
Я в этом тоне мог бы продолжать,
Но истина — не в моде, а писать
О том, что было двести раз в газетах,
Смешно, тем боле об таких предметах.

81

К тому же я совсем не моралист —
Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу,
Я палачу не дам похвальный лист,
Но клеветой героя не унижу,—
Ни плеск восторга, ни насмешки свист
Не созданы для мертвых. Царь иль воин,
Хоть он отличья иногда достоин,
Но, верно, нам за тяжкий мавзолей
Не благодарен в комнатке своей
И, длинным одам внемля поневоле,
Зевая вспоминает о престоле.

82

Я прикажу, кончая дни мои,
Отнесть свой труп в пустыню, и высокий
Курган над ним насыпать, и — любви
Символ ненарушимый — одинокий
Поставить крест: быть может, издали,
Когда туман протянется в долине
Иль свод небес взбунтуется, к вершине
Гостеприимной нищий пешеход,
Его заметив, медленно придет,
И, отряхнувши посох, безнадежней
Вздохнет о жизни будущей и прежней —

83

И проклянет, склонясь на крест святой,
Людей и небо, время и природу,—
И проклянет грозы бессильный вой
И пылких мыслей тщетную свободу...
Но нет, к чему мне слушать плач людской?
На что мне черный крест, курган, гробница?
Пусть отдадут меня стихиям! Птица,
И зверь, огонь, и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольется и развеется над миром!..

84

Пускай от сердца, полного тоской
И желчью тайных тщетных сожалений,
Подобно чаше, ядом налитой,
Следов не остается... Без волнений
Я выпил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В лице моем ни страха, ни печали
И говорили хладно: он привык.
И с той поры я облил свой язык
Тем самым ядом и по праву мести
Стал унижать толпу под видом лести...

85

Но кончим этот скучный эпизод
И обратимся к нашему герою.
До этих пор он не имел забот
Житейских и невинною душою
Искал страстей, как пищи. Длинный год
Провел он средь тетрадей, книг, историй,
Грамматик, географий и теорий
Всех философий мира. Пять систем
Имел маркиз, а на вопрос: зачем? —
Он отвечал вам гордо и свободно:
«Monsieur, c'est mon affaire» [1] — так мне угодно!

86

Но Саша не внимал его словам,—
Рассеянно в тетради над строками
Его рука чертила здесь и там
Какой-то женский профиль, и очами,
Горящими подобно двум звездам,
Он долго на него взирал, и нежно
Вздыхал и хоронил его прилежно
Между листов, как тайный милый клад,
Залог надежд и будущих наград,
Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булавку...

[1] Сударь, это мое дело *(фр.)*.

87

Но кто ж она? Что пользы ей вскружить
Неопытную голову, впервые
Сердечный мир дыханьем возмутить
И взволновать надежды огневые?
К чему?.. Он слишком молод, чтоб любить
Со всем искусством древнего Фоблаза.
Его любовь, как снег вершин Кавказа,
Чиста,— тепла, как небо южных стран...
Ему ль платить обманом за обман?..
Но кто ж она? Не модная вертушка,
А просто дочь буфетчика, Маврушка...

88

И Саша был четырнадцати лет.
Он привыкал (скажу вам под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций,
И с шепотом толпа домашних граций
В аллее кралась,— легкою стопой
Он догонял их; и, шутя, порой
Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.

89

Но между них он отличал одну:
В ней было все, что увлекает душу,
Волнует мысли и мешает сну.
Но я, друзья, покой ваш не нарушу
И на портрет накину пелену.
Ее любил мой Саша той любовью,
Которая по жилам с юной кровью
Течет огнем, клокочет и кипит.
Боролись в нем желание и стыд;
Он долго думал, как в любви открыться.—
Но надобно ж на что-нибудь решиться.

90

И мудрено ль? Четырнадцати лет
Я сам страдал от каждой женской рожи
И простодушно уверял весь свет,
Что друг на дружку все они похожи.
Волнующихся персей нежный цвет
И алых уст горячее дыханье
Во мне рождали чудные желанья:
Я трепетал, когда моя рука
Атласных плеч касалася слегка,
Но лишь в мечтах я видел без покрова
Все, что для вас, конечно, уж не ново...

91

Он потерял и сон и аппетит,
Молчит весь день и часто бредит ночь.
По коридору бродит и грустит
И ждет, чтоб показалась Евы дочь,
Чтоб ясный взор мелькнул... Суровый вид
Приняв, он иногда улыбкой хладной
Ответствовал на взор ее отрадный...
Любовь же неизбежна, как судьба,
А с сердцем страх невыгодна борьба!
Итак, мой Саша кончил с ним возиться
И положил с Маврушей объясниться.

92

Случилось это летом, в знойный день.
По мостовой широкими клубами
Вилася пыль. От труб высоких тень
Ложилася на крышах полосами,
И пар с камней струился. Сон и лень
Вполне Симбирском овладели; даже
Катилась Волга медленней и глаже.
В саду, в беседке темной и сырой,
Лежал полураздетый наш герой
И размышлял о тайне съединенья
Двух душ — предмет, достойный размышленья.

93

Вдруг слышит он направо, за кустом
Сирени, шорох платья и дыханье
Волнующейся груди, и потом
Чуть внятный звук, похожий на лобзанье.
Как Саше быть? Забилось сердце в нем,
Запрыгало... Без дальних опасений
Он сквозь кусты пустился легче тени.
Трещат и гнутся ветви под рукой.
И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
Обнявшися в тени цветущей вишни,
Иван Ильич... (Прости ему всевышний!)

94

Увы! покоясь на траве густой,
Проказник старый обнимал бесстыдно
Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловидной,
Ни круглых персей, дышащих весной!
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был несчастный.
Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
Поправил брюки и пустился в путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.

95

И есть за что, не спорю... Между тем
Что делал Саша? С неподвижным взглядом,
Как белый мрамор холоден и нем,
Как Аббадона грозный, новым адом
Испуганный, но помнящий эдем,
С поникшею стоял он головою,
И на челе, наморщенном тоскою,
Качались тени трепетных ветвей...
Но вдруг удар проснувшихся страстей
Перевернул неопытную душу,
И он упал как с неба на Маврушу.

96

Упал! (Прости невинность!) Как змея,
Маврушу крепко обнял он руками,
То холодея, то как жар горя,
Неистово впился в нее устами
И — обезумел... Небо и земля
Слились в туман. Мавруша простонала
И улыбнулась; как волна, вставала
И упадала грудь, и томный взор,
Как над рекой безлучный метеор,
Блуждал вокруг без цели, без предмета,
Боясь всего: людей, дерев и света...

97

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить?.. По мне всего прекрасней
Сложить весь грех на черта,— он привык
К напраслине; к тому же безопасней
Рога и когти, чем иной язык...
Итак, заметим мы, что дух незримый,
Но гордый, мрачный, злой, неотразимый
Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
Играл судьбою Саши, как мячом,
И, следуя пустейшему капризу,
Кидал его то вкось, то вверх, то книзу.

98

Два месяца прошло. Во тьме ночной
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая;
Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлечена,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался,
И в жарких поцелуях он сливался.

99

Казалось, рок забыл о них. Но раз
(Не помню я, в который день недели),—
Уж пролетел давно свиданья час,
А Саша все один был на постели.
Он сел к окну в раздумье. Тихо гас
На бледном своде месяц серебристый,
И неподвижно бахромой волнистой
Вокруг его висели облака.
Дремало все, лишь в окнах изредка
Являлась свечка, силуэт рубчатый
Старухи, из картин Рембрандта взятый,

100

Мелькая, рисовался на стекле
И исчезал. На площади пустынной,
Как чудный путь к неведомой земле,
Лежала тень от колокольни длинной,
И даль сливалась в синеватой мгле.
Задумчив Саша... Вдруг скрипнули двери,
И вы б сказали — поступь райской пери
Послышалась. Невольно наш герой
Вздрогнул. Пред ним, озарена луной,
Стояла дева, опустивши очи,
Бледнее той луны — царицы ночи...

101

И он узнал Маврушу. Но — творец! —
Как изменилось нежное созданье!
Казалось, тело изваял резец,
А бог вдохнул не душу, но страданье.
Она стоит, вздыхает, наконец
Подходит и холодными руками
Хватает руку Саши, и устами
Прижалась к ней, и слезы потекли
Все больше, больше и, казалось, жгли
Ее лицо... Но кто не зрел картины
Раскаянья преступной Магдалины?

102

И кто бы смел изобразить в словах,
Что дышит жизнью в красках Гвидо-Рени?
Гляжу на дивный холст: душа в очах,
И мысль одна в душе,— и на колени
Готов упасть, и непонятный страх,
Как струны лютни, потрясает жилы;
И слышишь близость чудной тайной силы,
Которой в мире верует лишь тот,
Кто как в гробу в душе своей живет,
Кто терпит все упреки, все печали,
Чтоб гением глупцы его назвали.

103

И долго молча плакала она.
Рассыпавшись на кругленькие плечи,
Ее власы бежали, как волна.
Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов... И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной;
К себе на грудь привлек ее рукой
И не щадил ни нежностей, ни ласки,
Чтоб поскорей добраться до развязки.

104

Он говорил: «К чему печаль твоя?
Ты молода, любима,— где ж страданье?
В твоих глазах — мой мир, вся жизнь моя,
И рай земной в одном твоем лобзанье...
Быть может, злобу хитрую тая,
Какой-нибудь... Но нет! И кто же смеет
Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет,
Француз давно не годен никуда...
Ну, полно! слезы прочь, и ляг сюда!»
Мавруша, крепко Сашу обнимая,
Так отвечала, медленно вздыхая:

105

«Послушайте, я здесь в последний раз.
Пренебрегла опасность, наказанье,
Стыд, совесть — все, чтоб только видеть вас,
Поцеловать вам руки на прощанье
И выманить слезу из ваших глаз.
Не отвергайте бедную, — довольно
Уж я терплю,— но что же?.. Сердце вольно...
Иван Ильич проведал от людей
Завистливых... Все Ванька ваш, злодей,—
Через него я гибну... Все готово!
Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть
слово!

106

Для вашего отца впервые я
Забыла стыд,— где у рабы защита?
Грозил он ссылкой, бог ему судья!
Прошла неделя,— бедная забыта...
А все любить другого ей нельзя.
Вчера меня обидными словами
Он разбранил... Но что же перед вами?
Раба? игрушка!.. Точно: день, два, три
Мила, а там? — пожалуй, хоть умри!..»
Тут началися слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.

107

«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
Прощай,— тебя мне больше не видать,
Зато уж помнить буду вечно, вечно...
Виновны оба, мне ж должно страдать.
Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи,—
Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу ждут
Страданья и мужик с косматой бородою...
А ты? — вздохнешь и слюбишься с другою!»

108

Она заплакала. Так или нет
Изгнанница младая говорила,
Я утверждать не смею; двух, трех лет
Достаточна губительная сила,
Чтобы святейших слов загладить след.
А тот, кто рассказал мне повесть эту,—
Его уж нет... Но что за нужда свету?
Не веры я ищу,— я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши предки!

109

Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» — и тысячу имен,
Таких же милых, с истинным вниманьем,
Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невозвратно...
Уже готов был юноша развратный
В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии немом
Уж и она, пылая в расслабленье
Раскинулась, как вдруг — о, провиденье! —

110

Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчины.
Казалось, в страхе с ложа он вскочил,—
Растрепан, босиком, в одной рубашке,—
Вошел и строго обратился к Сашке:
«Eh bien, monsieur, que vois-je?» — «Ah, c'est vous!»
«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?» «Je f<...>!» [1]
И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тузом он выгнал вон француза.

---

[1] «Ну, сударь, что я вижу?» — «Ах, это вы!»
«Что это за шум? Что вы делаете?» — «Я <...>!» *(фр.)*.

111

И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распростясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками... Долго Сашка
Не мог унять волненье сердца. «Вздор,—
Шептал он,— вздор: любовь не жизнь!» Но утро,
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожиданный давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный.

112

К окну с волненьем Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, все готово?» —
«Готово». Вот садится... Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычною улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой
И спряталась в кибитку. Бич лихой
Взвился. «Пошел!»... Колесы застучали...
И вмиг... Но что нам до чужой печали?

113

Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно...
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе,— нежностью наружной
Обманывать он почитал за зло,
За низость,— но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).
И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот нрав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и лакеем.

114

И там проказник был препоручен
Старухе тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжон,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненье ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни как умеют,—
За картами клевещут и желтеют.

115

Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, руки, ноги... Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и черт бы не хотел,
И если бы хоть раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.

116

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —
Двусмысленная вещь; что добрый малый —
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный — и забавней и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.

117

И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань — насмешкой отвечать,
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

118

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердить азы да буки,
И наконец в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

119

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор
длинный
Напрасно входит, кланяется чинно,—
Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит,— втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

120

Пропустим года два... Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюся, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда в приделах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращу вниманье ваше
На те года, потраченные Сашей...

121

Теперь героев разбудить пора,
Пора привесть в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно...
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.

122

На ней измято было все, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой всплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небрежно
Водою обмывает стан свой нежный...
Опять свежа, как персик молодой.
И на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,

123

Садится в изголовье и потом
На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем;
Замерзших окон стекла серебрятся;
В лучах пылинки светлые вертятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно)
Колокола трезвонят беспощадно...

124

Прелестный день! Как пышен божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след;
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его... Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.

125

Из комнаты выходит наш герой.
И, пробираясь длинным коридором,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором —
И мимо. Вот он в комнате другой:
Вот стул с дрожащей ножкою и рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:

126

Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы, и так дале.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? Глупцов крикливый суд,
Коварный шепот злой старухи или
Два-три намека в польском иль в кадрили!

127

Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?
Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где же?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг,— увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..

128

И поделом ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком,— не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Durand, француз
природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам Armand; там есть субретка
Fanchaux — плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж все равно, ей-богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.

129

Причина эта вот — мой кошелек:
Он пуст, как голова француза,— малость
Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!» —
И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздохнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылася до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И... вы легко поймете радость Сашки.

130

Когда же он пришел в свой кабинет,
То у дверей с недвижностью примерной,
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный.
Покрыт, как лаком, был чугунный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суровых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наводил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзывалось.

131

Союз довольно странный заключен
Меж им и Сашей был давно. Их разговоры
Казалися таинственны, как сон;
Вдвоем, бывало, ночью, точно воры,
Уйдут и пропадают. Одарен
Соображаньем бойким, наш приятель
Восточных слов был страшный обожатель,
И потому «Зафиром» наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и что же? —
Все восхищались этой скверной рожей!

132

Зафиру Сашка что-то прошептал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей еще стоял
И говорил все время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотясь на стол, задумчив, нем,
Герой печальный моего рассказа
глядел на африканца в оба глаза.

133

И наконец он подал знак рукой,
И тот исчез быстрей китайской тени.
Проворный, хитрый, с смелою душой,
Он жил у Саши как служебный гений,
Домашний дух (по-русски домовой);
Как Мефистофель, быстрый и послушный,
Он исполнял безмолвно, равнодушно,
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что, кроме Саши, в целом божьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

134

Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено
В цепи семей счастливых!.. Там пустыня
Осталась неприступна, как святыня.
И пальмы там растут до облаков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают очи,
И перси дев черней роскошной ночи.

135

Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись невозвратно...
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря все стало непонятно —
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозою,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать не знает; для него
Все чуждо — солнце, мир и шум его;
Ему обидно общее веселье,—
Оно, нахмурясь, прячется в ущелье.

136

О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,
Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозою,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном,
И наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись, будто куча змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день,— их ветер вновь уносит:
Куда, зачем, откуда? — кто их спросит?

137

И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы нежной.
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд,
С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер чуждый жизни... Мир с тобою!

138

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной...
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братий.
Как знать? — земля до молодых объятий
Охотница... Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И все ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

139

И вы, вы все, которым столько раз
Я подносил приятельскую чашу,—
Какая буря вдаль умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелося. Вы правы:
Я не рожден для дружбы и пиров...
Я в мыслях вечный странник, сын дубров,
Ущелий и свободы, и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.

140

Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем...
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность.

141

О вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.

142

О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Но полно! злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш — век безбожный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

143

Блажен, кто верит счастью и любви,
Блажен, кто верит небу и пророкам,—
Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои
Умел смирить пред гордою толпою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

144

Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студеный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремучей прыгает, сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднею порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали, и мрак между ветвями
Отвсюду смотрит черными очами!

145

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным, и вперед землею
Упругой был кидаем с быстротою.

146

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки,—

147

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца,—
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца...
И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит и за деньги служит,
Всех давит сам, а бьют его — не тужит!

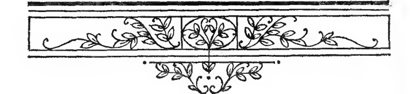
148

Вот племя: всякий черт у них барон!
И уж профессор — каждый их сапожник!
И смело здесь и вслух глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит... Но что ж? Он не рожден
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных — степь простая,
Без памятников славных, без следов,
Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

149

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную контору,
С листком в руках, с оравою друзей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..
Я кончил... Так! дописана страница.
Лампада гаснет... Есть всему граница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпенью и... стихам,
Которые давно уж не звучали
И вдруг с пера бог знает как упали!..





МОНГО

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот дорогой столбовой
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника лихим намётом.
Один — высок и худощав,
Кобылу серую собрав,
То горячит нетерпеливо,
То сдержит вдруг одной рукой.
Мал и широк в плечах другой.
Храпя, мотает длинной гривой
Под ним саврасый скакунок,
Степей башкирских сын счастливый.
Устали всадники. До ног
От головы покрыты прахом.
Коней приезженных размахом
Они любуются порой
И речь ведут между собой.
«Монго, послушай — тут направо!
Осталось только три версты».
«Постой! уж эти мне мосты!
Дрожат и смотрят так лукаво».
«Вперед, Маешка! только нас
Измучит это приключенье,
Ведь завтра в шесть часов ученье!»
«Нет, в семь! я сам читал приказ!»

Но прежде нужно вам, читатель,
Героев показать портрет:
Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,

Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
Породы английской он был —
Флегматик с бурыми усами,
Собак и портер он любил,
Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил фуражку набекрень;
Имел он гадкую посадку:
Неловко гнулся наперед
И не тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот.
Но если, милый, вы езжали
Смотреть российский наш балет,
То, верно, в креслах замечали
Его внимательный лорнет.
Одна из дев ему сначала
Дней девять сряду отвечала,
В десятый день он был забыт —
С толпою смешан волокит.
Все жесты, вздохи, объясненья
Не помогали ничего...
И зародился пламень мщенья
В душе озлобленной его.

Маешка был таких же правил:
Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,
Хотя и дома был без дела;
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток
Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало,
Что не касалось до него;
Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах;

Порою: трезвый — врал безбожно,
И молчалив был — на пирах.
Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов...
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне — он был таков!

Теперь он следует за другом
На подвиг славный, роковой,
Терзаем пьяницы недугом,—
Изгагой мучим огневой.
Приюты неги и прохлады —
Вдоль по дороге в Петергоф,
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов,
В тени таинственных садов.
Там есть трактир... и он от века
Зовется «Красным кабачком»,
И там — для блага человека
Построен сумасшедших дом,
И там приют себе смиренный
Танцорка юная нашла.
Краса и честь балетной сцены,
На содержании была:
N. N., помещик из Казани,
Богатый волжский старожил,
Без волокитства, без признаний
Ее невинности лишил.
«Мой друг! — ему я говорил,—
Ты не в свои садишься сани,
Танцоркой вздумал управлять!
Ну где тебе <...>».

Но обратимся поскорее
Мы к нашим буйным молодцам.
Они стоят в пустой аллее,
Коней привязывают там,
И вот, тропинкой потаенной,
Они к калитке отдаленной
Спешат, подобно двум ворам.
На землю сумрак ниспадает,

Сквозь ветви брезжит лунный свет,
И переливами играет
На гладкой меди эполет.
Вперед отправился Маешка;
В кустах прополз он, как черкес,
И осторожно, точно кошка,
Через забор он перелез.
За ним Монго наш долговязый,
Довольный этою проказой,
Перевалился кое-как.
Ну, лихо! сделан первый шаг!
Теперь душа моя в покое,—
Судьба окончит остальное!

Облокотившись у окна
Меж тем танцорка молодая
Сидела дома и одна.
Ей было скучно, и, зевая,
Так тихо думала она:
«Чудна судьба! о том ни слова —
На матушке моей чепец
Фасона самого дурного,
И мой отец — простой кузнец!..
А я — на шелковом диване
Ем мармелад, пью шоколад;
На сцене — знаю уж заране —
Мне будет хлопать третий ряд.
Теперь со мной плохие шутки:
Меня сударыней зовут,
И за меня три раза в сутки
Каналью повара дерут,
Мой Pierre не слишком интересен,
Ревнив, упрям, что ни толкуй,
Не любит смеху он, ни песен,
Зато богат и глуп, <...>
Теперь не то, что было в школе:
Ем за троих, порой и боле,
И за обедом пью люнель.
А в школе... Боже! вот мученье!
Днем — танцы, выправка, ученье,
А ночью — жесткая постель.
Встаешь, бывало, утром рано,
Бренчит уж в зале фортепьяно,
Поют все врозь, трещит в ушах;

А тут сама, поднявши ногу,
Стоишь, как аист, на часах.
Флёри хлопочет, бьет тревогу...
Но вот одиннадцатый час,
В кареты всех сажают нас.
Тут у подъезда офицеры,
Стоят все в ряд, порою в два...
Какие милые манеры
И всё отборные слова!
Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь,
Зато — вернулись лишь домой —
Директор порет на убой:
Ни взгляд не думай кинуть лишний,
Ни слова ты сказать не смей...
А сам, прости ему всевышний,
Ведь уж какой прелюбодей!..»

Но тут в окно она взглянула
И чуть не брякнулась со стула.
Пред ней, как призрак роковой,
С нагайкой, освещен луной,
Готовый влезть почти в окошко,
Стоит Монго, за ним Маешка.
«Что это значит, господа?
И кто вас звал прийти сюда?
Ворваться к девушке — бесчестно!..»
«Нам, право, это очень лестно!»
«Я вас прошу: подите прочь!»
«Но где же проведем мы ночь?
Мы мчались, выбились из силы...»
«Вы неучи!» — «Вы очень милы!..»
«Чего хотите вы теперь?
Ей-богу, я не понимаю!»
«Мы просим только чашку чаю!»
«Панфишка! отвори им дверь!»
Поклон отвесивши пренизко,
Монго ей бросил нежный взор,
Потом садится очень близко
И продолжает разговор.
Сначала колкие намеки,
Воспоминания, упреки.
Ну, словом, весь любовный вздор...
И нежный вздох прилично томный

Порхнул из груди молодой...
Вот ножку нежную порой
Он жмет коленкою нескромной,
И говоря о том, о сем,
Копаясь, будто бы случайно
Под юбку лезет, жмет корсет,
И ловит то, что было тайно,
Увы, для нас в шестнадцать лет!
. . . .

Маешка, друг великодушный,
Засел поодаль на диван,
Угрюм, безмолвен, как султан.
Чужое счастие нам скучно,
Как добродетельный роман.
Друзья! ужасное мученье
Быть на пиру <...>
Иль адъютантом на сраженье
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонером
Или на бале быть танцором,
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!

Меж тем Монго горит и тает...
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж:
Девятиместная коляска
И в ней пятнадцать седоков...
Увы! печальная развязка,
Неотразимый гнев богов!..
То был N. N. с своею свитой:
Степаном, Федором, Никитой,
Тарасом, Сидором, Петром,
Идут, гремят, орут, Содом!
Все пьяны... прямо из трактира,
И на устах — <...>
Но нет, постой! умолкни лира!
Тебе ль, поклоннице мундира,
Поганых фрачных воспевать?..
В истерике младая дева...
Как защититься ей от гнева,

Куда гостей своих девать?..
Под стол, в комод иль под кровать?
В комоде места нет и платью,
Урыльник полон под кроватью...
Им остается лишь одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно...
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сносить им головы!
Но вмиг проснулся дух военный —
Прыг, прыг!.. и были таковы...

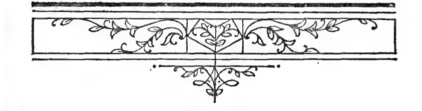
. . . .
. . . .

Уж ночь была, ни зги не видно,
Когда, свершив побег обидный
Для самолюбья и любви,
Повесы на коней вскочили
И думы мрачные свои
Друг другу вздохом сообщили.
Деля печаль своих господ,
Их кони с рыси не сбивались,
Упрямо убавляя ход.
Они <...> спотыкались,
И леность их преодолеть
Ни шпоры не могли, ни плеть.

Когда же в комнате дежурной
Они сошлися поутру,
Воспоминанья ночи бурной
Прогнали краткую хандру.
Тут было шуток, смеху было!
И право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило...

Так повесть кончена моя,
И я прощаюсь со стихами,
А вы не можете ль, друзья,
Нравоученье сделать сами?..





ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам.
— И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого,—
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднѐбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:

Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покататися,
Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю набочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную,—
У ворот стоят у тесовыих
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;

Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,

Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому.

* * *

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо,—
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:

«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася
В такой поздний час Алена Дмитревна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»

«Господин ты мой, Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать,—
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками все боярскими!..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..

Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Моя имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать
И, целуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,

Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную,—
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшой мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитревна,
Горючьми слезами заливалася.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднѐбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,

Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.

Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, басурманский сын,—
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся,—
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —

Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,—
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привесть его пред лицо свое.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.

Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безпошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,—
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать;
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.

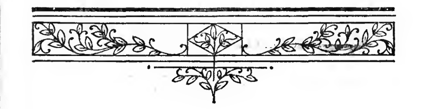
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,

И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

*

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!





ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША

Играй, да не отыгрывайся.
Пословица

ПОСВЯЩЕНИЕ

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

I

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;

По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
. . . .
Короче, славный городок.

II

Но скука, скука, боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.
И там есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И там нет средства от глупцов
И музыкальных вечеров;
И там есть дамы — просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо:
В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.

III

Вдруг оживился круг дворянский;
Губернских дев нельзя узнать;
Пришло известье: полк уланский
В Тамбове будет зимовать.
Уланы, ах! такие хваты...
Полковник, верно, неженатый —
А уж бригадный генерал,
Конечно, даст блестящий бал.
У матушек сверкнули взоры;
Зато, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли в раздумье: сабли, шпоры
Беда для крашеных полов...
Так волновался весь Тамбов.

IV

И вот однажды утром рано,
В час лучший девственного сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядывает Цна,

Когда лишь куполы собора
Роскошно золотит Аврора
И, тишины известный враг,
Еще безмолвствовал кабак,

. . . .

. . . .

Уланы справа по шести
Вступили в город; музыканты,
Дремля на лошадях своих,
Играли марш из «Двух слепых».

V

Услыша ласковое ржанье
Желанных вороных коней,
Чье сердце, полное вниманья,
Тут не запрыгало сильней?
Забыта жаркая перина...
«Малашка, дура, Катерина,
Скорее туфли и платок!
Да где Иван? Какой мешок!
Два года ставни отворяют...»
Вот ставни настежь. Целый дом
Трет стекла тусклые сукном —
И любопытно пробегают
Глаза опухшие девиц
Ряды суровых, пыльных лиц.

VI

«Ах, посмотри сюда, кузина,
Вот этот!» — «Где? майор?» — «О нет!
Как он хорош, а конь — картина,
Да жаль, он, кажется корнет...
Как ловко, смело избочился...
Поверишь ли, он мне приснился...
Я после не могла уснуть...»
И тут девическая грудь
Косынку тихо поднимает —
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взор живой.
Но полк прошел. За ним мелькает
Толпа мальчишек городских,
Немытых, шумных и босых.

VII

Против гостиницы «Московской»,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковской,
Губернский старый казначей.
Давно был дом его построен;
Хотя невзрачен, но спокоен;
Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
На кровле треснувшие доски
Зеленым мохом поросли;
Зато пред окнами цвели
Четыре стриженых березки
Взамен гардин и пышных стор,
Невинной роскоши убор.

VIII

Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил как с собственной казной.
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была ему охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,
Четвертый куш перечеркнуть,
Рутёркой понтирнуть со славой,
И талью скверную порой
Запить цимлянского струей.

IX

Он был врагом трудов полезных,
Трибун тамбовских удальцов,
Гроза всех матушек уездных
И воспитатель их сынков.
Его краплёные колоды
Не раз невинные доходы
С индеек, масла и овса
Вдруг пожирали в полчаса.

Губернский врач, судья, исправник —
Таков его всегдашний круг;
Последний был делец и друг
И за столом такой забавник,
Что казначейша иногда
Сгорит, бывало, от стыда.

X

Я не поведал вам, читатель,
Что казначей мой был женат.
Благословил его создатель,
Послав ему в супруге клад.
Ее ценил он тысяч во сто,
Хотя держал довольно просто
И не выписывал чепцов
Ей из столичных городов.
Предав ей таинства науки,
Как бросить вздох иль томный взор,
Чтоб легче влюбчивый понтер
Не разглядел проворной штуки,
Меж тем догадливый старик
С глаз не спускал ее на миг.

XI

И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно —
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:
Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалося, для нежной страсти
Она родилась. А глаза...
Ну, что такое бирюза?
Что небо? Впрочем, я отчасти
Поклонник голубых очей
И не гожусь в число судей.

XII

А этот носик! эти губки,
Два свежих розовых листка!
А перламутровые зубки,
А голос сладкий, как мечта!
Она картавя говорила,
Нечисто «р» произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?
Любил трепать ее ланиты,
Разнежась, старый казначей.
Как жаль, что не было детей
У них! . . . .
. . . .
. . . .

XIII

Для бóльшей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,
Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.
Она, как должно, тайну эту
Открыла Дуне по секрету.
Вам не случалось двух сестер
Замужних слышать разговор?
О чем тут, боже справедливый,
Не судят милые уста!
О, русских нравов простота!
Я, право, человек нелживый —
А из-за ширмов раза два
Такие слышал я слова...

XIV

Итак, тамбовская красотка
Ценить умела уж усы
. . . .
. . . .
Что ж? знание ее сгубило!
Один улан, повеса милый
(Я вместе часто с ним бывал),
В трактире номер занимал
Окно в окно с ее уборной.

Он был мужчина в тридцать лет;
Штаб-ротмистр, строен, как корнет;
Взор пылкий, ус довольно черный:
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.

XV

Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами провиденья,
Как птица божия, он жил,
Он, спать ложась, привык не ведать,
Чем будет завтра пообедать.
Шатаясь по Руси кругом,
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтёром,
То волокитой отпускным,
Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.

XVI

Страстьми земными не смущаем,
Он не терялся никогда.
. . . .
. . . .
Бывало, в деле, под картечью
Всех рассмешит надутой речью,
Гримасой, фарсой площадной
Иль неподдельной остротой.
Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб —
. . . .
Порой незлобен, как дитя,
Был добр и честен, но шутя.

XVII

Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;

Не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени;
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я.
. . . .
. . . .
. . . .
Таков-то был штаб-ротмистр Гарин:
По крайней мере, мой портрет
Был схож тому назад пять лет.

XVIII

Спешил о редкостях Тамбова
Он у трактирщика узнать.
Узнал немало он смешного —
Интриг секретных шесть иль пять;
Узнал, невесты как богаты,
Где свахи водятся иль сваты;
Но занял более всего
Мысль беспокойную его
Рассказ о молодой соседке.
«Бедняжка! — думает улан,—
Такой безжизненный болван
Имеет право в этой клетке
Тебя стеречь — и я, злодей,
Не тронусь участью твоей?»

XIX

К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета.
Ермолка вишневого цвета
С каймой и кистью золотой,
Дар молдаванки молодой.
Сидит и смотрит он прилежно...
Вот, промелькнувши как во мгле,
Обрисовался на стекле
Головки милой профиль нежный;
Вот будто стукнуло окно...
Вот отворяется оно.

XX

Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздается стук карет...
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло? Какую
Назвать причину поверней?
Уж не бессонница ль у ней?
На ручку опершись головкой,
Она вздыхает, а в руке
Чулок; но дело не в чулке —
Заняться этим нам неловко...
И если правду уж сказать —
Ну кстати ль было б ей вязать!

XXI

Сначала взор ее прелестный
Бродил по синим небесам,
Потом склонился к поднебесной
И вдруг... какой позор и срам!
Напротив, у окна трактира,
Сидит мужчина без мундира.
Скорей, штаб-ротмистр! ваш сюртук!
И поделом... окошко стук...
И скрылось милое виденье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На вас навеяла б смущенье;
Но я отдам улану честь —
Он молвил: «Что ж? начало есть».

XXII

Два дня окно не отворялось.
Он терпелив. На третий день
На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень;
Тихонько рама заскрипела.
Она с чулком к окну подсела.
Но опытный заметил взгляд
Ее заботливый наряд.

Своей удачею довольный,
Он встал и вышел со двора —
И не вернулся до утра.
Потом, хоть было очень больно,
Собрав запас душевных сил,
Три дня к окну не подходил.

XXIII

Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:
Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волненья
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой,
Не спас ты, чудный и живой?

XXIV

Скажу короче: в две недели
Наш Гарин твердо мог узнать,
Когда она встает с постели,
Пьет с мужем чай, идет гулять.
Отправится ль она к обедне —
Он в церкви, верно, не последний;
К сырой колонне прислонясь,
Стоит все время не крестясь.
Лучом краснеющей лампады
Его лицо озарено:
Как мрачно, холодно оно!
А испытующие взгляды
То вдруг померкнут, то блестят —
Проникнуть в грудь ее хотят.

XXV

Давно разрешено сомненье,
Что любопытен нежный пол.

Улан большое впечатленье
На казначейшу произвел
Своею странностью. Конечно,
Не надо было б мысли грешной
Дорогу в сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!
. . . .
. . . .
. . . .
Жизнь без любви такая скверность;
А что, скажите, за предмет
Для страсти муж, который сед?

XXVI

Но время шло. «Пора к развязке! —
Так говорил любовник мой.—
Вздыхают молча только в сказке,
А я не сказочный герой».
Раз входит, кланяясь пренизко,
Лакей. «Что это?» — «Вот-с записка;
Вам барин кланяться велел-с;
Сам не приехал — много дел-с;
Да приказал вас звать к обеду,
А вечерком потанцевать.
Он сам изволил так сказать».
«Ступай, скажи, что я приеду».
И в три часа, надев колет,
Летит штаб-ротмистр на обед.

XXVII

Амфитрион был предводитель —
И в день рождения жены,
Порядка ревностный блюститель,
Созвал губернские чины
И целый полк. Хотя бригадный
Заставил ждать себя изрядно
И после целый день зевал,
Но праздник в том не потерял.
Он был устроен очень мило:
В огромных вазах по столам
Стояли яблоки для дам;

А для мужчин в буфете было
Еще с утра принесено
В больших трех ящиках вино.

XXVIII

Вперед под ручку с генеральшей
Пошел хозяин. Вот за стол
Уселся от мужчин подальше
Прекрасный, но стыдливый пол —
И дружно загремел с балкона,
Средь утешительного звона
Тарелок, ложек и ножей,
Весь хор уланских трубачей:
Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страстный —
Но в наше время решено,
Что все старинное смешно.

XXIX

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря
На строй гусаров полусонных
И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!

XXX

С Авдотьей Николавной рядом
Сидел штаб-ротмистр удалой —
Впился в нее упрямым взглядом,
Крутя усы одной рукой.
Он видел, как в ней сердце билось.

И вдруг — не знаю, как случилось,—
Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.
Тут начались извиненья
И завязался разговор;
Два комплимента, нежный взор —
И уж дошло до изъясненья...
Да, да — как честный офицер!
Но казначейша — не пример.

XXXI

Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решилась предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить — способ самый женский.
Но уж давно известна нам
Любовь друзей и дружба дам!
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-â-tête
С красавицей в осьмнадцать лет

. . . .
. . . .
. . . .

XXXII

Вообще я мог в году последнем
В девицах наших городских
Заметить страсть к воздушным бредням
И мистицизму. Бойтесь их!
Такая мудрая супруга,
В часы любовного досуга,
Вам вдруг захочет доказать,
Что два и три совсем не пять;
Иль вместо пламенных лобзаний
Магнетизировать начнет —
И счастлив муж, коли заснет!..
Плоды подобных замечаний,
Конечно б, мог не ведать мир,
Но польза, польза мой кумир.

XXXIII

Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал.
Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.
Увы . . . .
Не веруют амуру ныне;
Забыт любви волшебный царь;
Давно остыл его алтарь!
Но за столичным просвещеньем
Провинциалы не спешат;
. . . .
. . . .
. . . .

XXXIV

И сердце Дуни покорилось;
Его сковал могучий взор...
Ей дома целу ночь все снилось
Бряцанье сабли или шпор.
Поутру, встав часу в девятом,
Садится в шлафоре измятом
Она за вечную канву —
Все тот же сон и наяву.
По службе занят муж ревнивый,
Она одна — разгул мечтам!
Вдруг дверью стукнули. «Кто там?
Андрюшка! Ах, тюлень ленивый!..»
Вот чей-то шаг — и перед ней
Явился... только не Андрей.

XXXV

Вы отгадаете, конечно,
Кто этот гость нежданный был.
Немного, может быть, поспешно
Любовник смелый поступил;
Но, впрочем, взявши в рассмотренье
Его минувшее терпенье
И рассудив, легко поймешь,
Зачем рискует молодежь.
Кивнув легонько головою,

Он к Дуне молча подошел
И на лицо ее навел
Взор, отуманенный тоскою;
Потом стал длинный ус крутить,
Вздохнул и начал говорить:

XXXVI

«Я вижу, вы меня не ждали —
Прочесть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпенья!
Я здесь — на все решился я...
Тебе я предан... ты моя!
Ни мелочные толки света,
Ничто, ничто не страшно мне;
Презренье светской болтовне —
Иль я умру от пистолета...
О, не пугайся, не дрожи;
Ведь я любим — скажи, скажи! .»

XXXVII

И взор его притворно скромный,
Склоняясь к ней, то угасал,
То, разгораясь страстью томной,
Огнем сверкающим пылал.
Бледна, в смущенье оставалась
Она пред ним... Ему казалось,
Что чрез минуту для него
Любви наступит торжество...
Как вдруг внезапный и невольный
Стыд овладел ее душой —
И, вспыхнув вся, она рукой
Толкнула прочь его: «Довольно,
Молчите — слышать не хочу!
Оставите ль? я закричу!..»

XXXVIII

Он смотрит: это не притворство,
Не шутки — как ни говори,—
А просто женское упорство,

Капризы — черт их побери!
И вот — о, верх всех унижений! —
Штаб-ротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг
Дверь настежь — и в дверях супруг.
Красотка: «Ах!» Они взглянули
Друг другу сумрачно в глаза;
Но молча разнеслась гроза,
И Гарин вышел. Дома пули
И пистолеты снарядил,
Присел — и трубку закурил.

XXXIX

И через час ему приносит
Записку грязную лакей.
Что это? чудо? Нынче просит
К себе на вистик казначей,
Он именинник — будут гости...
От удивления и злости
Чуть не задохся наш герой.
Уж не обман ли тут какой?
Весь день проводит он в волненье.
Настал и вечер наконец.
Глядит в окно: каков хитрец —
Дом полон, что за освещенье!
А все засунуть — или нет? —
В карман на случай пистолет.

XL

Он входит в дом. Его встречает
Она сама, потупя взор.
Вздох полновесный прерывает
Едва начатый разговор.
О сцене утренней ни слова.
Они друг другу чужды снова.
Он о погоде говорит;
Она «да-с, нет-с» — и замолчит.
Измучен тайною досадой,
Идет он дальше в кабинет...
Но здесь спешить нам нужды нет,
Притом спешить нигде не надо.
Итак, позвольте отдохнуть,
А там докончим как-нибудь.

XLI

Я жить спешил в былые годы,
Искал волнений и тревог,
Законы мудрые природы
Я безрассудно пренебрег.
Что ж вышло? Право, смех и жалость!
Сковала душу мне усталость,
А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь?
Назад не возвратят усилья.
Так в клетке молодой орел,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подъемлет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

XLII

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда все сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не все ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:
Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

XLIII

Но есть всему конец на свете,
И даже выспренним мечтам.
Ну, к делу. Гарин в кабинете.
О чудеса! Хозяин сам
Его встречает с восхищеньем,
Сажает, потчует вареньем,
Несет шампанского стакан.

«Иуда!» — мыслит мой улан.
Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола;
Игра уж дельная была,
И банк притом благоразумный.
Его держал сам казначей
Для облегчения друзей.

XLIV

И так как господин Бобковский
Великим делом занят сам,
То здесь блестящий круг тамбовский
Позвольте мне представить вам.
Во-первых, господин советник,
Блюститель нравов, мирный сплетник,
. . . .
. . . .
А вот уездный предводитель,
Весь спрятан в галстук, фрак до пят,
Дискант, усы и мутный взгляд.
А вот, спокойствия рачитель,
Сидит и сам исправник — но
Об нем уж я сказал давно.

XLV

Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан,
Нетесаный, недоученый,
А уж безнравственный болван.
Доверье полное имея
К игре и знанью казначея,
Он понтирует, как велят,—
И этой чести очень рад.
Еще тут были... но довольно,
Читатель милый, будет с вас.
И так несвязный мой рассказ,
Перу покорствуя невольно
И своенравию чернил,
Бог знает чем я испестрил.

XLVI

Пошла игра. Один, бледнея,
Рвал карты, вскрикивал; другой,
Поверить проигрыш не смея,
Сидел с поникшей головой.
Иные, при удачной талье,
Стаканы шумно наливали
И чокались. Но банкомет
Был нем и мрачен. Хладный пот
По гладкой лысине струился.
Он все проигрывал дотла.
В ушах его «дана», «взяла»
Так и звучали. Он взбесился —
И проиграл свой старый дом
И все, что в нем или при нем.

XLVII

Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче — все, все дочиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидел он бледный и безмолвный.
Уж было за полночь. Треща,
Одна погасла уж свеча.
Свет утра синевато-бледный
Вдоль по туманным небесам
Скользил. Уж многим игрокам
Сон прогулять казалось вредно,
Как вдруг, очнувшись, казначей
Вниманья просит у гостей.

XLVIII

И просит важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье
Иль «проиграть уж и жену».
О страх! о ужас! о злодейство!
И как доныне казначейство
Еще терпеть его могло!

Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад,—
Он говорит,— пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только чур не плутовать —
Иначе вам несдобровать!»

XLIX

Теперь кружок понтеров праздных
Вообразить прошу я вас,
Цвета их лиц разнообразных,
Блистанье их очков и глаз,
Потом усастого героя,
Который понтирует стоя;
Против него меж двух свечей
Огромный лоб, седых кудрей
Покрытый редкими клочками,
Улыбкой вытянутый рот
И две руки с колодой — вот
И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах в уголке.

L

Что в ней тогда происходило —
Я не берусь вам объяснить:
Ее лицо изобразило
Так много мук, что может быть,
Когда бы вы их разгадали,
Вы поневоле б зарыдали.
Но пусть участия слеза
Не отуманит вам глаза:
Смешно участье в человеке,
Который жил и знает свет.
Рассказы вымышленных бед
В чувствительном прошедшем веке
Не мало проливали слез...
Кто ж в этом выиграл — вопрос?

LI

Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал... час настал...
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчанье подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа,— все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо —

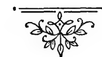
LII

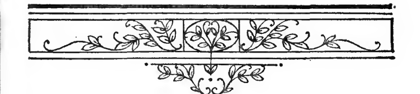
И в обморок. Ее в охапку
Схватив — с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестию забавной
Смущен был город благонравный.
Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись.
Старик защитников нашел.
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет!
Ух! я не выношу клевет.

LIII

И вот конец печальной были,
Иль сказки — выражусь прямей.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду ныне ищут драмы,

Все просят крови — даже дамы.
А я, как робкий ученик,
Остановился в лучший миг,
Простым нервическим припадком
Неловко сцену заключил,
Соперников не помирил
И не поссорил их порядком...
Что ж делать! Вот вам мой рассказ,
Друзья; покамест будет с вас.





БЕГЛЕЦ

(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой!..

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он никем не зримый...
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,

Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе мучимый недугом,—
Один,— он молча умирал...
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь, преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду...
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело;
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: я любим,

Она лишь мной живет и дышит...
И хочет он взойти и слышит,
И слышит песню старины...
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

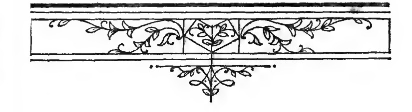
Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!» «Один?» «Один!».

«А где отец и братья?» «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
«Ты отомстил?» «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...»
«Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И все кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.





ДЕМОН

Восточная повесть

ЧАСТЬ I

I

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,

Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел,— и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;

Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой [1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

---

[1] Покрывало. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна[1], и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою

---

[1] Вроде волынки. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул...

IX

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг,
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!
И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;

В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забыть? — забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
. . . .

X

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи [1],— кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.

---

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

XI

И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких [1] стременах,
Надвинув на брови папах,[2]
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;

[1] Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла. *(Прим. М. Ю Лермонтова.)*

[2] Шапка, вродеериванки. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет...

XIII

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны,
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,

Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...

Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!..

ЧАСТЬ II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!

Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,

Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье

Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит.

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет...
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...
. . . .
. . . .

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обидель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.

Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура[1] стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,

[1] Чингар — род гитары. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно,—
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . .

X

Тамара

О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Демон

Ты прекрасна!

Тамара

Но молви, кто ты? отвечай...

Демон

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь,— я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю,—
Я раб твой,— я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?

Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!

Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!

Демон

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,

Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями,
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной тишине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;

И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

Тамара

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон

Против тебя ли?

Тамара

Нас могут слышать!..

Демон

Мы одне.

Тамара

А бог!

Демон

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!

Тамара

А наказанье, муки ада?

Демон

Так что ж? Ты будешь там со мной!

Тамара

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи,— ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Демон

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;

И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге,
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;

Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил

И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
. . . .

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,

Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня.
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь упокоилися там;
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится...
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.

Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

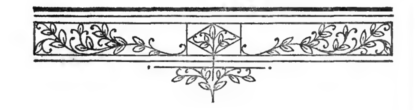
К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца,—
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.
«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,

И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.





СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

Умчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок;
Поэты в том виновны не совсем
(Хотя у многих стих не вовсе гладок),
И публика не права между тем;
Кто виноват, кто прав — уж я не знаю,
А сам стихов давно я не читаю —
Не потому, чтоб не любил стихов,
А так: смешно ж терять для звучных строф
Златое время... в нашем веке зрелом,
Известно вам, все заняты мы делом.

2

Стихов я не читаю — но люблю
Марать шутя бумаги лист летучий;
Свой стих за хвост отважно я ловлю;
Я без ума от тройственных созвучий
И влажных рифм — как, например, на *ю*
Вот почему пишу я эту сказку.
Ее волшебно темную завязку
Не стану я подробно объяснять,
Чтоб кой-каких допросов избежать;
Зато конец не будет без морали,
Чтобы ее хоть дети прочитали.

3

Герой известен, и не нов предмет;
Тем лучше: устарело все, что ново!
Кипя огнем и силой юных лет,
Я прежде пел про демона иного:
То был безумный, страстный, детский бред.
Бог знает, где заветная тетрадка?
Касается ль душистая перчатка
Ее листов — и слышно: c'est joli?..[1]
Иль мышь над ней старается в пыли?..
Но этот черт совсем иного сорта —
Аристократ и не похож на черта.

4

Перенестись теперь прошу сейчас
За мною в спальню: розовые шторы
Опущены — с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры.
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный,
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных
Рисуется младой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.

5

То был ли сам великий Сатана,
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных?
Не знаю! Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью,
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль — без тела — часто в видах разных;
(Бесов вобще рисуют безобразных).

---

[1] прелестно?.. *(фр.)*

6

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно сладкой красотою,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался — стихами!

7

Оружие отличное: врагам
Кидаете в лицо вы эпиграммой...
Вам насолить захочется ль друзьям?
Пустите в них поэмой или драмой!
Но полно, к делу. Я сказал уж вам,
Что в спальне той таился хитрый демон
Невинным сном был тронут не совсем он.
Не мудрено: кипела в нем не кровь,
И понимал иначе он любовь;
И речь его коварных искушений
Была полна — ведь он недаром гений!

8

«Не знаешь ты, кто я, но уж давно
Читаю я в душе твоей, незримо,
Неслышно; говорю с тобою — но
Слова мои как тень проходят мимо
Ребяческого сердца — и оно
Дивится им спокойно и в молчанье.
Пускай. Зачем тебе мое названье?
Ты с ужасом отвергнула б мою
Безумную любовь — но я люблю
По-своему... терпеть и ждать могу я,
Не надо мне ни ласк, ни поцелуя.

9

Когда ты спишь, о ангел мой земной,
И шибко бьется девственною кровью
Младая грудь под грезою ночной,
Знай, это я, склонившись к изголовью,
Любуюся — и говорю с тобой.
И в тишине, наставник твой случайный,
Чудесные рассказываю тайны...
А много было взору моему
Доступно и понятно, потому
Что узами земными я не связан,
И вечностью и знанием наказан...

10

Тому назад еще немного лет
Я пролетал над сонною столицей.
Кидала ночь свой странный полусвет,
Румяный запад с новою денницей
На севере сливались, как привет
Свидания с молением разлуки;
Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Неясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча, с волной их уносила в море.

11

Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснилися как тени,
И в пене вод гранитных крылец их
Купалися широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые;
И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот на гордый прах земли,
Как будто мир достоин их любви,
Как будто им земля небес дороже...
И я тогда... я улыбнулся тоже.

12

И я кругом глубокий кинул взгляд
И увидал с невольною отрадой
Преступный сон под сению палат,
Корыстный труд пред тощею лампадой
И страшных тайн везде печальный ряд;
Я стал ловить блуждающие звуки,
Веселый смех — и крик последней муки:
То ликовал иль мучился порок!
В молитвах я подслушивал упрек,
В бреду любви — бесстыдное желанье!
Везде обман, безумство иль страданье.

13

Но близ Невы один старинный дом
Казался полн священной тишиною;
Все важностью наследственною в нем
И роскошью дышало вековою;
Украшен был он княжеским гербом;
Из мрамора волнистого колонны
Кругом теснились чинно, и балконы
Чугунные воздушною семьей
Меж них гордились дивною резьбой;
И окон ряд, всегда прозрачно-темных,
Манил, пугая, взор очей нескромных.

14

Пора была, боярская пора!
Теснилась знать в роскошные покои —
Былая знать минувшего двора,
Забытых дел померкшие герои!
Музыкой тут гремели вечера,
В Неве дробился блеск высоких окон,
Напудренный мелькал и вился локон;
И часто ножка с красным каблучком
Давала знак условный под столом;
И старики в звездах и бриллиантах
Судили резко о тогдашних франтах.

15

Тот век прошел, и люди те прошли;
Сменили их другие; род старинный
Перевелся; в готической пыли
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забытые, тускнели; поросли
Дворы травой, и блеск сменив бывалый,
Сырая мгла и сумрак длинной залой
Спокойно завладели... тихий дом
Казался пуст; но жил хозяин в нем,
Старик худой и с виду величавый,
Озлобленный на новый век и нравы.

16

Он ростом был двенадцати вершков,
С домашними был строг неумолимо;
Всегда молчал; ходил до двух часов,
Обедал, спал... да иногда, томимый
Бессонницей, собранье острых слов
Перебирал или читал Вольтера;
Как быть? Сильна к преданьям в людях вера;
Имел он дочь четырнадцати лет,
Но с ней видался редко; за обед
Она являлась в фартучке, с мадамой;
Сидела чинно и держалась прямо.

17

Всегда одна, запугана отцом
И англичанки строгостью небрежной,
Она росла,— как ландыш за стеклом
Или скорей как бледный цвет подснежный.
Она была стройна, но с каждым днем
С ее лица сбегали жизни краски,
Задумчивей большие стали глазки;
Покинув книжку скучную, она
Охотнее садилась у окна,
И вдалеке мечты ее блуждали,
Пока ее играть не посылали.

18

Тогда она сходила в длинный зал,
Но бегать в нем ей как-то страшно было;
И как-то странно детский шаг звучал
Между колонн; разрытою могилой
Над юной жизнью воздух там дышал.
И в зеркалах являлися предметы
Длиннее и бесцветнее, одеты
Какой-то мертвой дымкою; и вдруг
Неясный шорох слышался вокруг:
То загремит, то снова тише, тише...
(То были тени предков — или мыши!)

19

И что ж? — она привыкла толковать
По-своему развалин говор странный,
И стала мысль горячая летать
Над бледною головкой и туманный,
Воздушный рой видений навевать.
Я с ней не разлучался. Детский лепет
Подслушивать, невинной груди трепет
Следить, ее дыханием с немой,
Мучительной и жадною тоской
Как жизнью упиваться... это было
Смешно! — но мне так ново и так мило!

20

Влюбился я. И точно хороша
Была не в шутку маленькая Нина.
Нет, никогда свинец карандаша
Рафаэля иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша.
Подобный профиль... все ее движенья
Особого казались выраженья
Исполнены — но с самых детских дней
Ее глаза не изменяли ей,
Тая равно надежду, радость, горе,
И было темно в них, как в синем море.

21

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много — только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы — им в жизни нет уроков;
Их чувствам повторяться не дано...
Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде.

22

Ее смущали странные мечты;
Порой она среди пустого зала
Сиянье, роскошь, музыку, цветы,
Толпу гостей и шум воображала;
Кипела кровь от душной тесноты,
На платьице чудесные узоры
Виднелись ей — и вот гремели шпоры,
К ней кавалер незримый подходил
И в мнимый вальс с собою уносил;
И вот она кружилась в вихре бала
И, утомясь, на кресла упадала...

23

И тут она, склонив лукавый взор
И выставив едва приметно ножку,
Двусмысленный и темный разговор
С ним завести старалась понемножку;
Сначала был он весел и остер,
А иногда и чересчур небрежен;
Но под конец зато как мил и нежен!
Что делать ей? — притворно строгий взгляд
Его как гром отталкивал назад,
А сердце билось в ней так шибко, шибко,
И по устам змеилася улыбка.

24

Пред зеркалом, бывало, целый час
То волосы пригладит, то красивый
Цветок пришпилит к ним; движенью глаз,
Головке наклоненной вид ленивый
Придав, стоит... и учится; не раз
Хотелось мне совет ей дать лукавый,
Но ум ее, и сметливый и здравый
Отгадывал все мигом сам собой;
Так годы шли безмолвной чередой;
И вот настал тот возраст, о котором
Так полны ваши книги всяким вздором.

25

То был великий день: семнадцать лет!
Все, что досель таилось за решеткой,
Теперь надменно явится на свет!
Старик отец послал за старой теткой,
И съехались родные на совет;
Их затруднил удачный выбор бала:
Что, будет двор иль нет? Иных пугала
Застенчивость дикарки молодой,
Но очень тонко замечал другой,
Что это вид ей даст оригинальный;
Потом наряд осматривали бальный.

26

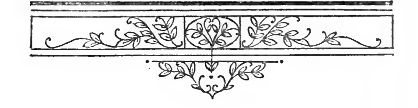
Но вот настал и вечер роковой.
Она с утра была как в лихорадке;
Поплакала немножко, золотой
Браслет сломала, в суетах перчатки
Разорвала... со страхом и тоской
Она в карету села и дорогой
Была полна мучительной тревогой
И, выходя, споткнулась на крыльце...
И с бледностью печальной на лице
Вступила в залу... Странный шепот встретил
Ее явленье — свет ее заметил.

27

Кипел, сиял уж в полном блеске бал;
Тут было все, что называют *светом;*
Не я ему названье это дал,
Хоть смысл глубокий есть в названье этом;
Своих друзей я тут бы не узнал;
Улыбки, лица лгали так искусно,
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно.
Прислушаться хотел я — но едва
Ловил мой слух летучие слова,
Отрывки безыменных чувств и мнений —
Эпиграфы неведомых творений!..»

. . . .





МЦЫРИ[1]

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.
1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

---

[1] Мцыри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «по́слушника». *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом

Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен,—
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,

Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил,— я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней

Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал,
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,

Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг — голос — легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал

Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,— когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише,— но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...

И затворилася опять!..
Тебе, я знаю не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,— мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —

Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц,— и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,

И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез

В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печально тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...

22

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,

Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...

23

И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Так было сладко, любо мне...

А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.

*

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

*

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

*

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

Так я найден и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

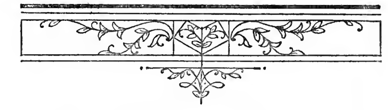
Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,

Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»





Другие редакции «Демона»

<ДЕМОН>

<1829 год>

<*1.*> *ПОСВЯЩЕНИЕ*

Я буду петь, пока поется,
Пока волненья позабыл,
Пока высоким сердце бьется,
Пока я жизнь не пережил,
В душе горят, хотя безвестней,
Лучи небесного огня,
Но нежных и веселых песней,
Мой друг, не требуй от меня...
Я умер. Светлых вдохновений
Забыта мною сторона
Давно. Как скучен день осенний,
Так жизнь моя была скучна;
Так впечатлений неприятных
Душа всегда была полна;
Поныне о годах развратных
Не престает скорбеть она.

<*2.*> *ПОСВЯЩЕНИЕ*

Я буду петь, пока поется,
Пока, друзья, в груди моей
Еще высоким сердце бьется
И жалость не погибла в ней.
Но той веселости прекрасной
Не требуй от меня напрасно,
И юных гордых дней, поэт,
Ты не вернешь: их нет как нет;
Как солнце осени суровой,

Так пасмурна и жизнь моя;
Среди людей скучаю я:
Мне впечатление не ново...
И вот печальные мечты,
Плоды душевной пустоты!..

Печальный Демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним,
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него;
Когда сердечная тревога
Чуждалася души его,
Как дня боится мрак могилы.
И много, много... и всего
Представить не имел он силы...

(Демон узнает, что ангел любит одну смертную, Демон узнает и обольщает ее, так что она покидает ангела, но скоро умирает и делается духом ада. Демон обольстил ее, рассказывая, что бог несправедлив и проч. свою ис<торию>.)

Любовь забыл он навсегда.
Коварство, ненависть, вражда
Над ним владычествуют ныне...
В нем пусто, пусто: как в пустыне.
Смертельный след напечатлен
На том, к чему он прикоснется,
И говорят, что даже он
Своим злодействам не смеется,
Что груды гибнущих людей
Не веселят его очей...
Зачем же демон отверженья
Роняет посреди мученья
Свинцовы слезы иногда,
И им забыты на мгновенье
Коварство, зависть и вражда?..

Демон влюбляется в смертную *(монахиню)*, и она его наконец любит, но Демон видит ее ангела-хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и Демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой.

Угрюмо жизнь его текла,
Как жизнь развалин. Бесконечность
Его тревожить не могла,
Он хладнокровно видел вечность,
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей без всякой нужды.
Ему желанья были чужды,
Он жег печатью роковой
Того, к кому он прикасался,
Но часто Демон молодой
Своим злодействам не смеялся.
Таков осеннею порой
Среди долины опустелой
Один чернеет пень горелый.
Сражен стрелою громовой,
Он прямо высится главой
И презирает бурь порывы,
Пустыни сторож молчаливый.

Боясь лучей, бежал он тьму,
Душой измученною болен.
Ничем не мог он быть доволен:
Все горько сделалось ему,
И все на свете презирая,
Он жил, не веря ничему
И ничего не принимая.

В полночь, между высоких скал,
Однажды над волнами моря
Один, без радости, без горя
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины.
И зрит, чернеет над горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.

Меж низких келий тишина,
Садится поздняя луна,
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вот тихий и прекрасный звук,
Подобный звуку лютни, внемлет...
И чей-то голос... Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело... он хочет прочь тотчас.
Его крыло не шевелится.
И странно — из потухших глаз
Слеза свинцовая катится...
Как много значил этот звук:
Мечты забытых упоений,
Века страдания и мук,
Века бесплодных размышлений,
Все оживилось в нем, и вновь
Погибший ведает любовь

М<онахиня>

О чем ты близ меня вздыхаешь,
Чего ты хочешь получить?
Я поклялась давно, ты знаешь,
Земные страсти позабыть.
Кто ты? Мольба моя напрасна.
Чего ты хочешь?..

Д<емон>

Ты прекрасна.

М<онахиня>

Кто ты?

Д<емон>

Я Демон. Не страшись...
Святыни здешней не нарушу...
И о спасенье не молись,
Не искусить пришел я душу;
Сгорая жаждою любви,
Несу к ногам твоим моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои.



ДЕМОН

ПОЭМА

1831 год

ПОСВЯЩЕНИЕ

Прими мой дар, моя мадона!
С тех пор как мне явилась ты,
Моя любовь мне оборона
От порицаний клеветы.

Такой любви нельзя не верить,
А взор не скроет ничего:
Ты не способна лицемерить,
Ты слишком ангел для того!

Скажу ли? — предан самовластью
Страстей печальных и судьбе,
Я счастьем не обязан счастью,
Но всем обязан я — тебе.

Как демон, хладный и суровый,
Я в мире веселился злом,
Обманы были мне не новы,
И яд был на́ сердце моем;

Теперь, как мрачный этот Гений,
Я близ тебя опять воскрес
Для непорочных наслаждений,
И для надежд, и для небес.

Cain. Who art thou?
Lucifer. Master of spirits.
Cain. And being so, canst thou
Leave them, and walk with dust?
Lucifer. I know the thoughts
Of dust, and feel for it, and with you.

L. Byron. Cain [1]

Печальный Демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним;
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него,
Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его,
Как дня боится мрак могилы;
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы.

Уныло жизнь его текла
В пустыне Мира. Бесконечность
Жилище для него была.
Он равнодушно видел вечность,
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей без всякой нужды.
Ему желанья были чужды.
Он жег печатью роковой
Все то, к чему ни прикасался!..
И часто Демон молодой
Своим злодействам не смеялся.
Страшась лучей, бежал он тьму;
Душой измученною болен,
Ничем не мог он быть доволен,
Все горько сделалось ему;
И, все на свете презирая,
Он жил, не веря ничему
И ничего не признавая.

. . . .

[1] *Каин.* Кто ты?
Люцифер. Властелин духов.
Каин. Но если так, можешь ли ты
Покидать их и пребывать с смертными?
Люцифер. Я знаю мысли
Смертных и сочувствую им, и заодно с вами.

Л<орд> Байрон. Каин (англ.)

Однажды, вечером, меж скал
И над седой равниной моря,
Без дум, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины,
И зрит: белеет под горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.
Меж бедных келий тишина;
Встает багровая луна;
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вдруг тихий и прекрасный звук,
Подобный звуку лютни, внемлет,
И чей-то голос. Жадный слух
Он напрягает: хлад объемлет
Чело. Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится;
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

Как много значил этот звук!
Века минувших упоений,
Века изгнания и мук,
Века бесплодных размышлений,
Все оживилось в нем опять.
Но что ж? Ему не воскресать
Для нежных чувств. Так, если мчится
По небу летнему порой
Отрывок тучи громовой,
И луч случайно отразится
На сумрачных краях, она
Тот блеск мгновенный презирает
И путь неверный продолжает
Хладна, как прежде, и темна.

Проникнул в келью дух смущенный,
Со страхом отвращает взор,
Минуя образ позлащенный,
Как будто видя в нем укор.

Он зрит божественные книги,
Лампаду, четки и вериги;
Но где же звуки? где же та,
К которой сильная мечта
Его влечет?
                    Она сидела
На ложе, с лютнею в руках,
И песню гор играя пела.
И, мнилось, все в ее чертах
Земной беспечностью дышало;
И кольцы русые кудрей
Сбегали, будто покрывало,
На веки нежные очей.
Исполнена какой-то думой,
Младая волновалась грудь...
Вот поднялась; на свод угрюмый
Она задумала взглянуть:
Как звезды омраченной да́ли,
Глаза монахини сияли;
Ее лилейная рука,
Бела, как утром облака,
На черном платье отделялась,
И струны отвечали ей
Что дальше, то сильней, сильней.
Тоской раскаянья, казалось,
Была та песня сложена!
Меж тем, как путник любопытный,
В окно, участием полна,
На деву, жертву грусти скрытной,
Смотрела ясная луна!..

Окован сладостной игрою
Стоял злой дух. Ему любить
Не должно сердца допустить:
Он связан клятвой роковою;
(И эту клятву молвил он,
Когда блистающий Сион
Оставил с гордым сатаною).
Он искушать хотел,— не мог,
Не находил в себе искусства;
Забыть? — забвенья не дал бог;
Любить? — недоставало чувства!
Что делать? — новые мечты
И чуждые поныне муки!

Так, Демон, слыша эти звуки,
Чудесно изменился ты.
Ты плакал горькими слезами,
Глядя на милый свой предмет,
О том, что цепь лежит меж вами,
Что пламя в мертвом сердце нет;
Когда ты знал, что не принудит
Его минута полюбить,
Что даже скоро, может быть,
Она твоею жертвой будет.

И удалиться он спешил
От этой кельи, где впервые
Нарушил клятвы неземные
И князя бездны раздражил;
Но прелесть звуков и виденья
Осталась на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не изгладит ничего.

. . . .

Спустя сто лет пергамент пыльный
Между развалин отыскал
Какой-то странник. Он узнал,
Что это памятник могильный;
И с любопытством прочитал
Он монастырские преданья
О жизни девы молодой,
И им поверил, и порой
Жалел об ней в часы мечтанья.
Он перевел на свой язык
Рассказ таинственный, но свету
Не передам я повесть эту:
Ценить он чувства не привык!

. . . .

Печальный Демон удалился
От силы адской с этих пор.
Он на хребет далеких гор
В ледяный грот переселился,
Где под снегами хрустали
Корой огнистою легли —
Природы дивные творенья!

Ее причудливой игры
Он наблюдает измененья.
Составя светлые шары,
Он их по ветру посылает,
Велит им путнику блеснуть
И над болотом освещает
Опасный и заглохший путь.
Когда метель гудет и свищет,
Он охраняет прошлеца;
Сдувает снег с его лица
И для него защиту ищет.
И часто, подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Он дико мчится в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное — забыть!
Но все не то его тревожит,
Что прежде. Тот железный сон
Прошел. Любить он может, может,
И в самом деле любит он;
И хочет в путь опять пускаться,
Чтоб с милой девой повидаться,
Чтоб раз ей в очи посмотреть
И невозвратно улететь!
. . . .
. . . .

Едва блестящее светило
На небо юное взошло
И моря синее стекло
Лучами утра озарило,
Как Демон видел пред собой
Стену обители святой,
И башни белые, и келью,
И под решетчатым окном
Цветущий садик. И кругом
Обходит Демон; но веселью
Он недоступен. Тайный страх
В ледяных светится глазах.
Вот дверь простая перед ними.
Томяся муками живыми,

Он долго медлил, он не мог
Переступить через порог,
Как будто бы он там погубит
Все, что еще не отнял рок.
О! как приметно, что он любит!
Все тихо — вдруг услышал он
Давно знакомый лютни звон;
Слова певицы вдохновенной
Лились, как светлые струи;
Но не понравились они
Тому, кто с думой дерзновенной
Искал надежды и любви.

ПЕСНЬ МОНАХИНИ

1

Как парус над бездной морской,
  Как под вечер златая звезда,
Явился мне ангел святой —
  Не забуду его никогда.

2

К другой он летел иль ко мне,
  Я напрасно б старалась узнать.
Быть может, то было во сне...
  О! зачем должен сон исчезать?

3

Тебя лишь любила, творец,
  Я поныне с младенческих дней,
Но видит душа наконец,
  Что другое готовилось ей.

4

Виновна я быть не должна:
  Я горю не любовью земной;
Чиста, как мой ангел, она,
  Мысль об нем неразлучна с тобой!

5

Он отблеск величий твоих,
  Ты украсил чело его сам.
Явился он мне лишь на миг,—
  Но за вечность тот миг не отдам!

Умолкла. Ветер моря хладный
Последний звук унес с собой.
Непобедимою судьбой
Гонимый, Демон безотрадный
Проникнул в келью. Что же он
Не привлечет ее вниманье?
Зачем не пьет ее дыханье?
Не вздох любви — могильный стон,
Как эхо, из груди разбитой
Протяжно вышел наконец;
И сердце, яростью облито,
Отяжелело, как свинец.
Его рука остановилась
На воздухе. Сведенный перст
Оледенел. Хоть взор отверзт,
В нем ничего не отразилось,
Кроме презренья. Но к кому?
Что показалося ему?

Посланник рая, ангел нежный,
В одежде дымной, белоснежной,
Стоял с блистающим челом
Вблизи монахини прекрасной
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом.
Они счастливы, святы оба!
И — зависть, мщение и злоба
Взыграли демонской душой.
Он вышел твердою ногой;
Он вышел — сколько чувств различных,
С давнишних лет ему привычных,
В душе теснится! сколько дум
Меняет беспокойный ум!
Красавице погибнуть надо,
Ее не пощадит он вновь.
Погибнет: прежняя любовь
Не будет для нее оградой!

Как жалко! он уже хотел
На путь спасенья возвратиться,
Забыть толпу преступных дел,
Позволить сердцу оживиться!
Творцу природы, может быть,
Внушил бы Демон сожаленье
И благодатное прощенье
Ему б случилось получить.
Но поздно! сын безгрешный рая
Вдруг разбудил мятежный ум:
Кипит он, ревностью пылая,
Явилась снова воля злая
И яд коварных, черных дум.
Но впрочем, он перемениться
Не мог бы: это был лишь сон.
И рано ль, поздно ль, пробудиться
Навеки должен был бы он.
Успело зло укорениться
В его душе с давнишних дней:
Добро не ужилось бы в ней;
Его присвоить, им гордиться
Не мог бы Демон никогда;
Оно в нем было бы чужое,
И стал бы он несчастней вдвое.
Взгляните на волну, когда
В ней отражается звезда;
Как рассыпаются чудесно
Вокруг сребристые струи!
Но что же? блеск тот — блеск небесный,
Не завладеют им они.
Их луч звезды той не согреет;
Он гаснет — и волна темнеет!

Злой дух недолго размышлял:
Он не впервые отомщал!
Он образ смертный принимает,
Венец чело его ласкает,
И очи черные горят,
И этот самый пламень — яд!

Он ждет, у стен святых блуждая,
Когда останется одна
Его монахиня младая,

Когда нескромная луна
Взойдет, пустыню озаряя;
Он ожидает час глухой,
Текущий под ночною мглой,
Час тайных встреч и наслаждений
И незаметных преступлений.
Он к ней прокрадется туда,
Под сень обители уснувшей,
И там погубит навсегда
Предмет любви своей минувшей!
. . . .

Лампада в келье чуть горит.
Лукавый с девою сидит;
И чудный страх ее объемлет,
Она, как смерть бледнея, внемлет.

Она

Страстей волненья позабыть
Я поклялась давно, ты знаешь!
К чему ж теперь меня смущаешь?
Чего ты хочешь получить?
О, кто ты? — речь твоя опасна!
Чего ты хочешь?

Незнакомец

Ты прекрасна!

Она

Кто ты?

Незнакомец

Я Демон! — не страшись:
Святыни здешней не нарушу!
И о спасенье не молись —
Не искушать пришел я душу.
К твоим ногам, томясь в любви,
Несу покорные моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои!
Не расставлял я людям сети
С толпою грозной злых духов;
Брожу один среди миров
Несметное число столетий!

Не выжимай из груди стон,
Не отгоняй меня укором:
Несправедливым приговором
Я на изгнанье осужден.
Не зная радости минутной,
Живу над морем и меж гор,
Как перелетный метеор,
Как степи ветер бесприютный!
И слишком горд я, чтоб просить
У бога вашего прощенья:
Я полюбил мои мученья
И не могу их разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лень
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тень!

Она

На что мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты виноват...

Незнакомец

Против тебя ли?

Она

Нас могут слышать...

Незнакомец

Мы одне!

Она

А бог?

Незнакомец

На нас не кинет взгляда!
Он небом занят, не землей.

Она

А наказанье, муки ада?

Незнакомец

Так что ж? — ты будешь там со мной!
Мы станем жить любя, страдая,
И ад нам будет стоить рая;
Мне рай — везде, где я с тобой!

Так говорил он; и рукою
Он трепетную руку жал
И поцелуями порою
Плечо девицы покрывал.
Она противиться не смела,
Слабела, таяла, горела
От неизвестного огня,
Как белый снег от взоров дня!

. . . .

В часы суровой непогоды,
В осенний день, когда меж скал,
Пенясь, крутясь, шумели воды,
Восточный ветер бушевал,
И темно-серыми рядами
Неслися тучи небесами,
Зловещий колокола звон,
Как умирающего стон,
Раздался глухо над волнами.
К чему зовет отшельниц он?
Не на молитву поспешали
В обширный и высокий храм,
Не двум счастливым женихам
Свечи дрожащие пылали:
В средине церкви гроб стоял,
В гробу мертвец лежал безгласный,
И ряд монахинь окружал
Тот гроб с недвижностью бесстрастной.
Зачем не слышен плач родных
И не видать во храме их?
И кто мертвец? Едва приметный
Остаток прежней красоты
Являют бледные черты;
Уста закрытые бесцветны,
И в сердце пылкой страсти яд
Сии глаза не поселят,
Хотя еще весьма недавно
Владели бурною душой,
Неизъяснимой, своенравной,
В борьбе безумной и неравной
Не знавшей власти над собой.

За час до горестной кончины,
Когда сырая ночи мгла
На усыпленные долины

Прозрачной дымкою легла,
Духовника на миг единый
Младая дева призвала,
Чтоб жизни грешные деянья
Открыть с слезами покаянья.
И он приходит к ней; но вдруг
Его безумный хохот встретил.
Старик в лице ее заметил
Борение последних мук.
На предстоящих не взирая,
Шептала дева молодая:
«О, Демон! о, коварный друг!
Своими сладкими речами
Ты бедную заворожил...
Ты был любим, а не любил...
Ты мог спастись, а погубил,
Проклятье сверху, мрак под нами!»
Но кто безжалостный злодей,
Тогда не понял старец честный,
И жизнь монахини моей
Осталась людям неизвестной.

С тех пор промчалось много лет,
Пустела древняя обитель,
И время, общий разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен; и храм священный
Стал жертва бури и дождей.
Из двери в дверь во мгле ночей
Блуждает ветр освобожденный.
Внутри, на ликах расписных
И на окладах золотых,
Большой паук, пустынник новый,
Кладет сетей своих основы.
Не раз, сбежав со скал крутых,
Сайгак иль серна, дочь свободы,
Приют от зимней непогоды
Искали в кельях. И порой
Забытой утвари паденье
Среди развалины глухой
Их приводило в удивленье!
Но в наше время ничему
Нельзя нарушить тишину:
Что может падать, то упало,

Что мрет, то умерло давно,
Что живо, то бессмертно стало;
Но время вживе удержало
Воспоминание одно!

И море пенится и злится,
И сильно плещет и шумит,
Когда волнами устремится
Обнять береговой гранит:
Он вдался в море одиноко,
На нем чернеет крест высокой.
Всегда скалой отражена,
Покрыта пылью белоснежной,
Теснится у волны волна,
И слышен ропот их мятежный,
И удаляются толпой,
Другим предоставляя бой.

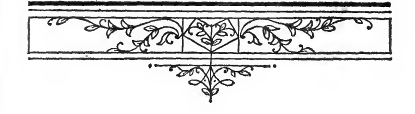
Над тем крестом, над той скалою
Однажды утренней порою
С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный;
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной.
И кудри мягкие, как лен,
С главы венчанной упадали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьми сияли.
И был небесный свод над ним
Украшен радугой цветистой,
И воды с пеной серебристой,
С каким-то трепетом живым
К скалам теснились вековым.
Все было тихо. Взор унылый
На небо поднял ангел милый,
И с непонятною тоской
За душу грешницы младой
Творцу молился он. И, мнилось,
Природа вместе с ним молилась.

Тогда над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Без цели мчался с быстротой;

Но ни раскаянья, ни мщенья
Не изъявлял суровый лик:
Он побеждать себя привык!
Не для других его мученья!
Он близ могилы промелькнул
И, взор пронзительный кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул!..

Конец





ДЕМОН

1838 года сентября 8 дня

ЧАСТЬ I

Печальный Демон, Дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим;
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним;
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни страха, ни сомненья,
И не грозил душе его
Веков бесплодных ряд унылый;
И много, много — и всего
Припомнить не имел он силы!

С тех пор отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта.
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему!

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял;
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял;
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел — и хищный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенья бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели;
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом;

Ущелья, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений;
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненные ночи;
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой! .
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил:
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил;
Трудов и слез он много стоил
Рабам, послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени;
В скале нарублены ступени,
Они от башни угловой
Ведут к реке; по ним, мелькая,
Покрыта белою чадрой[1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом:
Но пир большой сегодня в нем,
Звучит зурна[2], и льются ви́ны!
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг.
Средь игр и песен их досуг
Проходит; дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг.

---

[1] Белое покрывало. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*
[2] Род флейты. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И вот Тамара молодая
Берет свой бубен расписной;
В ладони мерно ударяя,
Запели все,— одной рукой
Кружа его над головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла мир земной;
Ее узорною повязкой
Играет ветер; как волна,
Нескромной думою полна,
Грудь подымается высоко;
Уста бледнеют и дрожат,
И жадной страсти полон взгляд,
Как страсть палящий и глубокой!
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока!
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей алмазною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишен был рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела!..

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто грустное сомненье
Темнило светлые черты;
Но были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны чудной простоты,
Что если б враг небес и рая
В то время на нее взглянул,

То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б и вздохнул.

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук;
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!
И долго сладостной картиной
Он любовался; и мечты
О прошлом счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой думой стал знаком,
В нем чувство вдруг заговорило
Родным, понятным языком.
То был ли признак возрожденья?..
Он подойти хотел — не мог!
Забыть? Забвенья не дал бог —
Да он и не взял бы забвенья!

На брачный пир к закату дня,
Измучив доброго коня,
Спешил жених нетерпеливый;
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван;
Ремнем затянут стройный стан,
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи [1],— кругом она
Вся галуном обведена.

[1] Верхняя грузинская одежда. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

Цветными вышито шелками
Его седло, узда с кистями.
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти золотой;
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя, косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный:
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман;
Прибавил шагу караван.

И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник не спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил,
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала;
Но презрел молодой жених
Обычай прадедов своих;
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал;
Он, в мыслях, под ночною тьмою
Уста невесты целовал!
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! Что такое?
Привстав на звонких стременах,
Надвинув на́ брови папах[1],
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк! и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик, и стон глухой
Промчался в тишине долины!
Недолго продолжался бой,
Бежали робкие грузины.

[1] Баранья шапка, персидская. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И стихло все. Теснясь толпой,
Верблюды с ужасом смотрели
На трупы всадников: порой
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван,
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица.
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт.
Не придут сестры с матерями,
Покрыты белыми чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги над скалою
На память водрузится крест,
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Порой усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет.

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется будто к брани,
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая,
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый.
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун надежный господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала.

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный?
Кто бледный всадник у ворот?
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал.
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал;
Увы! Но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого.

На беззаботную семью,
Как гром, слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:

«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет;
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет.
Он далеко; он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой.

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада;

Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они.

Лишь только ночь своим покровом
Долины ваши осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит,
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей,
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной,
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,
К тебе я стану прилетать!
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

Слова умолкли. В отдаленье
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг;
Невыразимое смятенье
В ее груди: печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье!
Все чувства в ней кипели вдруг,
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил,
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,

Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный —
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!

ЧАСТЬ II

«Отец, отец! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу,— видишь эти слезы,—
Уже не первые они!
Не буду я ничьей женою,
Скажи моим ты женихам;
Супруг мой взят сырой землею,
Другому сердца не отдам.
С тех пор как труп его кровавый
Мы схоронили под горой,
Меня тревожит дух лукавый
Неотразимою мечтой.
В тиши ночной меня тревожит
Толпа печальных, странных снов;
Молиться днем душа не может:
Мысль далеко от звука слов!
Огонь по жилам пробегает,
Я сохну, вяну день от дня.
Отец! душа моя страдает,
Отец мой, пощади меня!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою,
Там защитит меня спаситель,
Пред ним тоску мою пролью;
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня».

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы божественного пенья,
Знакомая среди моленья
Ей часто слышалася речь;
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама:
Он так смотрел! *Он* так манил!
Он, мнилось, так несчастлив был!

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой:
Чинар и тополей рядами
Он окружен был, и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мерцала в окнах кельи
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной
И, под нависшею скалой
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дале меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,

И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались;
А в час заката одевались
Они румяной пеленой.
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

Но Демон огненным дыханьем
Тамары душу запятнал,
И божий мир своим блистаньем
Восторга в ней не пробуждал.
Страсть безотчетная как тенью
Жизнь осенила перед ней;
И стало все предлог мученью,
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет, и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье,
Сквозь шум далекого ручья
И трель живую соловья.
Бывало, разбросав на плечи
Волну кудрей своих, она
Стоит без мысли, холодна,—
И странные лепечут речи
Ее дрожащие уста;
И грудь желание волнует,
И чудный призрак все рисует
Пред нею в сумраке мечта.
Утомлена борьбой всегдашной,
Склонится ли на ложе сна —

Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она.
. . . .
. . . .

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел;
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел;
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит. От его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет:
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингуры [1] стройное бряцанье
И звуки песни раздались.
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена.
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз.
Он хочет в страхе удалиться —
Его крыло не шевелится!
И чудо! Из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

---

[1] Род гитары. *(Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра;
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом.
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор.

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет.
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся,
Зарделся ревностию взгляд,
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя,— сказал он грозно,—
Оставь ее, она моя;
Отныне жить нельзя нам розно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!..»
И ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . .

Тамара

О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?

Демон

Ты прекрасна.

Тамара

Но молви! кто ж ты? Отвечай...

Демон

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет,
Я тот, кого никто не любит
И все живущее клянет;
Ничто пространство мне и годы,
Я бич рабов моих земных,
Я враг небес, я зло природы,—
И, видишь, я у ног твоих.
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои;
О, выслушай, из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю;
Я раб твой, я тебя люблю!

Когда я в первый раз увидел
Твой чудный, твой волшебный взор,
Я тайно вдруг возненавидел
Мою свободу, как позор.
Своею властью недовольный,

Я позавидовал невольно
Неполным радостям людей;
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Вдруг шевельнулася, как змей.
Что без тебя теперь мне вечность,
Моих владений бесконечность?
Пустые, звучные слова;
Обширный храм — без божества!

Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу!
Творец — увы! я не могу
Молиться; тайною отравой
Мой ум слабеющий объят.
Послушай, ты меня погубишь!
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь?

Демон

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты!
В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлен;
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно, тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало —
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало!
О! Если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века, без разделенья
И наслаждаться и страдать,

За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья!
Жить для себя, скучать собой,
И этой долгою борьбой
Без торжества, без примиренья;
Всегда жалеть — и не желать;
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть —
И все на свете презирать!

Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство,
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно:
Они текли в венцах из злата!
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы, я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю,— прежними друзьями
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем:
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа
Бог весть откуда и куда!
Как часто на вершине льдистой,
Один меж небом и землей,
Под кровом радуги огнистой
Сидел я мрачный и немой,

И белогривые метели,
Как львы, у ног моих ревели;
Как часто, подымая прах,
В борьбе с могучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской,
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? Что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут —
Надежда есть,— ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень,—
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей!

Тамара

Зачем мне знать твои печали?
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон

Против тебя ли?

Тамара

Нас могут слышать!..

Демон

Мы одне.

Тамара

А бог?

Демон

На нас не кинет взгляда;
Он занят небом — не землей!

Тамара

А наказанье — муки ада?

Демон

Так что ж? ты будешь там со мной,
Мы, дети вольные эфира,
Тебя возьмем в свои края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя.
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.

Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут и стынет кровь.
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
И пусть другие б утешались
Ничтожным жребием своим:
Их думы неба не касались,
Мир лучший недоступен им.
Но ты, прекрасное созданье,
Не в жертву им обречена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина.
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе;
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.

О! верь мне! Я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг:
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик!
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам,
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой.
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою.
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря.
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!
И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам,
И лести сладкими речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи;
Он жег ее; во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал...
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно кровь ее проник;
Мучительный, но слабый крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,

Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой!..

В то время сторож полуночный
Один вокруг стены крутой,
Когда ударил час урочный,
Бродил с чугунною доской;
И под окошком девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил;
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Чуть внятный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика;
Но пронеслось еще мгновенье,
И смолкло все. Издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча, скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
. . . .

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала.
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы —
Но кто б, взглянувши, не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,

Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали —
Нет, смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!
И все, где пылкой жизни сила
Так внятно чувствам говорила,
Теперь один ничтожный прах;
Улыбка странная застыла,
Едва мелькнувши на устах;
Но темен, как сама могила,
Печальный смысл улыбки той:
Что в ней? Насмешка ль над судьбой,
Непобедимое ль сомненье?
Иль к жизни хладное презренье?
Иль с небом гордая вражда?
Как знать? для света навсегда
Утрачено ее значенье!
Она невольно манит взор,
Как древней надписи узор,
Где, может быть, под буквой странной
Таится повесть прежних лет,
Символ премудрости туманной,
Глубоких дум забытый след.
И долго бедной жертвы тленья
Не трогал ангел разрушенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама!

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд:
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею...

Уж собрались в печальный путь
Друзья, соседи и родные.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,

В последний раз Гудал садится
На белогривого коня —
И поезд двинулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.

Один из праотцев Гудала,
Грабитель путников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там.
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам,
Как будто ближе к небесам
Теплей последнее жилище!

Едва на жесткую постель
Тамару с пеньем опустили,
Вдруг тучи гору обложили,
И разыгралася метель;
И громче хищного шакала
Она завыла в небесах
И белым прахом заметала
Недавно вверенный ей прах.
И только за скалой соседней
Утих моленья звук последний,
Последний шум людских шагов,
Сквозь дымку серых облаков
Спустился ангел легкокрылый
И над покинутой могилой
Приник с усердною мольбой
За душу грешницы младой.
И в то же время царь порока
Туда примчался с быстротой
В снегах рожденного потока.

Страданий мрачная семья
В чертах недвижимых таилась;
По следу крыл его тащилась
Багровой молнии струя.
Когда ж он пред собой увидел
Все, что любил и ненавидел,
То шумно мимо промелькнул
И, взор пронзительный кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул...

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет,
И голосов нестройный гул
Теряется; и караваны
Идут гремя издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река;
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Когда-то в очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы;
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы:
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья

На кровле весело играет,
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца.
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле грозных сеч,
Ненужный падшему герою...
Все дико. Нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала...
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!
И там, где кости их истлели,
На рубеже зубчатых льдов,
Гуляют ныне лишь метели
Да стаи вольных облаков;
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

Посвящение

Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложишь на нее холодную печать;

И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет;
И примешь за игру иль сон воображенья
Больной души тяжелый бред...

ПОСВЯЩЕНИЯ К ПОЭМЕ «ДЕМОН»

<I>

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершины белоснежной.
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой,—
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.

Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников аллы.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы;
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был товарищ их воздушный.

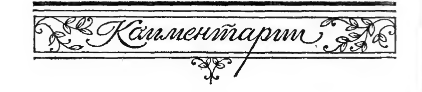
С тех пор прошло тяжелых много лет,
И вновь меня меж скал своих ты встретил.
Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел,
Он пролил в грудь мою забвенье бед
И дружески на дружний зов ответил.
И ныне здесь, в полуночном краю
Все о тебе мечтаю и пою.

<II>

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
Еще ребенком, чуждый и любви
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях, грозный, вечный
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пéстун, юных сил
Хранитель верный.—
И мысль моя, свободна и легка,

Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака;
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Все горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.





СТИХОТВОРЕНИЯ

1828

Поэт («Когда Рафаэль вдохновенный...») (с. 21).— Написано в декабре 1828 г. Лермонтов включил стихотворение в письмо к Марии Акимовне Шан-Гирей (урожд. Хастатовой; 1799—1845), своей двоюродной тетке. Относится к периоду литературного ученичества, соответствует интересам и направлению литературного кружка в Московском университетском благородном пансионе, которым руководил Семен Егорович Раич (1792—1855), поэт и переводчик античных и итальянских авторов, преподаватель словесности в пансионе.

1829

К гению (с. 21).— Вероятно, связано с именем Софьи Ивановны Сабуровой (1816—1864), сестры пансионского товарища Лермонтова Михаила Ивановича Сабурова (1813—?). О реальной основе стихотворения свидетельствует помета Лермонтова в рукописи: «(Напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил *12 лет — и поныне люблю*)».

Покаяние (с. 23).— Первое обращение к теме «незаконной» любви. Ср. позднейшее стихотворение «Договор», поэму «Сашка».

Русская мелодия (с. 24).— Как следует из позднейшей пометы Лермонтова («Эту пьесу подавал за свою Раичу Дурнов — друг — которого поныне люблю и уважаю за его открытую и добрую душу — он мой первый и последний»), связано с литературными занятиями учеников Московского университетского благородного пансиона. Дмитрий Дмитриевич Дурнов (1813—?) — ближайший товарищ Лермонтова по пансиону, адресат нескольких юношеских стихотворений поэта.

К...... («Не привлекай меня красой!..») (с. 25).— Помета (позднейшего происхождения) в автографе «(А. С.) (Хотя я тогда этого не думал)» свидетельствует об автобиографической основе стихотворения. *А. С.*— Анна Григорьевна Столыпина (1815—1892), двоюродная сестра матери Лермонтова М. М. Лермонтовой.

Три ведьмы (с. 25).— Неточный перевод (с сокращениями) отрывка из трагедии У. Шекспира «Макбет», переработанной Ф. Шиллером (1829; акт I, явление 4).

Наполеон («Где бьет волна о брег высокой...») (с. 27).— Первое обращение Лермонтова к наполеоновской теме. В стихотворении заметно некоторое влияние Пушкина («Наполеон на Эльбе», 1815; «Наполеон», 1821) и Тютчева («Могила Наполеона», 1827). *С могилой тихою Диана осребрила.*— Диана *(лат.)* — богиня луны.

Жалобы турка (с. 28).— Турция воспринималась как образец деспотического государства; это представление в особенности укрепилось после начала освободительной борьбы греков. Несомненен иносказательный характер стихотворения, в котором отразилось отношение Лермонтова к русской политической системе и крепостному праву как одному из наиболее уродливых его проявлений.

Мой демон (с. 29).— Самое раннее обращение к теме демона. Написано одновременно с первым наброском поэмы «Демон». Возникло не без влияния стихотворения Пушкина «Мой демон», опубликованного в «Мнемозине» в 1824 г.

Жена Севера (с. 30).— Сюжет стихотворения оригинален, хотя в некоторой степени может быть соотнесен с исторической и мифологической литературой скандинавских стран; свидетельствует об увлечении Лермонтова мотивами северного фольклора, пользовавшимися популярностью у европейских и русских романтиков («оссианические» мотивы). *Жена севера.*— Выражение восходит к стихотворению Пушкина «Портрет» (опубл. 1829).

К другу («Взлелеянный на лоне вдохновенья...») (с. 30).— Первоначально стихотворение называлось «Эпилог (К Д....ву)» (помета в рукописи). О Дурнове см. прим. к стихотворению «Русская мелодия». *Но ты меня не спрашивай напрасно: Ты, друг, узнать не должен, кто она.*— Парафраза из стихотворения В. Астафьева «М. А. Д-ву» («Северная лира». М., 1827, с. 284—285).

К*** («Мы снова встретились с тобой...») (с. 31).— Адресат стихотворения неизвестен.

Монолог (с. 31).— Лирический фрагмент, предваряющий философию, образный и поэтический строй более позднего стихотворения «Дума».

Баллада («Над морем красавица-дева сидит...») (с. 32).— В стихотворении контаминированы сюжеты баллад Ф. Шиллера «Der Taucher» («Водолаз») (1797) и «Der Handschuh» («Перчатка») (1797).

Перчатка (с. 33).— Сокращенный перевод одноименной баллады Ф. Шиллера «Der Handschuh» (1797).

Дитя в люльке (с. 34).— Перевод двустишия Ф. Шиллера «Das Kind in der Wiege» (1796).

К* («Делись со мною тем, что знаешь...») (с. 35).— Вольный перевод двустишия Ф Шиллера «An *» (1796). Классическую «надпись» Лермонтов преобразовал в острую эпиграмму.

1830

«Один среди людского шума...» (с. 35).— В рукописи помета поэта: «1830 года в начале».

Кавказ (с. 36).— Одно из первых обращений к кавказской теме. *В младенческих летах я мать потерял. Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь повторяла мне памятный глас.*— С этими строками соотносится автобиографическая запись, сделанная Лермонтовым в 1830 г.: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал... Ее певала мне покойная мать». *Пять лет пронеслось... Там видел я пару божественных глаз; И сердце лепечет, воспомня тот взор...*— Лето 1825 г. Лермонтов провел на Кавказе. Одно из наиболее сильных впечатлений этого времени — знакомство с девятилетней девочкой, «дочерью одной дамы»: «...белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность... я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны...» (Автобиографическая заметка от 8 июля 1830 г.).

К*** («Не говори: одним высоким...») (с. 36).— Содержащиеся здесь философско-этические рассуждения спроецированы на наполеоновскую тему; стихотворение может быть отнесено к наполеоновскому циклу.

Н. Ф. И....вой («Любил с начала жизни я...») (с. 38).— Первое стихотворение, обращенное к Наталье Федоровне Ивановой (в замужестве Обресковой; 1813—1875), дочери драматурга Ф. Ф. Иванова (1777—1816). Окончившиеся разрывом драматические отношения Лермонтова с Н. Ф. Ивановой запечатлены в лирическом цикле 1830—1832 гг. и пьесе «Странный человек» (1831). В первой публикации («Отечественные записки», 1859, № 11) было озаглавлено «М. Ф. М...вой» — возможно, по настоянию самой Ивановой.

«Ты помнишь ли, как мы с тобою...» (с. 39).— Вольный перевод стихотворения Т. Мура «The evening gun...» («Вечерний выстрел») (1829).

Ночь. I (с. 39).— «Байроническое» стихотворение Лермонтова. Ср. «The Dream» («Сон») (1816) и «Darkness» («Тьма») (1816) Д. Байрона.

Разлука (с. 41).— Возможно, обращено к М. И. Сабурову.

Ночь II (с. 42).— См. прим. к стихотворению «Ночь. I».

Незабудка (с. 44).— Написано по мотивам одноименного

стихотворения немецкого поэта А. Платена «Vergissmeinnicht» (1813); переосмыслено эмоциональное содержание: сентиментально-романтическая тональность заменена иронической.

В альбом («Нет! — я не требую вниманья...») (с. 46).— По свидетельству Екатерины Александровны Сушковой (в замужестве Хвостовой; 1812—1868), московской знакомой поэта, с именем которой связан объединенный мотивом неразделенной любви цикл стихов 1830 г., стихотворение было записано Лермонтовым в ее альбом. Вторая строфа — вольный перевод строфы стихотворения Байрона «Lines written in an Album, at Malta» («Стихи, написанные в альбом на Мальте») (1809). В рабочей тетради Лермонтова сохранились две редакции стихотворения, написанного по мотивам байроновского восьмистишия; в 1836 г. Лермонтов предпримет еще одну попытку его перевода, создав вариант, гораздо более близкий подлиннику.

Звезда (с. 47).— Первое обращение к теме «далекой звезды». Ср.: «Еврейская мелодия» («Я видал иногда, как ночная звезда...»), «Звезда» («Вверху одна Горит звезда...»).

Еврейская мелодия («Я видал иногда, как ночная звезда...») (с. 47).— Навеяно стихотворением Дж. Байрона «Sun of the Sleepless» («Солнце тех, кто не спит») из цикла «Еврейские мелодии» (1815). Вместе с тем это не перевод и не подражание, но самостоятельная вариация на байроновскую тему.

Наполеон *(Дума)* (с. 48).— Здесь, как и в большинстве лермонтовских стихотворений наполеоновского цикла, Наполеон изображен как высокий трагический герой. *Сей острый взгляд с возвышенным челом И две руки, сложенные крестом* — и заключительные два стиха.— Перефразировка 13—14 стихов XIX строфы из VII главы «Евгения Онегина» Пушкина: «Под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом!»

К глупой красавице (с. 50).— Позднейшая помета Лермонтова в автографе указывает на повод к созданию стихотворения: «(Меня спрашивали, зачем я не говорю с одной девушкой, а только смотрю...)».

Стансы («Я не крушуся о былом...») (с. 52).— В 1831 г. стихотворение было переработано. См.: «Стансы» («Мгновенно пробежав умом...»).

«Оставленная пустынь предо мной...» (с. 53).— Пометы в рукописи: «(В Воскресенске. Написано на стенах [пустыни] жилища Никона). 1830 года»; «Там же в монастыре» — свидетельствует о том, что стихотворение написано под впечатлением поездки в Ново-Иерусалимский монастырь, основанный патриархом Никоном в Воскресенске (ныне — Истра); к западу от монастыря находилась пустынь (скит) Никона (1658).

Ночь. III (с. 54).— См. прим. к стихотворению «Ночь. I».

Эпитафия («Простосердечный сын свободы...» (с. 55).— Посвящено, по-видимому, памяти Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805—1827). Некоторые мотивы стихотворения имеют личный характер; они присутствуют в автобиографических монологах Юрия Волина, героя драмы «Menschen und Zeidenschaften» (1830). *Для чувств он жизни не щадил.*— Парафраза строки из стихотворения Веневитинова «Поэт и друг» (опубл. 1827); *Он верил темным предсказаньям. И талисманам и любви.*— Упоминания о талисмане — перстне, подаренном Веневитинову З. А. Волконской, содержатся в стихотворении Веневитинова «К моему перстню» (1827) и «Завещании» (1827).

Гроб Оссиана (с. 55).— На обстоятельства возникновения стихов указывает позднейшая помета Лермонтова в автографе: «(Узнав от путешественника описание сей могилы)». *Оссиан* — легендарный шотландский бард (III в.). Интерес Лермонтова к Оссиану и Шотландии закономерен: основателем рода Лермонтовых в России был шотландец Георг (Юрий) Лермонт.

Кладбище (с. 56).— В рукописи помета Лермонтова: «(На кладбище написано) 1830».

К Су<шковой> (с. 56).— Посвящено Е. А. Сушковой; написано перед отъездом Лермонтова из подмосковной усадьбы Столыпиных Середникова, где поэт проводил каникулы, в Москву. В автографе позднейшая приписка: «При выезде из Середникова к Miss black-eyes». Шутка — преположенная от М. Kord». Кор — гувернер Аркадия Столыпина, двоюродного дяди Лермонтова; Miss black-eyes (черноокая) — прозвище Сушковой. В своих «Записках» Сушкова рассказала о том, как она получила эти стихи: «Накануне отъезда я сидела с Сашенькой (Верещагиной.— И. Ч.) в саду, к нам подошел Мишель <...>, обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас <...> Я <...> увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку <...> Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом».

К *** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») (с. 57).— В рукописи помета Лермонтова: «Прочитав жизнь Байрона, <написанную> Муром (1830)». Лермонтов имеет в виду изданную в 1830 г. книгу Т. Мура «Letters and Journals of Lord Byron with Notices of his Life», vol. 1—2 («Письма и дневники лорда Байрона...», тт. 1—2). *О, если б одинаков был удел!..*— Дж. Байрон принимал участие в освободительной борьбе итальянских карбонариев; погиб, защищая свободу греческого народа (1824). *Как он, в ребячестве пылал уж я душой.*— Источником этой строки послужил рассказ Мура о детской любви Байрона.

Дереву (с. 58).— Адресовано А. Г. Столыпиной. Дата стихотворения «(1830)» поставлена в рукописи Лермонтовым; на следующем листе — связанная с настоящим стихотворением запись в прозе: «[Моя эпитафия]. Мое завещание (Про дерево, где я сидел с А. С.)». А. С.— А. Г. Столыпина (см. прим. к стихотворению «К Гению»).

Предсказание (с. 59).— В рукописи — позднейшая приписка Лермонтова («Это мечта») — в значении «видение», «фантазия». Написано под впечатлением крестьянских волнений, так называемых «холерных бунтов», распространившихся летом 1830 г. в южных губерниях России. 3 июня 1830 г. в Севастополе был убит губернатор — родной брат бабушки Лермонтова Н. А. Столыпин. *И будет все ужасно, мрачно в нем, Как плащ его с возвышенным челом.*— Эта характеристика «мощного человека» сближает его с Наполеоном: «Сей острый взгляд с возвышенным челом» («Наполеон», 1830).

Булевар (с. 60).— Помета Лермонтова в рукописи раскрывает замысел стихотворения: «В следующей сатире всех разругать, и одну грустную строфу. Под конец сказать, что я напрасно писал и что если б это перо в палку обратилось, а какое-нибудь божество новых времен приударило в них, оно — лучше». Далее приписка: «(Продолжение впредь)». Объект сатирического изображения в данном стихотворении — московское барство, в обычае которого были прогулки по Тверскому бульвару. *Подалее на креслах там другой...*— Возможно, речь идет об издателе «Дамского журнала» поэте князе Петре Ивановиче Шаликове (1767—1852). *И сам Башуцкий объяснит тотчас.*— Вероятно Александр Павлович Башуцкий (1801—1876) — писатель, журналист. *О женихи! о бедный Мосолов...*— Генерал Ф. И. Мосолов проживал на Тверском бульваре.

Песнь барда (с. 63).— В стихотворении заметно влияние стихов Н. М. Языкова «Песнь барда во время владычества татар в России» (1823).

10 июля. (1830) (с. 64).— Написано между 15 июля и 15 августа. Наиболее вероятно, что стихотворение посвящено Июльской революции во Франции, которая началась 27 июля н. ст. 1830 г. В этом случае следует дату «10 июля» считать датой написания стихотворения, но датой, в которой допущена описка (что характерно для Лермонтова): «10 июля» вместо «10 августа». *Знамя вольности кровавой.*— Реминисценция из пушкинской «Полтавы» (1829).

Благодарю! («Благодарю!.. вчера мое признанье...») (с. 64).— Обращено к Е. А. Сушковой. В стихотворении запечатлены действительные черты внутреннего облика Сушковой и характер ее отношений к юному поэту (насмешливость, «острота речей», «притворное вниманье»). Стихотворение упоминается в «Записках» Сушковой, где датировано 12 августа, хотя из рассказа мемуаристки об истории его создания следует, что оно было написано днем позже.

Нищий (с. 65).— Обращено к Е. А. Сушковой. Написано после посещения Троице-Сергиевой лавры.

Об одном эпизоде этой прогулки, послужившем сюжетом стихотворения «Нищий», Сушкова рассказала в своих воспоминаниях: «На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола, в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги <...> Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи».

30 июля.— (Париж). 1830 года (с. 65).— Написано по поводу событий Июльской революции во Франции 27—29 июля 1830 г. *Ты мог быть лучшим королем... Ты в бегстве уронил венец.*— 2 августа 1830 г. Карл X отрекся от престола; впоследствии бежал в Англию.

Стансы («Взгляни, как мой спокоен взор...») (с. 66).— Пометы в автографе указывают на дату написания стихов — «(1830 года)» «(26 августа)»; рисунок пером (женский портрет) изображает, по всей вероятности, Е. А. Сушкову. Стихи Е. А. Сушкова включила в свои воспоминания о Лермонтове. *Я жертвовал другим страстям; Я не могу любить другой.*— В этих строках варьируются мотивы стихотворения Байрона «Stanzas to a Lady on leaving England» («Стансы к***, написанные при отплытии из Англии»).

Ночь («Один я в тишине ночной...») (с. 67).— Дата стихотворения указана Лермонтовым: «(1830 года ночью. Августа 28)».

К *** («Когда к тебе молвы рассказ...») (с. 68).— Обращено к Е. А. Сушковой.

Новгород (с. 69).— Стихотворение не закончено; автограф перечеркнут. Датировано Лермонтовым: «3 октября (м. б. 13 октября) 1830». Возможно, стихи адресованы сосланным декабристам.

Могила бойца (с. 69).— В черновой рукописи — примечание Лермонтова: «1830 год — 5-го октября. Во время холеры — morbus».

«Послушай! вспомни обо мне...» (с. 71).— Стихотворение вписано в альбом приятеля Лермонтова Николая Ивановича Поливанова (1814—1874); примечание, сделанное Поливановым, рас-

крывает обстоятельства создания стихов: «23-го марта 1831 г. Москва. Михайла Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания». Лермонтов ожидал наказания за участие в изгнании студентами из университетской аудитории грубого и невежественного профессора М. Я. Малова.

1831-го июня 11 дня (с. 72).— Три строфы (1, 2, 5) с некоторыми изменениями вошли в драму «Странный человек». *О, когда б я мог Забыть, что незабвенно! женский взор! Причину стольких слез, безумств, тревог!* — Здесь нашло отражение неразделенное чувство поэта к Н. Ф. Ивановой.

Романс к И... (с. 80).— Обращено к Н. Ф. Ивановой. В другой редакции вошло в драму «Странный человек» как стихи Владимира Арбенина («Когда одни воспоминанья...»). Варьирует (особенно в «Странном человеке») лирическую тему стихотворения Т. Мура «When he who adores thee» («Когда тот, кто обожает тебя...») из цикла «Ирландские мелодии».

Завещание («Есть место: близ тропы глухой...») (с. 80).— Время и место создания стихотворения указаны Лермонтовым: «(Середниково: ночью; у окна)». В авторизованной копии есть подзаголовок «(Из Гете)», однако ни одно из стихотворений Гете не может рассматриваться в качестве оригинала. Существует предположение, что Лермонтов облек в стихотворную форму предсмертное письмо героя романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

К*** («Всевышний произнес свой приговор...») (с. 81).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

Желание («Зачем я не птица, не ворон степной...») (с. 82).— Написано под впечатлением семейной легенды о шотландских предках Лермонтовых. В рукописи пометы Лермонтова: «(Середниково. Вечер на бельведере)», «(29 июля)».

Св. Елена (с. 82).— Написано, по-видимому, в связи с десятилетием смерти Наполеона. *Св. Елена* — остров в Атлантическом океане, куда был сослан Наполеон и где он скончался в 1821 г.

«Блистая пробегают облака...» (с. 83).— Написано в Середникове: «(7-го августа. В деревне на холме; у забора)» (помета Лермонтова в автографе).

Атаман (с. 84).— Написано по мотивам народных преданий, песен о Степане Разине. *Горе тебе, город Казань...* — В Казани Разин не был, хотя захват города и входил в его планы. Возможно, здесь сказалось влияние фольклора о Ермаке. *Остался ль ты хладен И тверд, как в бою, Когда бросили в пенные волны Красотку твою?* — В песенном фольклоре мотив гибели пленницы отсутствует.

Он мог быть известен по переводу рассказа голландского путешественника Я. Стрюйса, опубликованному в 1824 г. Пушкин включил этот эпизод в свои «Песни о Стеньке Разине» (1826), запрещенные к напечатанию, но известные в списках московским литературным кругам.

Видение (с. 86).— Поэтическим образцом для стихотворения послужил «The Dream» («Сон») (1816) Дж. Байрона, который несколько ранее Лермонтов предполагал перевести. В основу положены действительные события летних месяцев 1831 г. *Пылали смуглые его ланиты, И черный взор искал чего-то все В туманном отдаленье...*— Герою стихотворения приданы черты внешнего облика самого Лермонтова. *...темно, смутно являлося минувшее ему — Призрак остерегающий, который Пугает сердце страшным предсказаньем, Но верил он — одной своей любви.*— Летом 1831 г. Лермонтов был увлечен Н. Ф. Ивановой. *И всадник примечает огонек, Трепещущий на берегу противном, И различил окно и дом, но мост Изломан... и несется быстро Клязьма.*— На берегу Клязьмы находилось имение Ивановых... *Ее сестра идет к нему навстречу.*— Речь идет о Дарье Федоровне Ивановой.

К Л.— («У ног других не забывал...») (с. 89).— Вопрос об адресате окончательно не решен. Возможно, стихотворение обращено к Варваре Александровне Лопухиной (в замужестве Бахметевой; 1815—1851), московской приятельнице Лермонтова, младшей дочери в семействе Лопухиных, жившем по соседству с бабушкой поэта Елизаветой Алексеевной Арсеньевой на Малой Молчановке. По словам троюродного брата Лермонтова Акима Павловича Шан-Гирея (1818—1883), чувство Лермонтова к В. А. Лопухиной «было... истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей...». Существует предположение, что стихотворение связано с именем Н. Ф. Ивановой (в этом случае «Л» расшифровывается как «Любимой»). Е. А. Сушкова утверждала, что стихи посвящены ей.

К Н. И........ («Я не достоин, может быть...») (с. 90).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

Воля (с. 91).—Одно из первых обращений Лермонтова к фольклору; воспроизводит форму и содержание народных разбойничьих песен.

«Зови надежду — сновиденьем...» (с. 92).— К кому обращено стихотворение, не установлено. Е. А. Сушкова, опубликовавшая текст в составе подборки «Из альбома Е. А. Сушковой» («Библиотека для чтения», 1844, т. 64), называла адресатом себя. Вместе с тем вторая строфа стихотворения (с некоторыми изменениями) введена в посвящение к третьей редакции «Демона», обращенное к В. А. Лопухиной.

«Прекрасны вы, поля земли родной...» (с. 92).— *И позабытый прах, но мне, но мне бесценный.*— Речь идет об отце

Лермонтова Юрии Петровиче, который скончался 1 октября 1831 г. в деревне Кропотово Тульской губернии.

«Я видел тень блаженства; но вполне...» (с. 93).— Возможно, стихотворение имеет реальную основу — безответное чувство поэта к Н. Ф. Ивановой.

Стансы. К Д*** (с. 96).— Адресат стихотворения не установлен.

«Ужасная судьба отца и сына...» (с. 98).— Написано в связи со смертью отца поэта. *...ты свершил свой подвиг, мой отец*.— Здесь выражение «вершить подвиг» — идиома, означающая «завершить тяжелый, страдальческий жизненный путь». *...люди угасить в душе моей хотели Огонь божественный... Однако ж тщетны были их желанья: Мы не нашли вражды один в другом.*— Намек на семейные распри, приведшие к разлуке Лермонтова с отцом.

«Пусть я кого-нибудь люблю...» (с. 98).— Первоначально стихотворение состояло из трех строф; третья строфа носила автобиографический характер: Я сын страданья. Мой отец Не знал покоя по конец. В слезах угасла мать моя; От них остался только я... В дальнейшем 1-я и 3-я строфы были зачеркнуты.

Из Паткуля (с. 99).— *Паткуль* Иоганн Рейнгольд (1660 — 1707) — политический деятель, выступивший против ущемления Швецией прав Лифляндии. Был казнен Карлом XII как изменник. Его письма, написанные перед казнью, были изданы (в русском переводе) в 1806 г.

Портрет (с. 99).— Кто изображен в данном стихотворении — неясно. Соотносится со стихотворением Е. А. Баратынского «Взгляни на лик холодный сей...» (опубл. 1826).

«Настанет день — и миром осужденный...» (с. 99).— Заключительные строки близки концовке стихотворения Д. В. Веневитинова «Завещание» (опубл. 1829).

К Д. (с. 100).— К кому обращено стихотворение, неизвестно.

Отрывок («Три ночи я провел без сна—в тоске...» (с. 101).— Этюд к задуманной Лермонтовым в 1831 г. поэме о князе Мстиславе Черном, поклявшемся освободить родину от татарских завоевателей.

Баллада («В избушке позднею порою...») (с. 102).— Время действия (период татаро-монгольского нашествия) позволяет связать стихотворение с замыслом поэмы о Мстиславе Черном.

1830—1831

Звезда («Вверху одна...») (с. 104).— По утверждению Е. А. Сушковой, стихотворение было посвящено ей.

Арфа (с. 105).— Может быть соотнесено со стихотворением Т. Мура «Завещание» (1808).

Пир Асмодея (с. 105).— Подзаголовок — «Сатира». Ее объектом Лермонтов избрал, с одной стороны, человеческие пороки (слова первого демона), с другой — явления социального характера. В речи второго демона — отзвук революционных событий 1830 г. во Франции, Бельгии, Польше; в словах третьего демона — отголосок эпидемии холеры и холерных бунтов. *По правую сидел приезжий <Павел>.*— В рукописи имя заменено звездочками и восстанавливается по рифме. Предполагается, что речь идет о царе Павле I. *Распространять сужденья дураков Он средство нам превечное доставил.*— Лермонтов ошибочно отождествляет (в соответствии с русской и европейской литературной традицией) доктора Фауста с первопечатником Иоганном Фаустом (иначе Фустом).

Сон («Я видел сон: прохладный гаснул день...») (с. 107).— *Все было тихо, как луна и ночь, И ветр не мог дремоты превозмочь.*— Реминисценция из пушкинской «Полтавы» (1829).

На картину Рембрандта (с. 108).— О какой картине Рембрандта (1606—1669) идет речь, не установлено.

К *** («О, полно извинять разврат!..») (с. 108).— Один из образцов русской гражданской лирики. Наиболее вероятно, что стихотворение обращено к А. С. Пушкину (эту мысль высказал в 1909 г. М. Горький), автору стихотворений «Стансы» (1826), «Друзьям» (1828), «К вельможе» (1830), несправедливо расцененных некоторыми из современников (не только из враждебного окружения, но и друзьями) как свидетельство компромисса поэта с самодержавием.

Поле Бородина (с. 110).— Ранний вариант стихотворения о Бородинской битве. Ср. «Бородино» (1837).

К *** («Не ты, но судьба виновата была...») (с. 116).— Адресовано Н. Ф. Ивановой.

К себе (с. 116).— Относится к циклу стихов, посвященных Н. Ф. Ивановой,

«Душа моя должна прожить в земной неволе...» (с. 117).— Связано с увлечением Н. Ф. Ивановой.

Из Андрея Шенье (с. 119).— Относится к группе стихотворений, объединенных темой поэта-борца. Заголовок стихотворения предполагает существование французского источника; между тем подобного стихотворения у французского поэта и публициста Андре Мари Шенье (1762—1794), казненного якобинцами, нет.

Возможно, что поэтический опыт Шенье Лермонтов воспринимал через Пушкина, через пушкинскую элегию «Андрей Шенье» (1825), написанную за несколько месяцев до восстания 14 декабря. Ряд строк из нее не был пропущен цензурой и распространялся в списках с произвольным заголовком «На 14-е декабря»: по этому поводу возникло длительное политическое дело (1826—1828). Имя Андре

Шенье в такой ситуации стало злободневным и символизировало собою образ страстного тираноборца, жертву деспотизма.

Стансы («Не могу на родине томиться»...) (с. 120).— Входит в лирический цикл, посвященный Н. Ф. Ивановой.

Мой демон (с. 121).— Новая редакция одноименного стихотворения 1829 г.

1832

«Время сердцу быть в покое...» (с. 124).— Адресовано, по-видимому, Н. Ф. Ивановой. Текстуально связано со стихотворением «К*» («Я не унижусь пред тобою...»). Первая строфа — вольный перевод стихотворения Байрона «Lines, inscribed: On this day I complete my thirty-sixth year» («В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет») (1824). Заключительное восьмистишие восходит к поэме С. Колриджа «Cristabel» («Кристабель») (1816). Ср. стихотворение «Романс» («Стояла серая скала...»).

К* («Я не унижусь пред тобою...») (с. 125).— Обращено к Н. Ф. Ивановой.

<В альбом Д. Ф. Ивановой> («Когда судьба тебя захочет обмануть...» (с. 127).— Адресовано сестре Натальи Федоровны — Дарье Федоровне Ивановой (?—1872).

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» (с. 127).— Навеяно воспоминаниями о пребывании Лермонтова на Кавказе в начале 1820-х годов.—*Воздух там чист, как молитва ребенка.*— Эта фраза (с изменениями) введена в текст «Княжны Мери» (запись от 11 мая). Текстуально и стилистически отрывок в известной степени близок начальным строкам поэмы «Измаил-Бей».

Прелестнице (с. 129).— Представляет собой первоначальный вариант позднейшего стихотворения «Договор» (1841).

Эпитафия («Прости! увидимся ль мы снова?..») (с. 129).— Стихотворение посвящено памяти Ю. П. Лермонтова.

«Измученный тоскою и недугом...» (с. 130).— Адресовано Н. Ф. Ивановой.

«Нет, я не Байрон, я другой...» (с. 130).— О своей близости Байрону Лермонтов говорил неоднократно: «К***» («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...»), автобиографическая заметка 1830 г. («Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном...») — осознавая вместе с тем и собственную творческую самостоятельность, что наиболее определенно выразилось в комментируемом стихотворении.

Романс («Ты идешь на поле битвы...» (с. 131).— В романсе варьируются мотивы стихотворения Т. Мура «Go when glory waits thee» («Иди туда, где ждет тебя слава») из цикла «Ирландские мелодии» (1807—1834).

С о н е т (с. 131); «Б о л е з н ь в г р у д и м о е й, и н е т м н е и с ц е л е н ь я...» (с. 132).— Стихотворения обращены к Н. Ф. Ивановой.

К* («Мы случайно сведены судьбою...») (с. 133).— Обращено к В. А. Лопухиной.

К* («Оставь напрасные заботы...») (с. 134).— Обращено к В. А. Лопухиной.

«Я ж и т ь х о ч у! х о ч у п е ч а л и...» (с. 134).— Первые восемь строк приведены в письме Лермонтова (август 1832 г.) к его приятельнице, воспитаннице Е. А. Арсеньевой Софье Александровне Бахметевой (1800—?) с примечанием, что стихи написаны «месяц тому назад».

«П р и в е т с т в у ю т е б я, в о и н с т в е н н ы х с л а в я н...» (с. 135).— Написано в связи с посещением в августе 1832 г. Новгорода, где Лермонтов останавливался на пути из Москвы в Петербург. *...вольности одной Служил тот колокол на башне вечевой.*— Лермонтов вслед за декабристами воспринимал вечевой колокол как символ древней вольности новгородцев, ассоциировавшейся с идеалом политической свободы.

Ж е л а н ь е («Отворите мне темницу...») (с. 136).— Стихотворение известно в нескольких редакциях. Первые четыре строки позднее вошли в стихотворение «Узник».

К* («Мой друг, напрасное старанье!..») (с. 136); К* («Печаль в моих песнях, но что за нужда?..») (с. 137).— Вероятно, обращены к В. А. Лопухиной.

Д в а в е л и к а н а (с. 137).— Написано по поводу двадцатилетней годовщины Отечественной войны 1812 г. В иносказательной форме изображено поражение Наполеона («трехнедельный удалец») в борьбе с Россией («старый русский великан»). *Но упал он в дальнем море...*— Наполеон был отправлен в ссылку на остров Св. Елены, где скончался в 1821 г.

К* («Прости! — мы не встретимся боле...») (с. 138).— Написано в августе 1832 г. перед отъездом Лермонтова из Москвы в Петербург. По-видимому, обращено к Н. Ф. Ивановой; по другому предположению — к В. А. Лопухиной. *Есть звуки — значенье ничтожно... Но их позабыть невозможно.*— В измененном виде эти строки повторяются в стихотворении «Есть речи — значенье...».

«С л о в а р а з л у к и п о в т о р я я...» (с. 139).— Написано, так же как и предыдущее стихотворение, перед отъездом в Петербург в августе 1832 г.

«Б е з у м е ц я! в ы п р а в ы, п р а в ы!..» (с. 139).— В рукописи стихотворение имело первоначальное заглавие — «Толпе».— Слово *толпа* употреблено здесь в значении «свет» (близко понятию «светская чернь» у А. С. Пушкина).

«Она не гордой красотою...» (с. 140).— Обращено к В. А. Лопухиной.

«Примите дивное посланье...» (с. 140).— Приведено в письме Лермонтова к С. А. Бахметевой, написанном в августе 1832 г. сразу после приезда в Петербург. ...*Оно не Павлово писанье — Но Павел вам отдаст его*.— Каламбур, в основе которого сопоставление имен апостола Павла, автора 14 посланий, вошедших в Новый завет, и Павла Александровича Евреинова (?—1857) — двоюродного дяди Лермонтова, офицера лейб-гвардии Измайловского полка. По просьбе Лермонтова он должен был отвезти письмо в Москву. *Куда ни взглянешь, красный ворот, Как шиш, торчит перед тобой*...— Лермонтов имеет в виду полицейские мундиры. *И, наконец, я видел море, Но кто поэта обманул?.. Я в роковом его просторе Великих дум не почерпнул*.— Лермонтов возражал против традиционно-романтического изображения моря. В полемических целях он использовал выражение из стихотворения Н. М. Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море...», 1829): «В роковом его просторе Много бед погребено».

Челнок («По произволу дивной власти...») (с. 141).— Написано в связи с переездом Лермонтова из Москвы в Петербург. Включено в письмо к С. А. Бахметевой (август 1832 г.). Существует более краткая редакция стихотворения (альбом А. М. Верещагиной, США).

«Что толку жить!.. Без приключений...» (с. 141).— Первоначальный текст приведен в письме Лермонтова (от 28 августа 1832 г.) к Марии Александровне Лопухиной (1802—1877), старшей сестре В. А. Лопухиной. В нем нет первой строфы, а после строки *Названье ваше сохранит* идет следующий текст:

С двумя плачевными стихами,
Которых, к счастию, вы сами
Не прочитаете вовек.
Когда ж чиновный человек
Захочет место на кладбище,
То ваше тесное жилище
Разроет заступ похорон
И грубо выкинет вас вон;
И, может быть, из вашей кости,
Подлив воды, подсыпав круп,
Кухмейстер изготовит суп
(Все это дружески, без злости).
А там голодный аппетит
Хвалить вас будет с восхищеньем;
А там желудок вас сварит,
А там — но с вашим позволеньем
Я здесь окончу мой рассказ;
И этого довольно с вас.

«Для чего я не родился...» (с. 143).— Включено в письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной от 28 августа 1832 г. Написано 27 августа 1832 г. под впечатлением небольшого наводнения в Петербурге.

Парус (с. 143).— Написано в Петербурге. Первоначальный текст вошел в письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной, датированное 2 сентября 1832 г. *Белеет парус одинокой...*— Эта строка совпадает с 19-м стихом первой главы поэмы А. А. Бестужева (Марлинского) «Андрей, князь Переяславский» (отд. изд. 1828). Образ белеющего в морском тумане паруса получил в творчестве Лермонтова и живописное воплощение — в акварельном рисунке, относящемся к концу 1820-х — началу 1830-х годов. Несколько лет спустя Лермонтов вновь вернулся к этому образу, использовав его в концовке «Княжны Мери».

Тростник (с. 144).— В стихотворении использован распространенный фольклорный мотив о волшебной свирели, вырастающей на могиле убитого и называющей убийцу.

Гусар (с. 147).— Последние два стиха, возможно, обращены к В. А. Лопухиной.

Юнкерская молитва (с. 148).— Относится ко времени пребывания Лермонтова в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Известно по воспоминаниям Александра Матвеевича Меринского (?—1873), товарища Лермонтова по юнкерской школе. Другая редакция стихотворения сохранилась в «Записках неизвестного гусара», принадлежащих другому соученику Лермонтова по Школе юнкеров — Александру Францевичу Тирану (1815—1865), позднее служившему вместе с поэтом в лейб-гвардии Гусарском полку. По воспоминаниям А. Ф. Тирана, «Юнкерская молитва» была помещена в рукописном журнале «Школьная заря». *Пускай в манеже Алехин глас Как можно реже Тревожит нас.*— Алексей Степанович Стунеев — командир кавалерийского эскадрона в Школе юнкеров (1832—1840). Известны два графических портрета Стунеева, принадлежащие Лермонтову. На одном из них Стунеев изображен в манеже с бичом в руках.

«На серебряные шпоры...» (с. 149).— Написано в годы учения в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

«Опять народные витии...» (с. 149).— Отклик на посвященные польскому вопросу антирусские выступления французской печати в 1834 — 1835 г.; стихотворение близко пушкинскому посланию «Клеветникам России» (1831).

<Эпиграмма на Н. Кукольника> («В Большом театре я сидел...») (с. 151).— Написано предположительно в 1835 г. в связи с постановкой драмы Н. Кукольника «Князь Михаил Ва-

сильевич Скопин-Шуйский» (первое представление — в Александринском театре 14 января 1835 г.). *В Большом театре я сидел...* — По-видимому, речь идет о петербургском Большом театре; 23 января там состоялось второе представление пьесы, вслед за которым прошло еще несколько спектаклей.

Пьеса получила одобрение консервативной журналистики, приветствовавшей официозного драматурга. С критикой драмы выступил В. Г. Белинский: «...драма совсем не изящна... когда ум творит без участия чувства и фантазии, то всегда делает нелепости и промахи против здравого смысла».

Умирающий гладиатор (с. 151).— Как следует из пометы в копии, стихотворение написано 2 февраля 1836 г. Две последние строфы зачеркнуты — возможно, в редакции «Отечественных записок», опубликовавших стихотворение без двух заключительных строф. Первые 20 стихов представляют собой свободное переложение строф 139—141 песни IV «Чайльд-Гарольда» Д. Байрона. Из этой же песни взят и эпиграф к стихотворению (строфа 110, стих 1). *Надменный временщик и льстец его сенатор.*— Строка навеяна началом стихотворения К. Ф. Рылеева «К временщику» («Надменный временщик... Монарха хитрый льстец...»). *Когда-то пламенных мечтателей кумир... Осмеянный ликующей толпою.*— Речь идет о гибели надежд, возлагавшихся на революционные движения в Европе (конец XVIII в., первая треть XIX в.), о духовном кризисе, который переживал «европейский мир» в условиях послереволюционной реакции.

Еврейская мелодия («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..») (с. 152).— Вольный перевод стихотворения Дж. Байрона «My soul is dark» («Моя душа темна») из цикла «Еврейские мелодии» (1815).

В альбом («Как одинокая гробница...») (с. 152).— Вольный перевод стихотворения Дж. Байрона «Lines written in Aldum, at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте») (1809).

«Великий муж! здесь нет награды...» (с. 153).— К кому обращено стихотворение, до сих пор не установлено (возможно, адресат был указан в начале текста, расположенном в верхней части листа, которая не сохранилась). Высказывалось предположение, что в стихотворении речь идет о Петре Яковлевиче Чаадаеве (1794—1856), писателе и ученом, авторе «Философических писем» (1829—1831). За публикацию в 1836 г. в журнале «Телескоп» первого письма, носившего резко обличительный характер, Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим. Более вероятно, что Лермонтов имел в виду русского полководца Михаила Богдановича Барклая-де-Толли (1761—1818), заслуги которого как главнокомандующего русской армией в начале Отечественной войны 1812 г.

не были оценены современниками (предложенная Барклаем тактика отступления была воспринята резко отрицательно — и в войсках, и при дворе). В 1836 г. в третьей книжке пушкииского «Современника» появилось стихотворение Пушкина «Полководец», прямо посвящеиное прижизненной и посмертной репутации Барклая; стихи вызвали волну обсуждений, лишь отчасти проникших в печать из-за цензурных препятствий. Прочие версии, иазывающие имена А. П. Ермолова, Н. Н. Раевского и др., не получили необходимого подтверждения.

1837—1841

Бородино (с. 154).—Написано, по-видимому, в январе 1837 г. как отклик на двадцатипятилетие Отечественной войны 1812 г. Здесь, как и в раннем стихотворении «Поле Бородина», Лермонтов попытался воспроизвести бородинские события посредством рассказа очевидца, участника сражения.

Смерть Поэта (с. 157).— Отклик на трагическую гибель Пушкина (Пушкин умер 29 января 1837 г.). Лермонтов был болен, когда до него дошла весть о роковой дуэли. О последних днях Пушкииа он узнал от лечившего его доктора Н. Ф. Арендта, который иавещал тяжело раненного поэта. Первая часть стихотворения (без эпиграфа) сохранилась в автографе (до слов «А вы, надменные потомки...»); вторая его часть известна по копиям, в том числе по копии, приложенной к следственному делу «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским».

В стихах, написанных на смерть Пушкина, Лермонтов выразил глубокое возмущение передовых кругов русского общества отношением к поэту придворной аристократии, явившейся подлинной виновницей его гибели. Стихотворение разошлось во множестве списков; один из них, по свидетельству современников, был доставлен Николаю I. Лермонтова и его друга — литератора и этнографа Святослава Афанасьевича Раевского (1808—1876), принимавшего участие в распространении стихов, арестовали и отдали под суд. 25 февраля 1837 г. по высочайшему повелению был вынесен приговор: «Л<ейб> гв<ардии> гусарского полка корнета Лермонтова... перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского... выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления иа службу, по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». В марте Лермонтов отправился в действующую армию на Кавказ, где в это время находился Нижегородский драгунский полк.

Стихотворение печатается по тексту издания: Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах, т. 1. Л., «Наука», 1979.

Отмщенья, государь, отмщенья!..— Эпиграф к стихотворению взят из трагедии французского писателя Жана де Ротру (1609—1650) «Venceslas» («Венцеслав») (1648) в переделке А. А. Жандра, русского драматурга-переводчика. По словам шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, «вступление (то есть эпиграф.— И. Ч.) к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное». *Погиб поэт! — невольник чести...*— Последнее выражение заимствовано из посвящения к поэме Пушкина «Кавказский пленник»: «Невольник чести беспощадной, Вблизи видал он свой конец. На поединках твердый, хладный, Встречая гибельный свинец». *Его убийца хладнокровно Навел удар...*— убийца Пушкина — Жорж Шарль Дантес (1812—1895), поручик Кавалергврдского полка (с 1834 г). Усыновивший его нидерландский посланник барон Л. Геккерен ввел Дантеса в салоны придворной русской аристократии, организовавшей травлю поэта, закончившуюся роковым поединком. За дуэль с Пушкиным Дантес был выслан во Францию. *...издалека, Подобный сотням беглецов, На ловлю счастья и чинов Заброшен к нам по воле рока...*— Дантес прибыл в Петербург в 1833 г. после вандейского мятежа. *Как тот певец, неведомый, но милый...*— В этом и следующих стихах — напоминание о Владимире Ленском из романа Пушкина «Евгений Онегин». *Зачем от мирных нег и дружбы простодушной Вступил он в этот свет, завистливый и душный Для сердца вольного и пламенных страстей?* — Сознательная перекличка со строками из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье»: «Зачем от жизни сей, ленивой и простой, Я кинулся туда, где ужас роковой, Где страсти дикие, где буйные невежды, И злоба и корысть!..» *И прежний сняв венок,— они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него: Но иглы тайные сурово Язвили славное чело...*— Некоторые из этих формул восходят к написанному в связи со смертью драматурга В. А. Озерова посланию В. А. Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину»: «Пусть Дружба нежными перстами Из лавров сей венец свила — В них Зависть терния вплела; И торжествует: растерзали Их иглы славное чело...» *А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов...*— Этот и следующие за ним 15 стихов были написаны позже, чем начальные строфы — в ответ на суждения тех, кто оправдывал убийц поэта. Точку зрения защитников Дантеса отстаивал камер-юнкер Николай Аркадьевич Столыпин (1814—1884), родственник Лермонтова, навестивший поэта в первой половине февраля. Впервые о «прибавлении» упоминается в письме А. И. Тургенева к А. Н. Пещурову от 13 февраля. О том, кого имел в виду Лермонтов, говоря о «над-

менных потомках», дает представление один из списков стихотворения, в котором неизвестный современник Лермонтова назвал ряд фамилий тех, кто, унаследовав «известную подлость» отцов, сочетал в себе «надменность» и «рабство»: графы Орловы, Бобринские, Воронцовы, Завадовские, князья Барятинские и Васильчиковы, бароны Энгельгардты и Фредериксы. В целом концепция этих строк опирается на пушкинские исторические представления о «новой аристократии», захватившей ключевые позиции в обществе и оттеснившей «старое дворянство», с судьбой которого Пушкин связывал национальную историческую и культурную традицию. К «обломкам игрою счастия обиженных родов» Лермонтов относил и самого Пушкина. *...Есть грозный суд; он ждет...*— По традиции, идущей от П. А. Ефремова, ссылавшегося на А. Меринского, этот стих в некоторых изданиях печатался: «Есть грозный судия: он ждет». Сейчас, на основании дошедших списков, принято чтение «Есть грозный суд...».

Ветка Палестины (с. 159).—По словам писателя А. Н. Муравьева (1806—1874), которому, судя по зачеркнутой помете в копии, Лермонтов вначале посвятил стихотворение, оно было написано на квартире у Муравьева, в феврале 1837 г., когда Лермонтов навещал его перед своим арестом за стихи «Смерть Поэта». В воспоминаниях А. П. Шан-Гирея сохранился рассказ о том, как Лермонтов, увидев «пальмовую, искусно сплетенную ветку Палестины» в образной у Муравьева (писатель привез ее из своих путешествий «ко святым местам»), «по внезапному вдохновению» записал стихотворение на том же листке, где он набросал и записку хозяину дома. Вместе с тем существует еще одно свидетельство того же А. Н. Муравьева относительно истории возникновения стихотворения, которое никак не соотносится с событиями 1837 г.; текст датируется 1836 г. В настоящее время ни та, ни другая версия не может считаться окончательно доказанной. Традиционно стихотворение относится к 1837 г. *Солима бедные сыны...*— Солим — Иерусалим. *Прозрачный сумрак, луч лампады... Вокруг тебя и над тобой.*—Эта строфа напоминает стихи из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»: «Лампады свет уединенный, кивот, печально озаренный, Пречистой девы кроткий лик И крест, любви символ священный».

Узник (с. 160).— По свидетельству А. П. Шан-Гирея, написано в феврале 1837 г.; Лермонтов в это время находился под арестом за стихи, написанные на смерть Пушкина. Поэт был помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба. К нему пускали только камердинера. Лермонтов «велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес»: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою...»), «Сосед» («Кто б ни был ты, печальный мой сосед...») и «Узник». Первые 4 строки

перенесены из стихотворения «Желанье»: *...за дверями, Звучно-мерными шагами Ходит в тишине ночной Безответный часовой.*— Эти строки обнаруживают знакомство со стихотворением Н. М. Языкова «Конь»: Лермонтов варьирует типичный языковский неологизм (у Языкова: «стройно-верными»).

Послание (с. 161).— Адресовано Е. А. Сушковой; представляет собой шутливую реплику Лермонтова на выписки Сушковой из св. Августина, сделанные на странице голубого цвета. Стихотворение записано в альбом приятельницы Сушковой А. М. Верещагиной (США).

Молитва («Я, матерь божия, ныне с молитвою...») (с. 162).— Обращено, по-видимому, к В. А. Лопухиной. Введено в текст письма Лермонтова к М. А. Лопухиной от 15 февраля 1838 г. под названием «Молитва странника»: «В завершение моего письма я посылаю вам стихотворение, которое я нашел случайно в ворохе своих путевых бумаг и которое мне в какой-то степени понравилось, потому что я его забыл — но это вовсе ничего не доказывает». А. П. Шан-Гирей относил «Молитву» к числу тех стихотворений, которые Лермонтов написал, находясь под арестом в феврале 1837 г. (см. примечание к «Узнику»). Однако, принимая во внимание приведенные выше слова Лермонтова из письма к М. А. Лопухиной и названное там же заглавие стихотворения, правильнее датировать «Молитву» первыми месяцами ссылки, то есть весной 1837 г.

«Расстались мы, но твой портрет...» (с. 162).— Возникло на основе переработки раннего стихотворения «Я не люблю тебя; страстей...».

«Не смейся над моей пророческой тоскою...» (с. 163).— Стихотворение не закончено. Варьирует первую строфу раннего стихотворения «К *» («Когда твой друг с пророческой тоскою...»). Предположительно связывается с событиями, последовавшими за смертью Пушкина. *Пускай толпа растопчет мой венец; Венец певца, венец терновый!..*— Сходный образ употреблен в стихотворении «Смерть Поэта»: «И прежний сняв венок,— они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него».

«Я не хочу, чтоб свет узнал...» (с. 163).— Написано на одном листке со стихотворением «Не смейся над моей пророческой тоскою...».

<Эпиграммы на Ф. Булгарина. I. II> (с. 164).— Эпиграммы адресованы Ф. В. Булгарину (1789—1859), реакционному писателю, редактору газеты «Северная пчела», негласному агенту III Отделения. Булгарин известен своей борьбой против Пушкина и писателей его круга; ему посвящен ряд пушкинских памфлетов и эпиграмм, которые, безусловно, знал Лермонтов и на которые ориентировался при создании собственных остро сатирических стихов,

обращенных к тому же адресату. В 1837 г. под именем Булгарина вышла в свет книга «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях...» (подлинный автор Н. А. Иванов). Книга успеха не имела, ее не покупали, в связи с чем Булгарин напечатал в «Северной пчеле» объявление, где широко рекламировал эту книгу. Данные события и послужили поводом для возникновения лермонтовских эпиграмм. *Россию продает Фадей...*— Строка имеет двойной смысл: она содержит намек на продажу книги и вместе с тем на прошлое Булгарина, служившего в 1812 г. в армии Наполеона.

«Спеша на север из далека...» (с. 164).— Написано в начале декабря 1837 г. на пути из Тифлиса во Владикавказ. В первой публикации в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (1845, кн. 1) было озаглавлено «Казбеку». *И прах бездомный по ущелью Без сожаления развей.*— Реминисценция из стихотворения А. И. Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые станицы?..» (1837—1838).

Кинжал (с. 165).— Относится, по-видимому, к концу 1837 или к началу 1838 г. Записано, так же как и стихотворения «Гляжу на будущность с боязнью...» и «Она поет — и звуки тают...», на одном листе с посвящением к поэме «Тамбовская казначейша», относящейся также к этому времени — концу 1837 — самому началу 1838 г. Первоначальное название — «Подарок»: в стихотворении речь идет о подаренном поэту кинжале. Известно, что среди вещей Лермонтова находился кинжал, привезенный из первой ссылки.

«Слышу ли голос твой...» (с. 166).— Вместе со стихотворениями «Как небеса, твой взор блистает...» и «Она поет — и звуки тают...» образует как бы единый цикл, обращенный к одному и тому же лицу и написанный в одно и то же время — в конце 1837 — начале 1838 г. Адресатом названных трех стихотворений, возможно, является Прасковья Арсеньевна Бартенева (1811—1872), известная певица, камер-фрейлина (с 1835 г.). Бартенева была хорошо знакома с близким Лермонтову семейством Карамзиных, в их доме неоднократно встречалась с поэтом. Предполагалось совместное участие Лермонтова и Бартеневой в любительском спектакле (август — сентябрь 1838 г.).

«Она поет — и звуки тают...» (с. 167).— *Идет ли — все ее движенья... Так полны дивной простоты.*— Эти строки (с изменениями) взяты из стихотворения «Она не гордой красотою...» (1832).

<К М. И. Цейдлеру> («Русский немец белокурый...») (с. 167).— *Цейдлер* Михаил Иванович (1816—1892) — мемуарист и скульптор, в 1838 г.— гродненский гусар. 3 марта 1838 г. Лермонтов принимал участие в проводах Цейдлера в действующую армию

на Кавказ. *Но иной, не бранной сталью мысли юноши полны.*— Намек на увлечение Цейдлера Софьей Николаевной Стааль фон Гольштейн, женой дивизионного командира.

<К портрету старого гусара> («Смотрите, как летит, отвагою пылая...») (с. 168).— Стихи к рисунку, изображающему скачущего на коне полковника лейб-гвардии Гусарского полка (с 1837 г.) Николая Ивановича Бухарова (1799—1862), однополчанина Лермонтова. Рисунок сделан гусаром А. Н. Долгоруким. Под рисунком — авторизованная копия стихотворения Лермонтова, подпись поэта и написанная им дата.

<К Н. И. Бухарову> («Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...») (с. 168).— Написано, по-видимому, одновременно с четверостишием «<К портрету старого гусара>», также относящимся к Бухарову и датированным Лермонтовым 1838 г. *Столетья прошлого обломок... Пиров и битвы гражданин.*— Парафраза из стихотворения Пушкина «Моя родословная» (1830).

<А. Г. Хомутовой> («Слепец, страданьем вдохновенный...») (с. 169).— Обращено к Анне Григорьевне Хомутовой (1784—1856), сестре генерала Михаила Григорьевича Хомутова (1795—1864), командира лейб-гвардии Гродненского полка. Стихотворение, по-видимому, относится ко времени службы Лермонтова в гродненских гусарах (1838 г.). *Слепец, страданьем вдохновенный, Вам строки чудные писал...*— Поэт Иван Иванович Козлов, двоюродный брат А. Г. Хомутовой, горячо ее любивший, посвятил Хомутовой стихи «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки», вдохновленные встречей с ней после более чем двадцатилетней разлуки. В это время (1838 г.) Козлов был уже тяжело болен и слеп. *И я, поверенный случайный Надежд и дум его живых...*— Лермонтов часто бывал у Хомутовых. В одно из таких посещений Анна Григорьевна показала поэту посвященные ей стихи Козлова. Глубоко тронутый ими Лермонтов попросил разрешения взять рукопись и вскоре вернул ее вместе со своим стихотворением.

Вид гор из степей Козлова (с. 170).— Вольный перевод одноименного стихотворения А. Мицкевича из цикла «Крымские сонеты» (1825). К творчеству Мицкевича Лермонтов больше не обращался. Написано в период службы Лермонтова в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку по подстрочнику, сделанному однополчанином поэта корнетом Николаем Александровичем Краснокутским (1819—1891). Другим источником для Лермонтова послужил перевод стихотворения, выполненный в 1828 г. И. И. Козловым; Лермонтов взял за образец его размер и строфику и даже повторил некоторые неточности, в том числе неверный перевод польского «łuna» (зарево) как «луна». Козлов (Гёзлев) — старинное название Евпатории. *Застывших волн... твердыни*— Крымские горы;

самая высокая их точка — Чатырдаг. *Иль дивы, словом роковым, Стеной умели так высоко Громады скал нагромоздить...* — В польском тексте самим Мицкевичем сделано примечание, разъясняющее значение слова «Diwy» — «злые гении, некогда царствовавшие на земле, потом изгнанные ангелами и ныне живущие на краю света за горою Каф». В переводе Козлова упоминания о «дивах» нет.

Казачья колыбельная песня (с. 171). — Сохранился список стихотворения, сделанный бабушкой Лермонтова Елизаветой Алексеевной Арсеньевой для А. М. Верещагиной и посланный ей в Штутгарт в письме от 23 ноября 1838 г. — по случаю рождения дочери Верещагиной Елизаветы. По преданию, написано под впечатлением «баюкашной» песни казачки, которую Лермонтов слышал в станице Червленой на Тереке (по другим данным — в станице Старомышастовской на Кубани).

Поэт («Отделкой золотой блистает мой кинжал...») (с. 172). — *Твой стих, как божий дух, носился над толпой... Во дни торжеств и бед народных.* — Отзвук декабристских представлений о поэте как о народном вожде, пробуждающем в согражданах стремление к свободе.

«Это случилось в последние годы могучего Рима...» (с. 174). — Незаконченное произведение, стилизованное под раннехристианскую легенду. Написано гекзаметром без цезур — тем же размером, что и повесть в стихах В. А. Жуковского «Ундина», которая впервые вышла в свет отдельной книгой в 1837 г. («Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским». СПб., 1837) и в самом начале 1838 г. была подарена автором Лермонтову. Вероятно, в это же время было начато и лермонтовское стихотворение, повторившее стиховую форму «Ундины». *Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно.* — Лермонтов здесь неточен: во времена императора Тиберия (14—37 гг. н. э.) гонений на христиан еще не было.

«Ребенка милого рожденье...» (с. 175). — Написано в конце февраля или в марте 1839 г. при известии о рождении сына у Алексея Александровича Лопухина (1813—1872) — друга университетской поры.

<А. А. Олениной> («Ах! Анна Алексевна...») (с. 175). — Написано в альбом Анне Алексеевне Олениной (1808—1888), младшей дочери историка, художника, президента Академии художеств А. Н. Оленина, в день ее рождения 11 августа 1839 г.

Не верь себе (с. 176). — Поэтическая декларация Лермонтова, итог его размышлений о судьбах развития современной поэзии, ее общественной значимости, о характере взаимоотношений художника и «толпы». Непосредственным предшественником Лермонтова в обращении к этим традиционным для русской поэзии темам явился

Пушкин. Эпиграф взят из «Пролога» к «Ямбам» О. Барбье. Первый стих изменен: вместо «Que me font» («Какое мне дело») у Лермонтова «Que nous font» («Какое нам дело»).

<Из альбома С. Н. Карамзиной> («Любил и я в былые годы...») (с. 177).— Обращено к Софье Николаевне Карамзиной (1802—1856), старшей дочери писателя и историка Н. М. Карамзина, хозяйке известного литературного салона, где бывали А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский, А. С. Хомяков, Е. П. Ростопчина и др. Карамзина была дружна с Лермонтовым, его поэтический талант сравнивала с «блестящей звездой», которая «восходит на нашем ныне столь бледном литературном небосклоне». 26 июня 1839 г. Лермонтов написал в альбом С. Н. Карамзиной стихи. Хозяйке альбома они не понравились; об этом известно из письма Карамзиной к ее сестре Екатерине Николаевне Мещерской (1806—1867): «Я давно уже дала ему (Лермонтову.— И. Ч.) свой альбом, чтобы он в него написал. Вчера он мне объявляет, *«что когда все разойдутся, я что-то прочту и скажу ему доброе слово»*. Я догадываюсь, что речь идет о моем альбоме,— и в самом деле, когда все разъехались, он мне его вручает с просьбой прочесть вслух и, *если стихи мне не понравятся, порвать их, и он тогда напишет мне другие*. Он не мог бы угадать вернее! Эти стихи, слабые и попросту скверные, написанные на *последней* странице, были ужасающе банальны: «он-де не осмеливается писать там, где оставили свои имена столько знаменитых людей, с большинством из которых он не знаком; что среди них он чувствует себя как неловкий дебютант, который входит в гостиную, где оказывается не в курсе идей и разговоров, но он улыбается шуткам, делая вид, что понимает их, и наконец, смущенный и сбитый с толку, с грустью забивается в *укромный уголок»* — и это все». «Я,— продолжает С. Н. Карамзина,— вырвала листок и, разорвав его на мелкие кусочки, бросила на пол. Он их подобрал и сжег над свечой... Он попросил обратно у меня альбом, чтобы написать что-нибудь другое, так как теперь *задета его честь»*. Альбом Карамзиной не сохранился, однако в свое время он был изучен Б. Л. Модзалевским; Модзалевский обнаружил в альбоме только одно стихотворение Лермонтова; это и был публикуемый в настоящем томе текст: по-видимому, именно он был написан Лермонтовым взамен уничтоженного.

...*Смирновой штучку, фарсу Саши И Ишки Мятлева стихи...*— Упомянуты А. О. Смирнова (о ней см. в примечании к стихотворению «А. О. Смирновой» на с. 688, Александр Николаевич Карамзин (1815—1888), сын Н. М. Карамзина от второго брака, и поэт Иван Петрович Мятлев (1796—1844).

Три пальмы (с. 178).— Соотносится с IX «подражанием Корану» А. С. Пушкина («И путник усталый на бога роптал...») — по

линии сюжета, ориентальной окраске, характеру строфики и стиха. *Фарис* (арабск.) — всадник, наездник.

Молитва («В минуту жизни трудную...») (с. 179).— По свидетельству А. О. Смирновой, написано для княгини Марии Алексеевны Щербатовой (урожд. Штерич; 1820—1879), которой Лермонтов был увлечен в 1839—1841 гг.: «Машенька велела ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти стихи». Имя Щербатовой называли в связи с разговорами о дуэли Лермонтова с Эрнестом де Барантом (1818—1859), атташе французского посольства, сыном французского посла А. Г. П. Баранта.

Дары Терека (с. 180).— Навеяно гребенским казачьим фольклором, сказами и народными песнями о Тереке.

Памяти А. И. О<доевско>го (с. 182).— Обращено к Александру Ивановичу Одоевскому (1802—1839), поэту-декабристу, близкому другу Лермонтова. После десяти лет сибирской каторги и ссылки Одоевский был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, где служил Лермонтов. Знакомство Одоевского с Лермонтовым относится либо к 8—10 октября 1837 г. (в Ставрополе), либо к ноябрю того же года (в Грузии). Стихотворение написано в связи со смертью Одоевского, умершего от лихорадки 15 августа 1839 г. *Я знал его: мы странствовали с ним В горах востока...* — Существует версия о совместной поездке Лермонтова и Одоевского по Кавказу. *Он был рожден для них, для тех надежд... И свет не пощадил — и бог не спас!* — Повторение с изменениями второй строфы «Когда твой друг с пророческой тоскою» и начала стихотворения «Он был рожден для счастья, для надежд». В строфах 3—5 — текстуальные совпадения с поэмой «Сашка».

<Э. К. Мусиной-Пушкиной> («Графиня Эмилия...») (с. 184).— Обращено к известной своей красотой графине Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной (урожд. Шернваль; 1810—1840).

«Как часто, пестрою толпою окружен...» (с. 184).— Написано под впечатлением новогодних празднеств под новый 1840 год. На одном из балов в Дворянском собрании Лермонтова видел Тургенев. Рассказ об этой встрече вошел в «Литературные и житейские воспоминания»: «На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки ... и т. д.»

«Посреди небесных тел...» (с. 186).— Поэтическая шутка, вписанная 16 мая 1840 г. в альбом поэтессы и переводчицы Каролины Карловны Павловой (урожд. Яниш; 1807—1893). Лермонтов посещал салон Павловой в мае 1840 г., задержавшись в Москве по дороге на Кавказ.

<М. А. Щербатовой> («На светские цепи...») (с. 186).— Обращено к М. А. Щербатовой (о ней см. примечание к стихотворению «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). *Но юга родного На ней сохранилась примета...*— М. А. Щербатова была украинкой по происхождению. Импульсом к созданию стихотворения, возможно, послужило напечатанное в 1839 г. в «Отечественных записках» стихотворение Е. П. Гребенки «Признание»: Украина изображается в нем в аллегорическом образе женщины.

«Есть речи — значенье...» (с. 187).— Стихотворение известно в трех редакциях. Первый вариант записан 4 сентября 1839 г. в альбом Марии Арсеньевны Бартеневой (1816—1870), фрейлины, сестры П. А. Бартеневой (о П. А. Бартеневой см. в примечании к стихотворению «Слышу ли голос твой...» на с. 680), знакомой М. Ю. Лермонтова. В альбомной редакции после 8-го стиха следовали строфы:

Надежды в них дышут,
И жизнь в них играет...
Их многие слышут,
Один понимает.
Лишь сердце родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки;
Душа их с моленьем,
Как ангела, встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Вторая редакция была напечатана в журнале «Отечественные записки» (1841, № 1). Стихотворение Лермонтов сам передал редактору А. А. Краевскому, приехав из Царского Села в Петербург. Текст третьей редакции, под заглавием «Волшебные звуки», известен по публикации в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. 2, СПб., 1846). Первые две строфы совпадали с текстом первой публикации (кроме 6-го стиха, который был дан по альбомной записи). В дальнейшем тексте соединились строфы первой и второй редакций:

Их кратким приветом,
Едва он домчится,
Как божиим светом
Душа озарится.

Средь шума мирского
И где я ни буду,
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Надежды в них дышат,
И жизнь в них играет,—
Их многие слышат,
Один понимает.
Лишь сердце родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с моленьем,
Как ангела, встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

...*Из пламя и света Рожденное слово*.— Эти строки были отмечены Краевским как грамматическая неточность. По воспоминаниям писателя и мемуариста И. И. Панаева (1812—1862), свидетеля разговора Лермонтова с Краевским, поэт пытался исправить «маленький грамматический промах, неправильность» в этом стихе («пламя» вместо «пламени» в родительном падеже), но не нашел соответствующей замены.

Журналист, читатель и писатель (с. 188).— Написано 20 марта 1840 г. в Петербурге на Арсенальной гауптвахте, где Лермонтов находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом. В жанровом отношении стихотворение ориентировано на «Разговор книгопродавца с поэтом» А. С. Пушкина (1824), где впервые в форме поэтического диалога рассматривается проблема положения поэзии в «коммерческий век».

Центральный для поздней лирики Лермонтова вопрос о судьбе поэта в обществе решается здесь на конкретном материале современной литературы. Лермонтов, обобщая факты литературных полемик 1830-х годов, в первую очередь борьбы Пушкина и писателей его круга, а затем и «Отечественных записок» против Булгарина и Полевого, выступает с критикой бессодержательной «массовой» литературы. Экспозиционная ремарка стихотворения повторена в рисунке Лермонтова, изображающем самого Лермонтова в позе Читателя и А. С. Хомякова в позе Писателя (альбом Лермонтова 1840—1841 гг.). Вместе с тем действующие лица стихотворения не сводятся к конкретным прототипам.

Эпиграф — из произведения И. В. Гете «Sprüche in Reimen» («Изречения в стихах»). *Зато какая благодать, Коль небо вздумает послать Ему изгнанье, заточенье...* — Парафраза строк из «Ответа анониму» Пушкина (1830). *Ну, что вы пишете? нельзя ль Узнать?..* — парафраза из «Разговора...» А. С. Пушкина. *Во-первых, серая бумага... Да как-то страшно без перчаток...* — Парафраза известного замечания П. А. Вяземского («Отрывок из письма к А. И. Г<отовцевой>», 1830), которое принял на свой счет издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834) Николай Алексеевич Полевой (1796—1846): «Кто-то сказал, что с некоторого времени журналы наши так грязны, что их не иначе можно брать в руки, как в перчатках».

Воздушный корабль (с. 192).— Написано в марте 1840 г. в Ордонанс-гаузе, куда Лермонтов был заключен после дуэли с Э. де Барантом. Свободное переложение посвященной Наполеону баллады австрийского поэта И. К. Цедлица (1790—1862) «Geisterschiff» («Корабль призраков») (1832). В ряде строф сказалось влияние другой баллады этого же автора: «Nächtliche Heerschau» («Ночной смотр») (1827), переведенной в 1836 г. В. А. Жуковским. *Но спят усачи-гренадеры — В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид.* — В этих строках обозначены основные вехи военной карьеры Наполеона (в обратном хронологическом порядке): битва при Лейпциге в 1813 г., война 1812 г. с Россией, египетский поход 1798—1799 гг.

Соседка (с. 194).— Возникло под влиянием реальных событий. Лермонтов написал стихотворение в марте — апреле 1840 г., находясь под арестом за дуэль с Э. де Барантом. Об истории создания «Соседки» рассказал в своих воспоминаниях А. П. Шан-Гирей, навещавший Лермонтова в Ордонанс-гаузе: «Здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при Ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери...» По свидетельству биографа Лермонтова П. А. Висковатого, писатель В. А. Соллогуб, знакомый Лермонтова, «видел даже изображение этой девушки, нарисованной Лермонтовым, с подписью: «La jolie fille d'un sous-officier»[1]. Поэт с нею действительно переговаривался через окно».

Пленный рыцарь (с. 195).— Предположительно относится к весне 1840 г.— времени, когда Лермонтов находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом.

[1] Хорошенькая дочь одного унтер-офицера *(фр.)*.

<М. П. Соломирской> («Над бездной адскою блуждая...») (с. 196).— Обращено к Марии Петровне Соломирской (урожд. графине Апраксиной; 1811—1859), жене камер-юнкера В. Д. Соломирского, брата П. Д. Соломирского, полковника лейб-гвардии Гусарского полка (с 1833 г.), сослуживца Лермонтова. *Так, разбирая в заточенье Досель мне чуждые черты...*— Послание Лермонтова написано, по-видимому, в ответ на письмо, которое поэт получил от Соломирской, находясь под арестом в Ордонанс-гаузе весной 1840 г.

Отчего (с. 197).— Принято считать, что стихотворение обращено к М. А. Щербатовой (о ней см. примечание к стихотворению «Молитва» («В минуту жизни трудную...») на с. 684).

Благодарность («За все, за все тебя благодарю я...») (с. 197).— *За все, за все тебя благодарю я...*— В первой публикации местоимение «тебя» было написано со строчной буквы. Стихотворение таким образом воспринималось как обращение к женщине и потому не привлекло внимания цензуры. Между тем очевидно, что смысл его — в обращении к богу, виновнику страданий поэта. Есть основание предполагать, что стихотворение полемически соотносится с напечатанным в 1839 г. в «Отечественных записках» стихотворением В. И. Красова «Молитва» («Благодарю, творец, за все благодарю...»).

Из Гете (с. 197).— Свободный перевод второй «Wanderers Nachtlied» («Ночной песни странника») (1780) И. В. Гете. История создания стихотворения Лермонтова отражена в воспоминаниях поэта и переводчика Гете А. Н. Струговщикова: «На вопрос его (Лермонтова.— И. Ч.): не перевел ли я «Молитву путника» Гете? — я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй — недостает мне ее певучести и неуловимого ритма. «А я, напротив, мог только вторую половину перевести»,—сказал Лермонтов и тут же, по просьбе моей, набросал мне на клочке бумаги свои «Горные вершины». Свой разговор с Лермонтовым Струговщиков ошибочно относил к концу ноября 1840 г.: в это время Лермонтов уже был на Кавказе.

Ребенку (с. 197).— К кому обращено стихотворение — не установлено. Существует предположение, что его адресат дочь В. А. Лопухиной Ольга. (Мужской род: «Ты на нее похож...» и т. д.— объясняется грамматическим требованием согласования со словом «ребенок»).

А. О. Смирновой (с. 198).— Обращено к Александре Осиповне Смирновой (урожд. Россет; 1809—1882), одной из блестящих дам петербургского света, красота и ум которой были воспеты в поэзии современниками. Известный литературный салон Смирновой

посещали Жуковский, Пушкин, Вяземский, Гоголь, Карамзины. Бывал там и Лермонтов. Стихотворение было написано в альбом Смирновой. Этот эпизод отмечен в воспоминаниях владелицы альбома: «Софи Карамзина мне раз сказала, что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся наверх, открыл альбом и написал эти стихи».

К портрету (с. 199).— Обращено к графине Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой (урожд. Нарышкиной; 1818—1856), знакомой Лермонтова. «...Никогда не встречал я,— писал В. А. Соллогуб...— такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее».

Тучи (с. 199).— Написано в апреле 1840 г. перед отъездом Лермонтова во вторую кавказскую ссылку. Как вспоминал впоследствии В. А. Соллогуб, «друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение «Тучки небесные, вечные странники!..». Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез...»

<Валерик> («Я к вам пишу случайно; право...») (с. 200).— Обращено, по-видимому, к В. А. Бахметевой (урожд. Лопухиной). В послании запечатлен один из эпизодов Кавказской войны, связанный с боевыми действиями отряда генерал-лейтенанта А. В. Галафеева в Чечне — бой на речке Валерик (11 июля 1840 г.), в котором Лермонтов принимал участие. По свидетельству К. Х. Мамацева, офицера-артиллериста, так же, как и Лермонтов, участника Валерикского сражения, поэт, «заметив опасное положение артиллерии, подоспел... со своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами». Рассказ Лермонтова о Валерикском бое очень близок описанию сражения, содержащемуся в «Журнале военных действий» отряда Галафеева. *Валерик* (чеченское Валарг) — река, приток Сунжи, впадающей в реку Терек. Название возникло от первоначального «Валеран хи» — «смерти река».

Завещание (с. 206).— Написано в конце 1840 г.; связано с участием Лермонтова в военных действиях на Кавказской линии (поход в Большую и Малую Чечню).

Оправдание (с. 207).— Возникло на основе переработки юношеского «Романс к И...» («Когда я унесу в чужбину...») и стихов Владимира Арбенина из драмы «Странный человек» («Когда один воспоминанья...»). К кому обращено стихотворение, окончательно не установлено. Существует предположение, что адресат его — В. А. Бахметева (урожд. Лопухина).

Родина (с. 207).— В рукописи озаглавлено «Отчизна». Импульсом к созданию стихотворения, возможно, послужила публикация «Отчизны» А. С. Хомякова (в конце 1839 г.— в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и журнале «Отечественные записки»). 13 марта 1841 г. В. Г. Белинский писал В. П. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина» — то, аллах керим, что за вещь — пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских». Принято считать, что известный рисунок Лермонтова, названный «Чета белеющих берез», представляет собой автоиллюстрацию к стихотворению «Родина».

«На севере диком стоит одиноко...» (с. 208).— Вольный перевод стихотворения Г. Гейне «Ein Fichtendaum steht einsam» («Сосна стоит одиноко») из сборника «Buch der Lieder» («Книга песен») (1827). Как утверждал сын поэта П. А. Вяземского Павел Петрович Вяземский (с ним Лермонтов в 1838—1841 гг. встречался у Карамзиных), перевод стихотворения Гейне был сделан по его просьбе: «Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 г., и который ныне хранится в императорской Публичной библиотеке».

Перевод известен в двух редакциях, весьма далеких от немецкого источника. При этом первая редакция более близка подлиннику, чем окончательный текст; она имеет эпиграф — цитату из немецкого оригинала:

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf Kahler Höh.
Heine

На хладной и голой вершине
Стоит одиноко сосна,
И дремлет... под снегом сыпучим,
Качаяся, дремлет она.
Ей снится прекрасная пальма
В далекой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.

В обеих редакциях перевода изменен смысл оригинала. Лермонтов не принял во внимание существенных для Гейне грамматических родовых различий: в немецком языке «сосна» — мужского рода, «пальма» — женского. Поэтому стихотворение Лермонтова написано не о разлуке влюбленных, как у Гейне, а о трагедии одиночества, непреодолимой разобщенности людей.

Любовь мертвеца (с. 208).— Написано в альбом М. А. Бартеневой с авторской датой: «Марта 10-го 1841». Несколькими страницами ранее рукою графини Е. Н. фон Барановой вписано стихотворение французского поэта и романиста Альфонса Карра (1808—1890) «La mort amoureux» («Влюбленный мертвец») с пометой «14 сентября 1839 года». Стихотворение «Le mort amoureux», впервые опубликованное в мае 1841 г., было известно в светских и литературных кругах до его публикации — видимо, по рукописи. Увидев запись, сделанную Е. Н. фон Барановой, Лермонтов предложил свой вариант на тему стихотворения А. Карра.

Последнее новоселье (с. 209).— Написано в связи с известием о перенесении праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж 15 декабря 1840 г. Оценку личности Наполеона и характер его изображения (трагический герой, жертва предательства) в известной мере определила кампания во французской печати, начатая уже в мае 1840 г.: Луи-Филипп и его министры в борьбе за свои политические интересы спекулировали на памяти Наполеона с целью получить поддержку широких масс. Эта дипломатическая игра воспринималась Лермонтовым как свидетельство гражданского и нравственного упадка, характеризующего французов поколения 1830-х годов. Резко отрицательная оценка современной Франции внешне сближала «Последнее новоселье» со стихами славянофильской и официально-патриотической ориентации (А. С. Хомякова, А. И. Подолинского, Е. П. Ростопчиной): «Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне и французах,— писал В. Г. Белинский...— жаль думать, что это Лермонтов, а не Хомяков. *Ты жалкий и пустой народ!* — Эта характеристика французского обывателя опирается на формулу из пушкинской статьи «Последний из свойственников Иоанны д'Арк»: «Жалкий век! жалкий народ!» *Из вольности — орудье палача, И все заветные отцовские поверья Ты им рубил, рубил сплеча...* — Речь идет о якобинском терроре. Наполеон в представлении Лермонтова стал на защиту свободы, завоеванной на первом этапе Великой французской революции. *В степях египетских, у стен покорной Вены, В снегах пылающей Москвы!* — Речь идет о Египетской экспедиции 1798—1799 гг., разгроме Австрии, закончившемся Венским миром (1809 г.), и пожаре Москвы 1812 г. *Вы потрясали власть избранную, как бремя, Точили в темноте кинжал!* — Общественно-политическая обстановка во Франции к моменту возвращения в Па-

риж Наполеона после окончившегося разгромом французской армии военного похода в Россию характеризовалась ростом оппозиционных настроений. *Лишенный прав и места гражданина... Забытый, он угас один...*—31 марта 1814 г. союзники вступили в Париж, в апреле Наполеон отрекся от престола, сохранив титул императора; после окончившейся неудачей попытки восстановить свою власть 22 июня 1815 г. последовало окончательное отречение в пользу сына. Наполеон был сослан на остров Св. Елены, где и скончался, а сына вывезли в Австрию.

И. П. Мятлеву (с. 212).— Обращено к И. П. Мятлеву, поэту, более всего известному шутливыми стихами, основанными на смешении различных языков (макароническая поэзия). Особым успехом пользовалась юмористическая поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже» (опубл. в 1841 г.) Известно стихотворение Мятлева «Мадам Курдюкова Лермонтову», в котором он от имени героини высказал свое восхищение лермонтовской поэзией. Послание, адресованное Мятлеву, написано в ответ на стихотворную шутку адресата. *На наших дам морозных С досадой я смотрю...*— Каламбур основан на созвучии русского слова «мороз» с французским «morose» (угрюмый, мрачный).

<Графине Ростопчиной> (с. 212).— Обращено к поэтессе графине Евдокии Петровне Ростопчиной (урожд. Сушковой; 1811/12—1858); знакомство ее с Лермонтовым относится к началу 1830-х годов. В 1841 г. Лермонтов встречался с Ростопчиной у Карамзиных. 27 марта 1841 г. Ростопчина посвятила Лермонтову стихотворение «На дорогу»; в середине апреля, перед отъездом на Кавказ, поэт вписал свое послание в альбом, который подарил Ростопчиной. Рассказ об этом содержится в примечании поэтессы, сделанном к своему стихотворению «Пустой альбом» (ноябрь 1841 г.).

«Прощай, немытая Россия...» (с. 213).— Написано в апреле 1841 г. в Петербурге перед отъездом поэта во вторую ссылку на Кавказ. Известно несколько вариантов текста, отличающихся друг от друга чтением стихов четвертого («И ты, послушный им народ», «И ты, покорный им народ») и шестого («Укроюсь от твоих царей»). Публикуемая редакция наиболее вероятна по смыслу и по форме. *И вы, мундиры голубые...*— Офицеры корпуса жандармов носили форму голубого цвета.

Утес (с. 214).— Написано в апреле 1841 г.

Спор (с. 214).— Непосредственный повод к возникновению стихотворения — вступление на Кавказ русских войск под предводительством генерала Алексея Петровича Ермолова (1777—1861). Вместе с тем появление «Спора» обусловлено не только этим конкретным событием; оно вызвано раздумьями поэта по поводу актуальных для конца 1830 —1840-х годов историко-философских проблем:

историческая роль России, взаимоотношения Востока и Запада, первобытной природы и культуры. Текст «Спора» Лермонтов передал своему другу, критику-славянофилу Юрию Федоровичу Самарину (1819—1876) в день отъезда из Москвы на Кавказ 23 апреля 1841 г. для публикации в журнале «Москвитянин». *Их ведет, грозя очами, Генерал седой.*— Речь идет об А. П. Ермолове.

Сон («В полдневный жар в долине Дагестана...») (с. 216).— Написано между маем и началом июля 1841 г. Относительно реальной основы стихотворения и повода к его написанию существует несколько версий (Е. А. Сушкова связывала «Сон» с одним из эпизодов своей биографии, генерал Морис Христианович Шульц (1806—1888), знакомый Лермонтова, соотносил сюжет стихотворения со своим рассказом о ранении, полученном им во время штурма в 1839 г. дагестанской крепости Ахульго и т. д.); однако ни одна из них не получила необходимого подтверждения.

«Они любили друг друга так долго и нежно...» (с. 217).— Вольный перевод стихотворения Г. Гейне «Sie liebten sich beide, doch keiner...» («Они любили друг друга: но никто из них...») из сборника «Книга песен» (1827).

Тамара (с. 217).— Написано в мае — начале июля 1841 г. на материале кавказских легенд и преданий. В двухтомном труде известного путешественника, французского консула в Тифлисе Жана Франсуа Гамба (1763—1833) «Voyage dans la Russie méridionale...» («Путешествие в южную Россию») (1826) — он упомянут в романе Лермонтова «Герой нашего времени» — приведена легенда о коварной царице Дарье, которая заманивала путешественников в свой замок в Дарьяльском ущелье и после ночи любви убивала их, сбрасывая затем трупы в Терек. Возможно, что Лермонтову был знаком другой вариант легенды, связанный с именем имеретинской царицы Тамары (вторая половина XVII в.), отличавшейся редкой красотой в сочетании с хитростью и вероломством.

Свиданье (с. 219).— Написано между маем и началом июля 1841 г. под впечатлением от пребывания в Тифлисе и поездки по Военно-Грузинской дороге. *Уж за горой дремучею Погас вечерний луч, Едва струей гремучею Сверкает жаркий ключ; Сады благоуханием Наполнились живым, Тифлис объят молчанием, В ущелье мгла и дым...*— Эта картина открывается с расположенной на правом берегу Куры горы с развалинами старинной крепости Нарикала. Слева — Ортачальские сады.

Листок (с. 221). Написано между маем и июлем 1841 г. Наиболее полное воплощение образа гонимого бурей листка, проходящего через всю поэзию Лермонтова.

«Выхожу один я на дорогу...» (с. 222).— Написано между маем и началом июля 1841 г. *Сквозь туман кремнистый путь*

блестит... — Л. Н. Толстой характеризовал эту строку как «замечательно выраженное впечатление кавказского пейзажа».

Морская царевна (с. 223). — Написано между маем — началом июля 1841 г. Существует определенное сходство стихотворения (в изобразительных деталях) с балладой А. С. Пушкина «Яныш-королевич» (из цикла «Песни западных славян», опубл. 1836).

Пророк (с. 224). — Написано между маем и началом июля 1841 г.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...» (с. 225). — Написано летом 1841 г. К кому обращено стихотворение, окончательно не установлено. Возможно, адресат его — Екатерина Григорьевна Быховец (1820—1880), дальняя родственница Лермонтова, с которой поэт встречался летом 1841 г. в Пятигорске. *Я говорю с подругой юных дней; В твоих чертах ищу черты другие...* — По свидетельству самой Быховец, она напоминала Лермонтову В. А. Бахметеву (урожд. Лопухину).

ПОЭМЫ

Кавказский пленник (с. 231). Впервые опубликована в отрывках в 1859 г. в «Отечественных записках» (т. 125, № 7, с. 5—11), полностью — в 1891 г. в собрании сочинений под редакцией Висковатова (т. 3, с. 133—151).

Поэма написана в 1828 г. В ней отразился живой и ранний интерес Лермонтова к быту и нравам кавказских горцев. Этому во многом способствовали детские впечатления поэта от Кавказа и рассказы родственников о нем. Значительную роль сыграли и литературные впечатления. Поэма создана под сильным воздействием одноименной поэмы Пушкина. Некоторые стихи Пушкина целиком вошли в поэму, другие — в несколько измененном виде; отдельные стихи поэмы Лермонтова близки к «Бахчисарайскому фонтану» и «Евгению Онегину» Пушкина, встречаются также стихи из «Андрея, князя Переяславского» А. А. Бестужева (Марлинского), «Обуховки» В. В. Капниста, «Чернеца» И. И. Козлова и др. Сюжетно «Кавказский пленник» близок к одноименному произведению Пушкина, но у Лермонтова увеличено количество персонажей, различны их характеры. Пленник лишен черт разочарованности и пресыщенности жизнью. Герой тоскует по родине и свободе, ищет поддержки друзей. У Черкешенки — более решительный характер, нежели у пушкинской героини, она требует любви пленника. Лермонтов усилил также драматичность развязки: у него погибают и герой, и героиня. Следуя традиции романтической (в основном пушкинской)

поэмы, юный поэт ввел этнографический материал (в том числе вставную песню).

В качестве эпиграфа к поэме взяты (в переработанном виде) строки из стихотворения немецкого поэта Карла-Филиппа Конца (1762—1827) «Das Orakel der Weisheit» («Оракул мудрости») (1791).

С. 238. *Сайгаки, с быстрыми ногами.*— Сайгак (сайга) — разновидность диких коз, встречается в степях Северного Кавказа.

С. 239. *Плывет на верном тулуке.*— Тулук (бурдюк) — мешок из шкур животных для хранения вина и других жидкостей; использовался для переправы через мелкие, но быстрые кавказские речки.

Корсар (с. 249). Впервые опубликована в отрывках в 1859 г. в «Отечественных записках» (т. 125, № 7, с. 11—14), полностью — в 1891 г. в собрании сочинений под редакцией Висковатова (т. 3, с. 152—163) и тогда же в собрании сочинений под редакцией Введенского (т. 2, с. 329—336).

«Корсар» написан в 1828 г. Поэма помещена в одной тетради с «Кавказским пленником». Она создавалась под воздействием «Братьев разбойников» Пушкина. Название поэмы восходит к одноименному произведению Байрона. Ряд стихов для «Корсара» взят Лермонтовым из «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, «Андрея, князя Переяславского» А. А. Бестужева (Марлинского), «Княгини Натальи Борисовны Долгоруковой» И. И. Козлова, «Абидосской невесты» Байрона в переводе И. И. Козлова и др.

В описании бури — семь строк из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» (1746).

Эпиграф — из романа Жана Лагарпа (1739—1803) «Hèro et Leandre» («Геро и Леандр»), французский текст изменен применительно к содержанию поэмы.

С. 253. *Где Геллеспонт седой, широкий.*— Геллеспонт — древнегреческое название Дарданелльского пролива. В данном случае Лермонтов употребил это географическое название неточно, имея в виду прилегающую к проливу северную часть Эгейского моря.

Афос задумчивый стоит.— Афос — греческая форма названия горы Афон. Эта же форма встречается во всех западноевропейских языках (Athos).

С. 254. *И башни гордые Лемоса.*—Лемос (правильно: Лемнос)— остров в северной части Эгейского моря. С Афона виден город Кастрон (крепость) на западном берегу Лемноса.

Там Цареградский путь идет.— Царьград — древнерусское название Константинополя, столицы бывшей Византийской империи (ныне г. Стамбул в Турции).

Джюлио (с. 260). Отрывок из поэмы впервые опубликован в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2,

с. 91—92), полностью — в 1891 г. в собрании сочинений под редакцией Висковатова (т. 3, с. 184—199).

В автографе рукой Лермонтова написано: «Вступление (1830 года)», рядом запись: «(*великим постом и после*). Я слышал этот рассказ от одного *путешественника*». На следующем листе, после вступления, написано название поэмы: «Джюлио (повесть, 1830 год)». Предпоследний лист рукописи утерян, поэтому после стиха «Отдохшие под свежею росой» строка точек.

Некоторые стихи из «Джюлио» целиком или с небольшими изменениями перенесены в поэмы «Литвинка» и «Измаил-Бей», а также в стихотворение «1831-го июня 11 дня» (см. наст. изд., т. 1, с. 72).

С. 265. Стихи, начиная от строки «Заботы вьются в сумраке ночей» и до «Не отстаст ни в куще, ни в бою» — вольное переложение двух строф оды XVI Горация (II книга), крупнейшего римского поэта (65—8 до н. э.).

С. 266. В стихах, начиная от строки «Я прихожу в гремящий маскерад» и в следующих, подчеркивающих фальшь светского общества, содержится как бы зерно будущего замысла драмы «Маскарад» (см. наст. изд., т. 2).

Какой-нибудь, лукавый чичисбей...—Чичисбей—в XVI—XVIII вв. в Италии постоянный спутник богатой, знатной женщины, с которым она выходила на прогулку. Здесь это слово употреблено в значении «возлюбленный».

С. 267. Стихи, начиная от строки «Средь гор кавказских есть, слыхал я, грот» и следующие, тематически и стилистически близки к стихотворению Пушкина «Обвал» (1829).

Быстрей его не будет аквилон...— Аквилон — северный или северо-восточный ветер.

Исповедь (с. 274).— Впервые опубликована в 1887 г. в «Русской старине» (№ 10, с. 112—119). Датируется предположительно второй половиной 1831 г. Есть мнение, что поэма является первым осуществлением плана поэта: *«Написать записки молодого монаха 17-ти лет.— С детства он в монастыре...»*. Набросок этот находится в тетради после текста драмы «Странный человек», которую сам Лермонтов датировал 17 июля 1831 г.

Последний сын вольности (с. 280).— Написано, по-видимому, во второй половине 1830 — первой половине 1831 г. В основу положен летописный рассказ об окончившемся неудачей восстании полулегендарного предводителя новгородцев Вадима Храброго против варяжского князя Рюрика (864 г.). Тема новгородской вольности и образ героического тираноборца, вождя восставших, неоднократно привлекали внимание писателей и драматургов второй половины XVIII — начала XIX в.— Я. Б. Княжнина (трагедия «Вадим Новгородский», 1789), К. Ф. Рылеева (неоконченная дума «Вадим»,

1823), В. Ф. Раевского («Певец в темнице», 1822), А. С. Пушкина (отрывки из поэмы «Вадим», 1827). Наиболее близкой Лермонтову оказалась традиция декабристской гражданской поэзии; ее воздействие определило ряд особенностей поэмы, прежде всего ее иносказательный характер, явно выраженную соотнесенность истории с современностью.

Поэма посвящена Николаю Семеновичу Шеншину (1813—1835) — товарищу Лермонтова по Московскому университету и, позднее, по Школе юнкеров. Рукопись поэмы до публикации (в 1910 г.) находилась в семье Шеншина. Посвящение Шеншину варьирует мотивы посвящения (А. А. Бестужеву), предпосланного К. Ф. Рылеевым поэме «Войнаровский» (1825).

С. 282. *Чернобог* — в славянской мифологии божество, олицетворяющее зло (в противоположность Белбогу).

С. 283. *С руками, сжатыми крестом...* — Строка заимствована из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава VII, строфа XIX).

Так спой же, добрый Ингелот... — Имя Ингелот упоминает Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского».

С. 284. *Кривичи, славяне, весь и чудь...* — Кривичи — союз восточнославянских племен (VI—X вв.) в верховьях Западной Двины, Днепра, Волги; весь — древнее племя, жившее вокруг Белозера и соединившееся в IX—XII вв. со славянами; чудь — древнерусское название эстов и других финских племен, располагавшихся к востоку от Онежского озера, по рекам Онеге и Северной Двине.

Рурик, Трувор и Синав клялись... — По летописи, ильменские славяне якобы призвали начальника варяжского военного отряда Рюрика вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород.

С. 302. A tale of the times of old!.. The deeds of days of other years!..— Эти строки взяты из поэмы Оссиана — Макферсона «Carthon» («Картон») (опубл. в 1765 г.); они же приведены в поэме Пушкина «Руслан и Людмила» (1820): «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

К а л л ы́ (с. 303). Начало поэмы впервые опубликовано в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2, с. 292—293), полностью — в 1882 г. в «Русской мысли» (кн. II, с. 3—8) и более исправная редакция в «Русской старине» (1882, № 12, с. 697—700).

В авторизованной копии (ИРЛИ) рукой Лермонтова написаны подзаголовки («Черкесская повесть»), примечание к названию поэмы и эпиграф. Последний лист отсутствует: текст обрывается на стихе «И женщин он ласкать не мог». Заключительные строки печатаются по копии со списка В. Х. Хохрякова (ГПБ). В этом списке оторван угол листа и выпали десять строк между стихами: «И женщин он ласкать не мог» и «Хранил он вечное молчанье». В настоящем изда-

нии это место отмечено строкой точек. Есть еще одна копия (ИРЛИ) с исправлениями Висковатова «по рукописи Верещагиной». Здесь имеются стихи заключительной части (VI раздел), отсутствующие в других источниках:

Быть может, совести упрек
В ее чертах найти страшился...
Следы страданья и тревог
Не укрывались от вниманья,
Под башлыком упорный взор
Внушал лишь страх... Ни состраданья,
Ни сожаленья — лишь укор
Судьбы читался в нем... Никто
Не признавал в абреке друга.
Он поражал как бич недуга...
Встречал ли ночью он кого,
Встречал ли днем — всегда его
Все сторонились, избегали,
Как дней проклятья иль печали.
Ему открыт был всюду путь.

«Каллы́» датируется предположительно 1830—1831 годами. Поэма основана на черкесском предании (см. Андреев-Кривич С. А. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М., 1954, с. 62).

Слово «каллы́» происходит от тюркского «канлы» — «кровавый». «Между убийцею и родственниками убитого с момента убийства до момента примирения за кровь устанавливаются особые отношения, называемые кровными. Сам убийца весь этот промежуток времени носит название канлы, что значит кровник»,— пишет Н. Семенов в книге «Туземцы северо-восточного Кавказа (Рассказы, очерки, исследования, заметки о чеченцах, кумыках и ногайцах и образцы поэзии этих народов)» (СПб, 1895, с. 280).

В глубоко драматичной по сюжету поэме «Каллы́» ярко выражен протест против устаревших жестоких обычаев, поддерживаемых муллами.

С. 306. *Кальян свой курит он лениво.*— Кальян (персидск. гальян) — курительный прибор, который часто делали из металла и украшали золотом, серебром, слоновой костью и т. п.

Белеет памятник простой: Какой-то столбик округленный! Чалмы подобие на нем.— Такие памятники ставились на скалах и возвышенностях над могилами убитых, которые должны были быть отомщены. Изображение чалмы указывало на то, что погребенный — хаджи, т. е. мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Ангел смерти (с. 308).— Впервые опубликована отдельным изданием в 1857 г. в Карлсруэ.

В беловом автографе «Ангел смерти» датирован: «1831 года сентября 4-го дня». Известен предшествующий тексту план поэмы: «Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков.— Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим».

Поэма «Ангел смерти» связана с традицией европейской романтической поэмы Байрона («Каин», «Небо и земля») и А. де Виньи («Элоа»). Сюжет ее восходит к новелле Ж. П. Рихтера «Смерть ангела». Сохранив некоторые общие моменты, Лермонтов заменил рихтеровскую тему небесного милосердия темой противостояния добра и зла (Недосекина Т. А. Ранние поэмы М. Ю. Лермонтова (1828—1832). Автореф. канд. дис. Л., 1973, с. 8, 12—14). Проблематика «Ангела смерти» непосредственно связана со сходными проблемами в поэме «Демон», над которой Лермонтов тогда работал.

Поэма посвящена Александре Михайловне Верещагиной (1810—1873), впоследствии баронессе Хюгель, родственнице и приятельнице Лермонтова (к ней же обращена «Баллада» («До рассвета поднявшись перо очинил...»).

Измаил-Бей (с. 322).— Написано в 1832 г.; сохранилась тетрадь первого собирателя лермонтовских материалов В. Х. Хохрякова с выписками из утраченной рукописи поэмы, где воспроизведена следующая помета на обложке автографа: «Измаил-Бей. Восточная повесть. 1832 год. 10 мая». Посвящение написано позже — не ранее октября — ноября.

Содержание «Измаил-Бея» подсказано реальными эпизодами из истории Кавказа конца XVIII — начала XIX века. В поэме, воссоздающей картины народно-освободительной войны кавказских племен, в известной мере нашла отражение биография кабардинского князя Измаил-Бея Атажукина (Атажукова) ок. 1750—1811 или 1812), посланного отцом в Россию для получения военного образования. Атажукин участвовал в войне с Турцией; за храбрость, проявленную при штурме Измаила, был награжден орденом Георгия 4-й степени. Возможно, Лермонтову было знакомо и народное предание об Измаил-Бее (Исмел-Псыго). Прототипом Росламбека, по-видимому, явился двоюродный брат Измаил-Бея — Росламбек Мисостов.

Черновой вариант посвящения состоял из 20 строк; 8 строк, не вошедшие в окончательный текст, связаны, по-видимому, с именем В. А. Лопухиной (о ней см. примечание к стихотворению «К Л.—» на с. 668):

И ты, звезда любви моей,
Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней...
Давно уж нет у сердца новых;
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки —
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты в других!

С. 327. *А кровь джяуров не течет.*— Джяур (иначе гяур — от турецкого «gavur», персидского «гебр», арабского «кафир» — неверующий) — у исповедующих ислам название всех немусульман.

С. 331. *И Шат подъемлется за ними...*— Шат — Эльбрус.

С. 333. *И в час урочный молчаливо... Они на поле роковом...*— Эти строки, с изменениями, вошли в поэмы «Мцыри» и «Демон».

С. 334. *Не очи злобного шайтана...*— В восточной мифологии шайтан — дух зла, сатана.

С. 335. *Чихирь и мед кинжалом просят...*— Чихирь — молодое виноградное вино.

Стояла пери молодая! — Пери — в восточной мифологии добрая фея, охраняющая людей от злых духов.

С. 346. *Развеселясь, нередко дивы На тучах строят мост красивый.*— Дивы (дэвы) — в восточной мифологии демоны, злые духи.

Дни мчатся. Начался байран.— Байран (иначе Байрам, от турецкого «bayram» (торжество) — мусульманский праздник.

С. 351. *Здесь три столетья очарован, Он тяжкой цепью был прикован...*— В кавказских мифах о прикованном к скале великане герой бывает изображен двояко: он или благодетель людей (как греческий Прометей и его кавказский варнант Амирани), или их враг. Лермонтов использует материал тех горских народных сказаний, где герой изображен врагом людей.

С. 362. *Украсит Север Августом другим!* — Лермонтов в иронически возвышенном тоне говорит здесь о Николае I, сравнивая его с римским императором Гаем Юлием Цезарем Октавианом, которому впервые был присвоен титул Августа — «священного».

С. 367. *Пришел к Оссаевскому полю...*— Оссаевское поле — равнина, расположенная вдоль берега реки Асса.

С. 369. *«Песня Селима»* с некоторыми изменениями вошла в поэму «Беглец».

С. 373. *Питомец смелый трамских табунов...*— Около Константиногорской крепости, построенной у подножия Бештау, находился (до 1818 г.) аул Трам, известный своими превосходными конями.

С. 382. *Жестокий брат, завистник вероломный! Ты сам наметил выстрел роковой...*— Версия о «братоубийстве князя Росламбека

Мисостова» бытовала иа Кавказе; о ней, например, есть упоминаиие в одном из писем декабриста А. И. Якубовича. Однако изучение исторических источников показало, что Рсламбек не был убийцей Измаил-Бея, но, напротив, сам был убит по приказу брата.

И белый крест на ленте полосатой..— Герой поэмы носил Георгиевский крест на черно-оранжевой ленточке. Эта деталь соответствует реальной биографии георгиевского кавалера Измаил-Бея Атажукипа.

Литвинка (с. 383). Впервые опубликована в отрывках в 1860 г. в собрании сочинений под редакцией Дудышкина (т. 2, с. 287—290), полностью — в 1882 г. в «Русской старине» (№ 12, с. 685—696) и одновременно в «Русской мысли» (кн. 12, с. 1—15) с произвольными отступлениями от текста в некоторых стихах.

Датнруется 1832 годом на основании пометы Лермонтова в авторизованной копии.

Действие поэмы отнесено ко времени русско-литовских войн, происходивших в XV — начале XVI в. Лермонтов стремился отразить в «Литвинке» социально-бытовые особенности той эпохи.

По месту и времени действия, а также совпадению имени героя (Арсений) эта поэма сходна с более поздней — «Боярин Орша». Образ девы-воина, возможно, возннк у Лермонтова под влнянием поэмы А. Мицкевича из древнелитовской жизни — «Гражина» (1822). Некоторые мотивы роднят «Литвинку» и с «Конрадом Валленродом» (1827) того же писателя.

Несколько стихов перенесено в эту поэму в измененном виде из «Джюлио» и из стихотворения «1831-го июня 11 дия».

Аул Бастунджи (с. 397). Датируется 1833—1834 гг. Аул Бастунджи — реально существовавшее в конце XVIIII — начале XIX в. горское селение у горы Бештау. Он был разрушен после 1804 г.; Лермонтов мог видеть развалины аула, посетив в 1825 г. Пятигорье.

В поэме отразилась черкесская народная легеида о непримирнмых врагах — братьях Канбулате и Атвонуке (или Антиноко); причиною вражды явилась красавица — жена Канбулата.

С. 399. *Не знаешь ли аула Бастунджи?* — Бастунджи (точнее бустанджи или бостанджн) означает огородник — от тюркского «бустан», «баштаи» (огород).

С. 402. *Как гурии, из сумрака и света...*— Гурии по верованиям мусульман — населяющие рай вечно юные прелестные девы, которые служат наградой правоверным.

С. 403. *Косматые, как перья шишака.*— Шишак — шлем, каска с гребнем или с хвостом.

Ст. 407. *На арчаге мотается...*— Арчаг (арчак) — деревянный остов седла.

С. 408. *Мгновенный, как Симун...*— Симун (самум) — сухой, знойный ветер пустыни.

С. 416. *Какой-то темный стих из алкорана...*— Алкоран, коран— главная священная книга у мусульман.

Хаджи Абрек (с. 418).— Датируется 1833—1834 гг., временем пребывания Лермонтова в юнкерской школе.

Первая опубликованная поэма Лермонтова; по воспоминаниям соученика Лермонтова по школе юнкеров Николая Николаевича Манвелова (1816 — после 1889), поэт показал свое сочинение преподавателю словесности Василию Тимофеевичу Плаксину (1795—1869), который высоко его оценил.

«Хаджи Абрек» был напечатан без ведома Лермонтова в «Библиотеке для чтения» (1835, т. 11, отд. 1, стр. 81—94); по свидетельству А. П. Шан-Гирея, родственник и однокашник Лермонтова Николай Дмитриевич Юрьев (1814—?) «передал тихонько от него (Лермонтова.— И. Ч.) поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому (редактору журнала.— И. Ч.), и она <...> появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен; по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех...»

Содержание поэмы почерпнуто из черкесского и кабардинского фольклора, легенд и преданий, в основе которых лежал мотив кровной мести. Лермонтову могли быть известны рассказы о чеченском наезднике Бей-Булате Таймазове, «кровнике» кумыкского князя Салат-Гирея: Бей-Булат убил отца Салат-Гирея; через десять лет Салат-Гирей, следуя обычаю кровной мести, отомстил обидчику.

С. 418. *Хаджи Абрек.*— Абрек (возможно, от осетинского «абыраег», «абрег» (скиталец, разбойник)) — изгнанник, изгой, от которого отказывается род; ведет жизнь бездомного и безродного бродяги.

Велик, богат аул Джемат.— Предполагается, что действие поэмы развертывается в карачаевском ауле Джемаат (Теберда), либо в дагестанском селении Чирней.

Боярин Орша (с. 430).— Датируется 1835—1836 гг. А. А. Краевский, опубликовавший поэму в 1842 г. в 7-м номере журнала «Отечественные записки», писал: «Эта поэма принадлежит к числу первых опытов Лермонтова. Она написана была еще в 1835-м году, когда Лермонтов только что начинал выступать на литературном поприще. Впоследствии, строгий судья собственных произведений, он оставил намерение печатать ее, и даже, взяв из нее целые тирады, преимущественно из II главы, включил их в новую свою поэму: «Мцыри»... Рукопись поэмы данная мне автором еще в 1837-м году и едва ли не единственная, хранилась у меня до сих пор, вместе с другими оставленными им пьесами». Краевский же на последнем листе предназначавшейся для печати авторизованной копии

поэмы поставил другую дату — «1836». В окончательном тексте поэмы отсутствовал ряд стихов, известных по автографу. Некоторые из них были изъяты цензурой (отрывки богоборческого и антиклерикального характера), ряд стихов по тем же цензурным соображениям исключил сам Лермонтов:

Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один.
Он сердца полный властелин!

Против этих стихов в рукописи Лермонтов сделал помету: «вымарать».

В основе сюжета поэмы — события, относящиеся ко времени Ливонской войны, происходившей в эпоху царствования Ивана Грозного; возможно, Лермонтов изобразил битву на реках Улле в Орше, описание которой мог найти в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Эпиграфы — к 1-й главе взят из поэмы Дж. Байрона «Паризина» (1816), ко 2-й и 3-й главам — из его поэмы «Гяур» (1813).

С. 431. *Так средь развалин иногда Растет береза...*— Тот же образ встречается в стихотворении «1831-го июня 11 дня» и в посвящении к драме «Испанцы».

С. 433—434. *«Жил-был за тридевять земель... И в сине море укатить...»* — Сказка Сокола, являющаяся фольклорной моделью сюжета поэмы, близка по содержанию ряду народных песен, известных по записям собирателей народного творчества (А. И. Соболевский и др.).

Сашка (с. 458).— Точная дата написания поэмы не установлена. Наиболее вероятно, что Лермонтов работал над ней в 1835—1836 гг. По свидетельству П. А. Висковатова, «поэма... писана около 1836 года, во время пребывания Лермонтова с декабря 35 года в Тарханах. Таково свидетельство А. П. Шан-Гирея да и многое в самой поэме указывает на эту эпоху, но отдельные части, вероятно, написаны раньше (1834 г.)». Рукопись поэмы в целом не сохранилась; ее текст восстанавливается по ряду дошедших до настоящего времени рукописных источников и малоавторитетной первой публикации поэмы, осуществленной П. А. Висковатовым («Русская мысль», 1882, кн. 1) на основании ныне утраченной рукописи, находившейся у пензенского купца И. А. Панафутина; Панафутин получил ее от своего отца, служившего землемером у родственника Лермонтова П. П. Шан-Гирея. П. А. Висковатов, публикуя текст поэмы, без достаточных оснований присоединил к ней восемь строф из другого

произведения, не имеющего с «Сашкой» ничего общего, кроме стихотворного размера и строфики.

С. 460. *Там (я весь мир в свидетели возьму)...*— В черновом автографе было: «Там новый век развил свою чуму». Замена, возможно, произведена Висковатовым.

С. 461. *Не завирайся,— тот зоил безбожный...*— Зоил — древнегреческий философ и ритор IV в. до н. э., автор «Порицания Гомеру». Его имя стало нарицательным для обозначения недоброжелательного, придирчивого, язвительного критика.

С. 462. *Как для хромого беса, каждый дом Имеет вход особый...*— Французский писатель Ален Рене Лесаж (1678—1747) в своем романе «Хромой бес» (1707) сумел охарактеризовать разные слои современного ему общества с помощью оригинального приема: герои романа, бес Асмодей и его спутник, приподнимают крыши домов и, застав людей врасплох, оказываются свидетелями их частной жизни.

С. 463 *Как Сусанна, Она б на суд неправедный пошла...*— Лермонтов имеет в виду библейский сюжет о Сусанне и старцах: два старейшины пытались соблазнить красавицу Сусанну, жену богатого еврея Иоакима, и, потеряв надежду, публично обвинили ее в супружеской неверности. Суд приговорил Сусанну к смертной казни, но юноша Данинл изобличил обвинителей во лжи. Сусанна была оправдана, а оклеветавшие ее старцы казнены (Книга пророка Даниила, гл. 13).

С. 466. *Скажу ль, при этом имени, друзья, В груди моей шипит воспоминанье...*— Лермонтов здесь вспоминает о В. А. Лопухиной, в 1835 г. ставшей женой Н. Ф. Бахметева.

С. 469. *Но «Сашка» тот печати не видал, И, недозревший, он угас в изгнанье.*— Речь идет об известной по спискам поэме А. И. Полежаева «Сашка» (1825—1826) (произведении, в известной мере автобиографическом) и о самом авторе, отданном за сочинение этой поэмы по распоряжению Николая I в солдаты; несколько лет Полежаев провел в действующей армии на Кавказе.

С. 473. *Терзал Саула; но порой и тот... И злобный дух бежал, как от креста.*— Поэтическое переложение 23 стиха 16 главы 1-й Книги Царств; «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл,— и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».

С. 475. *Я — Демосфен твой...*— Демосфен (ок. 384—322 гг. до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель. Прославился страстными обвинительными речами против македонского царя Филиппа (позднее назывались «филиппиками»).

С. 480. *Гамлет сказал: «Есть тайны под луной И для премудрых»...*— Цитата из «Гамлета» Шекспира (акт I, сцена 5).

С. 483. Marquis de Tess.— Прототипом этого персонажа, по-ви-

димому, явился гувериер Лермоитова Жаи Пьер Келлет Жаидро, фраицузский эмиграит, роялист.

С. 483—484. В строфах 76—81 речь идет о событиях Великой французской революции (1789—1793), о казни (в январе 1793 г.) короля Людовика XVI и королевы Марии-Аитуаиетты.

С. 483. *Приятель наш, парижский Адонис...*— Адоиис — фиикийское божество, олицетвореиие умирающей и оживающей природы. В V в. до н. э. культ Адоиса был переиесен в Грецию и позднее — в Рим. Изображался в виде юиоши необыкновеииой красоты.

С. 484. *И ты, поэт, высокого чела Не уберег!* — Лермонтов имеет в виду Аидре Шеиье (см. о ием примечание к стихотворению «Из Андрея Шеиье» на с. 670).

С. 487. *Со всем искусством древнего Фобласа...*— Фоблас — герой многотомного романа «Les amours et les galanteries du chevalier de Faublas» (1787—1790; в русском переводе «Приключения шевалье де Фобласа»), принадлежащего перу фраицузского писателя Жана Батиста Луве де Кувре (1760—1797). Имя героя употреблялось для обозиачения искусного соблазнителя (ср. у Пушкииа в «Евгеиии Онегиие»: «Фобласа давний ученик»).

С. 489. *Как Ариадну, преданную гневу.*— В античиой мифологии Ариадиа — дочь критского царя Миноса; спасла греческого героя Тесея, обреченного иа съедение чудовищу Минотавру. Тесей увел Ариадну с собой, но вскоре покииул ее.

Как Аббадона грозный...— Аббадона — падший аигел, герой религиозно-эпической поэмы немецкого поэта Фридриха Готлиба Клопштока (1724—1803) «Мессиада» (1751—1773).

С. 492. *Что дышит жизнью в красках Гвидо-Рени?* — Рений Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец. Лермоитов мог видеть его этюд «Магдалина» к известной картине того же иазвания в петербургской галерее Строгаиовых.

С. 496—497. Описание пансиона и Московского университета в строфах 116—119 сделаио на основании личиых впечатлеиий.

С. 501. *Стоял арап, его служитель верный.*— По словам П. А. Висковатова, «арап этот (по имени Ахилл.— *И. Ч.*) был слугою в доме Лопухиных, близких друзей Лермоитова. Ои его очеиь любил и в одном из писем упомииает о нем, как о друге своем». Известен сделанный Лермонтовым акварельиый портрет Ахилла (сохранился в альбоме А. М. Верещагиной).

С. 507. *Как Пифия, воссев на свой треножник!* — Пифия — жрица-вещательиица в храме бога Аполлона в Дельфах. Пифия выкрикивала слова пророчеств, сидя на золотом треножиике иад расселиной скалы.

М о н г о (с. 508).— Датируется сентябрем 1836 г. Сюжетом поэмы послужили события, отиосящиеся ко времени пребываиия Лер-

монтова в Школе юнкеров: поездка Лермонтова и Алексея Аркадьевича Столыпина (1816—1858), родственника и приятеля поэта, на дачу к балерине Екатерине Егоровне Пименовой (1816—после 1860).

С. 508. *Монго, послушай — тут направо!* — Монго — прозвище А. А. Столыпина.

Вперед, Маёшка! только нас... — Маёшка — шутливое прозвище Лермонтова. Майё (Mayeux) — популярный в 1830-е годы персонаж, созданный фантазией французского карикатуриста Шарля Травье.

С. 512. *Флёри хлопочет, бьет тревогу...* — Флери Бернар — артист балета и преподаватель танцевального искусства.

С. 514. *И право, Пушкин наш не врет, Сказав, что день беды пройдет, А что пройдет, то будет мило...* — Имеется в виду стихотворение Пушкина «Если жизнь тебя обманет» (1825): Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (с. 515).— Точная дата написания поэмы не установлена. В прижизненном сборнике стихотворений Лермонтова 1840 г. «Песня...» датирована 1837 г. (по свидетельству родственника и друга Лермонтова А. П. Шан-Гирея, она была написана несколько ранее). Как вспоминал издатель и журналист А. А. Краевский (1810—1889), Лермонтов «...набросал ее от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволяющей ему выходить из комнаты». Сюжет поэмы построен на материале русского средневековья. Конкретные факты могли быть почерпнуты в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, зафиксировавшей ряд бытовых эпизодов, относящихся к эпохе Ивана Грозного; к их числу принадлежит, например, рассказ о казненном чиновнике Мясоеде Вислом и о его красавице жене, обесчещенной опричниками. Исторический материал в поэме теснейшим образом переплетается с фольклорным; фольклорными источниками Лермонтову могли служить песни о Мастрюке, записанные Киршей Даниловым и П. В. Киреевским (из варианта Киреевского, возможно, была взята и фамилия героя — дети Кулашниковы, братья Калашнички, Калашниковы). Воздействие фольклорной традиции определило и лермонтовскую концепцию образа Ивана IV — поэт восстановил облик царя таким, каким сохранила его народная память.

Поэма была напечатана без имени автора (подпись «-въ») в 1838 г. в «Литературных прибавлениях к «Русскому Инвалиду» (№ 18, 30 апреля) — благодаря хлопотам В. А. Жуковского после долгой борьбы с цензурой, протестовавшей против публикации стихов опального поэта.

Поэма Лермонтова была высоко оценена читателями и критикой, и прежде всего В. Г. Белинским, который видел важнейшее достоинство этого подлинно народного произведения в его связи

с актуальными проблемами современности (та же демонстрация и осмысление связи времен минувшего и настоящего, что и в стихотворении «Бородино»). Иногда песню стремились даже связать с реальными, современными событиями, относящимися ко времени написания поэмы, например, с историей похищения гусаром жены московского купца; видели в «Песне...» и отражение семейной драмы Пушкина.

С. 527. *На высокое место лобное...* — Лобное место — круглый каменный помост с парапетом на Красной площади в Москве, построенный в 1534 г. В XVI—XVII вв. с него оглашались царские указы. Около лобного места находились специальные сооружения, где иногда совершались казни.

Тамбовская казначейша (с. 529). — Поэма создавалась между апрелем 1837 г. — началом 1838 г.; уже 15 февраля 1838 г. Лермонтов сообщал М. А. Лопухиной (о ней см. в примечании к стихотворению «Что толку жить!.. без приключений...» с. 673), что был у Жуковского и передал ему рукопись «Тамбовской казначейши», которую предполагал печатать в «Современнике». Поэма была опубликована в третьем номере журнала за 1838 г. под заглавием «Казначейша», без подписи, с купюрами и искажениями, с заменой названия города «Тамбов» буквой Т с точками. Лермонтов был крайне возмущен бесцеремонным вмешательством цензуры. Как вспоминал писатель И. И. Панаев, присутствовавший при разговоре Лермонтова с редактором А. А. Краевским, поэт даже «покушался» «разодрать» тоненькую книжечку «Современника»: «— Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою...— Это ни на что не похоже!» Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру».

В основе сюжета поэмы — бытовой анекдот из провинциальной жизни. Материал для точного описания города, для изображения быта и нравов его обитателей Лермонтову могло дать посещение Тамбова, куда он заезжал по дороге в Тарханы в декабре 1835 г.

С. 529. *Пишу Онегина размером...* — Лермонтов использовал в поэме 4-стопный ямб и 14-стишную строфу.

Он прежде город был опальный... — Автор опубликованной в «Историческом вестнике» (1884, № 10) статьи «Тамбовский край в конце XVIII и в начале XIX столетия» И. Дубасов писал: «Все местные старожилы помнят <...> что Тамбов в прежние времена был ссылочным местом <...> Эта мысль выражена также и в известном стихотворении Лермонтова — «Казначейша». Между тем на основании документов тамбовских архивов можно сказать, что <...> ссыльные бывали в Тамбовской губернии <...> но только

их ссылали не в город Тамбов, а в разные монастыри Тамбовской епархии».

С. 530. *Короче, славный городок.*— Этой строке, по свидетельству П. А. Висковатова, ссылавшегося на А. П. Шан-Гирея, предшествовал следующий текст: «Там зданье лучшее острог». Указание Висковатова ничем не подтверждается, и потому приведенная им вставка (так же, как и ряд указанных ниже) не может быть введена в основной текст.

С. 531. *Роскошно золотит Аврора...*— В римской мифологии Аврора — богиня утренней зари. Как синоним утренней зари употребляется в образной и поэтической речи.

Играли марш из «Двух слепых».— «Два слепых из Толедо» (1806) — во времена Лермонтова популярная в России опера французского композитора Этьена Мегюля (1763—1817).

С. 534. *Как жаль, что не было детей...*— Как сообщал П. А. Висковатов со слов А. П. Шан-Гирея, после этой строки шел текст:

У них! — о том причины скрыты;
Но есть в Тамбове две кумы,
У них, пожалуй, спросим мы.

С. 535. *Он не терялся никогда.*— После этой строки шел следующий текст (указано П. А. Висковатовым):

И не смущен бы был и раем,
Когда б попался и туда.

Шутя и сам он лег бы в гроб...— После этой строки Висковатов вставлял стих: «Чтоб от кнута избавить вора». Другой издатель сочинений Лермонтова, историк и библиограф П. А. Ефремов, предлагал свой вариант: «Иль стал душою заговора». Указания эти не вполне достоверны, и потому названные строки в текст поэмы не введены.

С. 539. *Амфитрион был предводитель...*— В греческой мифологии Амфитрион — царь Тиринфа, муж Алкмены, матери Геракла. На сюжет мифа об Амфитрионе Мольер (Жан Батист Поклен, 1622—1673) написал пьесу «Афмитрион»; благодаря его трактовке этого образа имя Амфитрион стало нарицательным и употребляется как синоним гостеприимного, хлебосольного хозяина.

С. 540. *О, скоро ль мне придется снова Сидеть среди кружка родного... И скоро ль ментиков червонных Приветный блеск увижу я...*— Сосланный на Кавказ Лермонтов мечтал о возвращении в свой лейб-гвардии Гусарский полк (расшитый золотом красный ментик, короткая куртка, опушенная мехом,— форма лейб-гусаров).

С. 542. *Амур прилежно помогал.*— Далее следовала строка (указано П. А. Висковатовым):

Увы! молясь иной святыне.

С. 546. *Блюститель нравов, мирный сплетник...*— Далее следовал текст (указано П. А. Висковатовым):

За злато совесть и закон
Готов продать охотно он.

С. 549. *Признайтесь, вы меня бранили? Вы ждали действия? страстей?* — Эти строки и следующие содержат поэтическую декларацию Лермонтова, заявившего об отказе от эстетических канонов романтической поэзии; здесь же, по-видимому, можно увидеть и полемический отклик Лермонтова на обращенный к поэтам призыв издателя «Северной пчелы» Ф. Булгарина: «Давайте действия, давайте страстей».

Беглец (с. 551).— Написано, по указанию П. А. Висковатова, не позднее 1838 г.; вероятнее всего, после поездки Лермонтова на Кавказ в 1837 г. Подзаголовок «горская легенда» указывает на связь с кавказским фольклором. Черкесская песня о юноше, вернувшемся в родной аул из похода против русских, в котором погибли его товарищи (за предательство был приговорен к изгнанию из страны), упоминается в книге Тетбу де Мариньи «Путешествие в Черкессию» (Брюссель, 1821). Не исключено влияние неоконченной поэмы Пушкина «Тазит», которая в 1837 г. была напечатана в седьмом томе «Современника» под названием «Галуб».

С. 553. *Месяц плывет...*— Эта песня, с изменениями, перенесена в текст «Беглеца» из поэмы «Измаил-Бей».

Демон (с. 555).— Началом работы над поэмой считается 1829 г.; к этому времени относится первый набросок, содержащий 92 стиха и прозаическое изложение содержания: «Демон влюбляется в смертную (монахиню), и она его наконец любит, но демон видит ее ангела-хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой».

На протяжении последующих десяти лет были созданы еще семь редакций поэмы, отличающихся друг от друга и сюжетно, и степенью поэтического мастерства. Работа над первыми пятью (ранними) редакциями была закончена к 1833—1834 гг. После возвращения из кавказской ссылки Лермонтов вновь принимается за работу над «Демоном». В 1837 — начале 1838 г. был создан первоначальный вариант шестой редакции поэмы (так называемый «ереванский» список; хранится в Государственном архиве Армянской ССР); в нем действие впервые перенесено на Кавказ, героиней вместо монахини становится юная грузинская красавица Тамара. Второй вариант шестой редакции сохранился в авторизованной копии с датой 8 сентября 1838 г. Рукопись, сопровожденная посвящением («Я кончил— и в груди невольное сомненье!»), была подарена В. А. Лопухиной.

4 декабря 1838 г. датирована седьмая редакция «Демона». Лермонтов вновь во многом переработал поэму, имея в виду ее публикацию и связанные с нею неизбежные цензурные препятствия. Последняя, восьмая, редакция относится к началу 1839 г.; она возникла как результат окончательной подготовки текста к печати. Одновременно был изготовлен список для чтения при дворе: императрица выразила желание познакомиться с поэмой. Эта редакция воспроизведена в копии, сделанной двоюродным дядей Лермонтова Алексеем Илларионовичем Философовым (1800—1874), близким придворным кругам. Чтение состоялось 8—9 февраля 1839 г. (об этом есть соответствующая запись в дневнике Александры Федоровны), затем текст был возвращен автору и в том же виде передан 7 марта в Санкт-Петербургский цензурный комитет. 10 марта рукопись получила одобрение цензора. А. В. Никитенко, просматривавший текст, сделал в нем ряд купюр, после чего поэма была разрешена к печати. Цензурная история «Демона», относящаяся к весне 1839 г., известна по воспоминаниям А. П. Шан-Гирея и родственника Лермонтова с материнской стороны Дмитрия Аркадьевича Столыпина (1818—1893). Д. А. Столыпин рассказывал также, что Лермонтов не мог согласиться с правкой Никитенко и сам отказался от публикации поэмы.

В 1842 г. «Отечественные записки» опубликовали несколько фрагментов из «Демона». Предполагалась между тем полная публикация поэмы; Белинский сам изготовил список, соединив текст двух поздних редакций, но цензурного разрешения получить на этот раз не удалось. Полностью «Демон» был напечатан только через 14 лет, в 1856 г. в Карлсруэ по списку А. И. Философова в количестве 28 экземпляров; тогда же поэма вышла в свет в Берлине, а через год опять в Карлсруэ. Первую полную публикацию «Демона» в России осуществил сотрудник «Отечественных записок» критик С. С. Дудышкин — в составе редактируемого им собрания сочинений поэта.

Сюжет «Демона» восходит к библейскому мифу об ангеле, восставшем против бога и по воле бога превратившемся в духа зла. Падший ангел—один из излюбленных образов мировой поэзии. Джон Мильтон, Дж. Байрон, Т. Мур, И. В. Гете, А. де Виньи, Пушкин предлагали свой вариант библейской легенды и свою интерпретацию ее героя; вместе с тем в каждом случае сохранялся основной мотив — враждебность демона небесам и богу, отчужденность дерзкого носителя зла от мира. Так библейский демон как поэтический образ получил устойчивое символическое значение, воплощая идею бунта, неприятия мира, гордого одиночества. Лермонтов, обращаясь к истории демона, прежде всего имел в виду символический смысл образа и соотносящиеся с ним философско-этические идеи.

С. 557. *Столпообразные раины* — пирамидальные тополя (раина — название пирамидального тополя на Украине и Северном Кавказе).

С. 567. *Зовут к молитве муэцины...* — Муэцин (муэззин, муэдзин) — служитель мечети, призывающий с минарета мусульман к молитве.

С. 568. *«То горный дух Прикованный в пещере стонет!»* — См. об этом примечание к поэме «Измаил-Бей» на с. 700.

Сказка для детей (с. 584).— Точная дата написания поэмы не установлена. В печати «Сказка для детей» появилась в 1842 г.; опубликована в журнале «Отечественные записки» (т. 20) с датой — «1841». Однако поэма не могла быть написана позже 1840 г., так как перед отъездом в этом году на Кавказ Лермонтов передал А. А. Краевскому свои рукописи, в том числе и «Сказку для детей». На основании ряда косвенных свидетельств принято считать, что поэма создавалась в конце 1839 — начале 1840 г.

Поэма не закончена; обещание автора написать «легкую поэму в сорок песен» оказалось невыполненным: написано всего 27 строф, оканчивающихся строкой точек, обозначающих недосказанность.

Существует некоторая связь «Сказки для детей» с поэмой «Сашка» — по линии шутливой разработки демонической темы.

С. 584. *Умчался век эпических поэм... И влажных рифм — как, например, на ю.*— Эти строки позволяют соотнести «Сказку для детей» со стихотворной повестью А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830), открывающейся строфами, также содержащими размышления о стихе, рифмах и т. д.

С. 587. *Минувших лет событий роковых Волна следы смывала роковые...*— В первой публикации эти строки были вычеркнуты цензурой, увидевшей в них намек на декабрьские события 1825 г.

С. 590. *Рафáэля иль кисти Перуджина.*— Перуджино (настоящая фамилия Ваннуччи) Пьетро (между 1445 и 1452—1523) — итальянский живописец, представитель умбрийской школы раннего Возрождения, учитель Рафаэля.

Мцыри (с. 594).— Написана в 1839 г.; дата поставлена самим Лермонтовым на обложке тетради, содержащей текст поэмы: «1839 года Августа 5». Первоначальное заглавие — «Бэри» — прокомментировано автором: «Бэри, по-грузински монах». Впоследствии заглавие было заменено на «Мцыри», что означает, во-первых, «неслужащий монах, нечто вроде послушника» (примечание Лермонтова) и, во-вторых,— «пришелец», «чужеземец». Под этим вторым заглавием, более соответствующим содержанию, поэма и была опубликована в сборнике стихотворений Лермонтова 1840 г. В процессе работы над поэмой был заменен и эпиграф: вместо «On n'a qu'une seule patrie» («У каждого есть только одно отечество») было взято изречение из Библии (1-я Книга Царств, гл. 14) «Вкушая вкусих мало меда, и се аз умираю».

В окончательном тексте отсутствуют 115 стихотворных строк, зачеркнутых Лермонтовым, вероятно, при подготовке рукописи к пе-

чати. Так, после слов «И кинул взоры я кругом...» (с. 608 наст. изд.) следовали следующие строки:

Тот край казался мне знаком...
И страшно, страшно стало мне!..
Вот снова мерный в тишине
Раздался звук: и в этот раз
Я понял смысл его тотчас:
То был предвестник похорон,
Большого колокола звон.
И слушал я, без дум, без сил,
Казалось, звон тот выходил
Из сердца, будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
О боже, думал я, зачем
Ты дал мне то, что дал ты всем,
И крепость сил, и мысли власть,
Желанья, молодость и страсть?
Зачем ты ум наполнил мой
Неутолимою тоской
По дикой воле? почему
Ты на земле мне одному
Дал вместо родины тюрьму?
Ты не хотел меня спасти!
Ты мне желанного пути
Не указал во тьме ночной,
И ныне я как волк ручной.
Так я роптал. То был, старик,
Отчаянья безумный крик,
Страданьем вынужденный стон.
Скажи? Ведь буду я прощен?
Я был обманут в первый раз!
До сей минуты каждый час
Надежду темную дарил,
Молился я, и ждал, и жил,
И вдруг унылой чередой
Дни детства встали предо мной.
И вспомнил я ваш темный храм
И вдоль по треснувшим стенам
Изображения святых
Твоей земли. Как взоры их
Следили медленно за мной
С угрозой мрачной и немой!
А на решетчатом окне
Играло солнце в вышине...
О, как туда хотелось мне,
От мрака кельи и молитв,
В тот чудный мир страстей и битв...
Я слезы горькие глотал,
И детский голос мой дрожал,
Когда я пел хвалу тому,
Кто на земле мне одному
Дал вместо родины — тюрьму...

Биограф Лермонтова П. А. Висковатов, основываясь на свидетельствах родственников Лермонтова А. П. Шан-Гирея и А. А. Хастатова, связывал возникновение замысла поэмы со странствиями поэта по старой Военно-Грузинской дороге; в Мцхете Лермонтов встретил «одинокого монаха... узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком генералом Ермоловым... Генерал его вез с собою и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы». Достоверность сведений, сообщенных Висковатым, окончательно не доказана; вместе с тем рассказ его вполне правдоподобен. Лермонтов мог знать, например, историю происходившего из чеченцев живописца-академика П. З. Захарова, который ребенком был взят в плен и отвезен в Тифлис генералом А. П. Ермоловым.

Работая над «Мцыри», Лермонтов не однажды мысленно возвращался к ранним поэмам «Исповедь» и «Боярин Орша», откуда заимствовал для нового произведения ряд отдельных стихов.

Известно, что Лермонтов сам читал «Мцыри» своим друзьям и знакомым. «Мне случилось однажды,— вспоминал поэт и мемуарист Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874),— в Царском Селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте»,— сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю великолепную поэму «Мцыри», которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера... Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления».

По воспоминаниям писателя С. Т. Аксакова, 9 мая 1840 г. Лермонтов в Москве «читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно».

С. 594. *Немного лет тому назад...* и следующие 20 строк — описание древнего Мцхетского собора и могил грузинских царей Ираклия II и Георгия XII, при котором в 1802 г. Восточная Грузия была присоединена к России.

С. 606—607. *Я ждал. И вот в тени ночной... Как в битве следует бойцу!..*— Этот эпизод основан на мотивах грузинской народной поэзии; известны 14 вариантов древней грузинской песни «Юноша и тигр».


Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ 1837—1841 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПОЭМЫ

М. Ю. Лермонтов

Л 49 Сочинения в двух томах. Том первый / Сост. и комм. И. С. Чистовой; Вступ. ст. И. Л. Андроникова.— М.: Правда, 1988.— 720 с.

В первый том «Сочиноеиий» выдающегося русского поэта М. Ю. Лермоитова (1814—1841) вошли стихотвореиия 1828—1841 гг. и поэмы («Кавказский плеиник», «Корсар», «Демои», «Мцыри» и др.)

Л $\frac{4702010100-1815}{080(02)-88}$ 1815 — 88 (Подписиое) 84 Р 1

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том первый

Составитель
Ириаа Сергеевиа Чистова

Редакторы Е. М. Кострова, О. И. Голуб

Оформление художника Н. Н. Каминского

Художественный редактор В. В. Маслеииков

Техиический редактор К. И. Заботина

ИБ 1815

Сдано в иабор 28.11.87. Подписано к печати 17.01.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гаритура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,80. Усл. кр.-отт. 38,22. Уч.-изд. л. 39,51. Тираж 14 000 000 экз. (36-й завод: 8 000 001—8 250 000 экз.). Заказ № 1600. Цена 3 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Леиина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Кировская правда» Кировского обкома КПСС, 610601, г. Киров, ул. Коммуны, 122.





